

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА — 1982

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Д о м а ш н е в А. И. (Ленинград). Теория кодов Б. Бернштейна. Цели и результаты. . . . .	3
---	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К а р п о в а О. М. (Иваново), С т у п и н Л. П. (Ленинград). Советская писательская лексикография. . . . .	13
А л е к с а н д р о в а О. В., Ш и ш к и н а Т. Н. (Москва). Фразировка как синтактико-стилистическая проблема. . . . .	21
К р ю ч к о в а Т. Б. (Москва). К вопросу о многозначности «идеологически связанной» лексики. . . . .	28
Э д е л ь м а н Д. И. (Москва). К перспективам реконструкции общеиранского состояния. . . . .	37

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

[ С т е б л и н - К а м е н с к и й М. И. ] (Ленинград). Скандинавское передвижение согласных. . . . .	48
Д е г т я р е в В. И. (Ростов-на-Дону). Происхождение имен pluralia tantum в славянских языках. . . . .	65
Р о г о ж и н к о в а Р. П. (Ленинград). Редкие слова в произведениях авторов XIX в. . . . .	78
Ч а н т у р и ш в и л и Д. С. (Тбилиси). Система падежей, доминанция падежных систем и дистрибуция винительного падежа в русском языке. . . . .	87
Ц а к а л и д и Т. Г. (Ленинград). Из наблюдений над негативными конструкциями в древнейшем славянском памятнике традиционного содержания. . . . .	97
У р а к с и н Э. Г. (Уфа). Взаимодействие русского и тюркских языков в области фразеологии. . . . .	107
А б д у л л а е в Э. Г. (Махачкала). К генезису формантов датива в даргинском языке. . . . .	113

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Д о н д у к о в У.-Ж. Ш., М а т х е е в Б. В. (Улан-Удэ). <i>Цыдендамбаев Ц. В.</i> Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. . . . .	119
Ш а л я п и н а З. М. (Москва). <i>Холдович А. А.</i> Проблемы грамматической теории. . . . .	121
Л е т я г и н а Н. И., Н а с и л о в Д. М. (Ленинград). <i>Рассидин В. И.</i> Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. . . . .	125
Г р у н и н а Э. А. (Москва). <i>Гаритов Т. М.</i> Кыпчакские языки Урало-Поволжья. . . . .	129
М а к а р е н к о В. А. (Москва). <i>Андронов М. С.</i> Сравнительная грамматика дравидийских языков. . . . .	132
А л е к с е е в М. Е. (Москва). Ergativity. Towards a theory of grammatical relations. . . . .	135

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки. . . . .	139
-------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцева (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией И. В. Соболева

ДОМАШНЕВ А. И.

## ТЕОРИЯ КОДОВ Б. БЕРНСТАЙНА.

## ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Прошедшие два десятилетия характеризуются развитием нового направления — социолингвистики, возникшей на стыке языкознания и таких смежных дисциплин, как социология, социальная психология, этнография. Социолингвистика выступает в качестве науки, исследующей проблемы взаимоотношений и взаимообусловленности языка и общества.

Включение общественных факторов в исследовательскую практику языкознания наблюдалось еще в XIX и в начале XX вв. (В. Гумбольдт, Г. Пауль, Г. Шухардт, К. Фосслер, Б. Кроче, Л. Шпитцер, Л. Вайсгербер, а также, в особенности, ученые из Пражского лингвистического кружка) и отличало традиции советского языкознания с 20—30-х гг., когда в трудах Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, Л. П. Якубинского, В. М. Жирмунского и других видных советских ученых закладывались основы исследовательского направления, ставшего «первым опытом построения марксистской социолингвистики» [1].

Современная социальная лингвистика, демонстрируя сохранение в языкознании научного интереса к проблеме «язык и общество», существенно отличается от своей предшественницы. Главное ее отличие состоит в том, что она формируется и развивается именно как междисциплинарное (языкознание, социология, социальная психология, этнография) лингвистическое направление, «вбирая в себя все новейшие достижения как языкознания, так и социологии и используя в органической связи лингвистические и социологические методы» [2]. Правда, следует заметить, что сформулированные так четко основные отличительные признаки современной социальной лингвистики от предшествующих ее состояний все еще продолжают оставаться нереализованной частью требований к ней, т. к. в конечном счете, как подчеркивает З. Кангиссер, речь идет о том, чтобы в рамках социолингвистики были разработаны обладающие объяснительной силой модели, с помощью которых можно было бы приступить к эмпирическим исследованиям, гарантирующим практическую релевантность. В настоящее время, заключает он, такой социолингвистики, которая обладала бы систематическим единством своей теории и практики, еще нет и следует принимать в расчет «риск неудачи» [3]. Однако независимо от того, насколько развивающаяся социолингвистика будет соответствовать тем максимальным требованиям, которые ей предъявляют, многие лингвисты сходятся в том, что сама наука о языке уже не может возвратиться к тому состоянию, которое было характерно для языкознания внутрилингвистической ориентации. Так, западногерманский лингвист Х. Яхнов подчеркивает, что низведение лингвистики в ФРГ до «досоциолингвистического» уровня «сегодня немыслимо» [4, с. 229]. Это объясняется несколькими причинами. Прежде всего, такой подход явился выражением назревшей реакции на то, что можно назвать послесоссюрианским структуриализмом, на его сугубо внутрилингвистическую ориентацию, и, главным образом, на теорию генеративной трансформационной грамматики. Эта грамматика предельно ограничила сферу предмета лингвистики и, моделируя некое абстрактное, идеализированное понятие языка, исключила из рассмотрения любые социальные и психологические факторы, детерминирующие, как известно, реальную речевую коммуникацию. В своих

худших образцах такой подход был сформулирован Н. Хомским в его квази-аскетическом постулате об «идеальном говорящем — слушающем». Последний, согласно Н. Хомскому, пребывает «в абсолютно гомогенном языковом коллективе», который совершенно, т. е. «идеально», знает данный язык и, применяя такое знание языка в актуальной речи, не зависит от таких грамматически иррелевантных условий, как ограниченная память, рассеянность или волнение, смещение внимания и интереса, случайные или типичные языковые ошибки [5]. Было очевидно, что с помощью подобного теоретического постулата (выдвигающего на первый план некую «чистую» форму — гомогенную систему языка [6]), являющегося научной фикцией, Н. Хомский, как иронически заметил Г. Глинц [7], «слишком удобно устроился» в языкознании, что, однако, никак не способствовало развитию научной теории. С другой стороны, развитие социалингвистики обуславливает то обстоятельство, что эта дисциплина тесно связана с решением ряда важных практических проблем, возникших в послевоенный период. Речь идет о необходимости решения языковых проблем в связи с изменениями в жизни многих народов, освободившихся от колониального гнета, в связи с социально-экономическими преобразованиями в независимых странах, повлекшими за собой изменения в социальной структуре, общую демократизацию общественной жизни и включение в сферу воздействия научно-технической революции [2, с. 6]. Эти обстоятельства, способствовавшие утверждению социалингвистики, необходимо рассматривать также в контексте общественно-прагматического стимула, поскольку, как отмечает Х. Яхнов, «в последние годы в возрастающей степени ставился во всех общественных науках вопрос о практическом использовании научных результатов и их общественной пользе». «Именно развитие социалингвистики,— заключает он далее,— непосредственно пошло навстречу представлению о языкознании, полезном для общества» [4, с. 220].

\*

Развитие современной социальной лингвистики в Западной Европе связывают обычно с работами английского социолога Б. Бернстайна, изучавшего, начиная с 1958 г., язык лондонских подростков. Обобщения, которые при этом последовали, касались таких важных вопросов, как язык и его структура, классы и социальные группировки общества, изоморфизм языковых и социальных структур, школьное обучение и языковое воспитание. Им же была разработана и введена в научный обиход соответствующая терминология, которая постепенно, в его собственных работах и в трудах других лингвистов, получала дополнительную интерпретацию, но в целом сохраняет свое значение до настоящего времени и нередко является средством идентификации взглядов различных авторов. Концепция Бернстайна, разработанная в местных, английских условиях, была признана в целом «репрезентативной для западных капиталистических стран» [8], и позднее эту теорию без проверки ее «методической состоятельности» стали применять в отношении языковых ситуаций, отличающихся от английской, например, в ФРГ [9, с. 258]. Став аналогом для социалингвистических программ в других странах или оказав заметное влияние на взгляды различных ученых, концепция Бернстайна, как редко какая-нибудь другая, получала различную интерпретацию ее теоретических понятий [10, S. 46]. Она уточнялась и перерабатывалась, стала поводом для разработки своеобразной контрконцепции и, в конце концов, хотя и не изжив себя до конца, стала свидетельством самой большой неудачи современной буржуазной социалингвистики.

Все начиналось с того, что для своего лингвистического эксперимента Б. Бернстайн подобрал две социально «экстремальные» группы участников. Одна группа состояла из 61 юноши в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в самых разных районах Лондона. Все они работали в качестве

курьеров или посыльных, никто из них не имел «среднего классического образования» (grammar school education), один раз в неделю они освобождались от работы для обязательного (compulsory) посещения колледжа, где они проходили общее непроизводительное обучение. Эта группа участников соотносится Бернстайном с социальным слоем общества — рабочим классом (working-class) [11], в частности, с его самым низшим уровнем (lower working-class), к которому он приравнивает и деревенское или сельскохозяйственное население (rural groups) [12]. Вторая группа состояла из 45 юношей такого же возраста, являвшихся учащимися шести крупнейших привилегированных закрытых частных школ (public school) Лондона. Эти ученики представляли собой «приемлемый» социальный срез состава обучающихся в таких школах, отличались стремлением к получению знаний и интересом к языковым дисциплинам. Эта группа соотносится Бернстайном с понятием среднего класса (middle class) английского общества.

На основании результатов языкового эксперимента Б. Бернстайн пришел к выводу, что между подростками из низших слоев и их сверстниками из высших слоев имеются значительные различия в отношении языковой компетенции и владения языком, т. е. в нормах языкового поведения и владения языковыми кодами. Эти различия он обозначил соответственно терминами «ограниченный код» (restricted code) и «развитый», «разработанный» или «развернутый код» (elaborated code). По мнению Б. Бернстайна, оба кода на лингвистическом уровне могут быть определены в терминах степени предсказуемости (predicting) для говорящего — какие структурные элементы будут им использованы для организации высказывания или смысла (meaning). В случае развернутого кода говорящий имеет возможность выбора из достаточно широкого набора альтернативных средств, вследствие чего возможность предсказуемости образцов (pattern) элементов построения существенно уменьшается. В случае ограниченного кода число таких вариантов или альтернатив чаще всего весьма ограничено, что повышает степень их предсказуемости в речи. В целом, с этой точки зрения, развернутый код характеризуется тем, что ему присущи синтаксические структуры предложений различной степени полноты и сложности, использование разнообразных средств связи и организации предложений (союзы, порядок слов), предлогов и др. Лексика и семантика кода разнообразны и дифференцированы, высказывание в целом носит более обобщенный, абстрактный характер. Ограниченный код, напротив, отличается тем, что предложения здесь краткие и простые, нередко синтаксически незавершенные, используется мало предлогов и союзов, придаточных предложений, ограничена лексика, высказывание конкретно, обращение прямолинейно [см. 13].

Такое представление кодов создает впечатление, и это даже подчеркивается автором, что оба кода находятся в отношениях взаимодополнения и что развернутый код формируется из ограниченного путем его дополнения и расширения. Это должно означать, что возможности синтаксически ограниченного и семантически конкретного языкового употребления содержатся в развернутом коде, в то время как ограниченный код исключает употребление синтаксически сложного и семантически дифференцированного, абстрактного языкового материала. Б. Бернстайн специально подчеркивал [12, р. 233], что ограниченный код может возникнуть в «любой точке в обществе», когда это продиктовано соответствующими условиями. При этом он различает так называемую чистую форму ограниченного кода, примерами которого могут служить различные ритуальные формы коммуникации, характеризующиеся высокой предсказуемостью использования строго ограниченных, регламентируемых правилами средств языка (речь во время церемоний, предписанных протоколом, при религиозных обрядах, приветственных обращениях на банкетах, беседах о погоде и др.). В этих условиях личные намерения сигнализируются, главным образом,

с помощью невербальных компонентов ситуации, таких, как интонация, ударение, жесты, мимика, тогда как специфическое вербальное планирование оказывается минимальным. Более распространенным вариантом ограниченного кода является, по Б. Бернстайну, предсказуемость на структурном уровне. Социальные формы отношений, порождаемые этим кодом, также достаточно разнообразны, но главное условие для его возникновения основано на одном общем наборе близких друг другу идентификаций, солидарности участников акта коммуникации, в котором подчеркивается непосредственность отношений. Такие кодовые ситуации могут возникнуть в среде детей и подростков, уголовников и деклассированных элементов (*criminal sub-cultures*), в группах военнослужащих в армейских подразделениях, лиц, долго проживающих совместно, в семейных парах и т. д. В условиях этих социальных отношений последовательность языкового общения имеет тенденцию быть хорошо организованной как на структурном, так и на лексическом уровне. Вербальное планирование оказывается достаточно ограниченным, вследствие чего невербальные компоненты (жесты, мимика) становятся главным источником указаний на изменения смысла или значения. Так называемый развернутый код, по Бернстайну, уходит корнями в форму социальных отношений, в которых резко повышается роль индивидуума в выборе из своих языковых ресурсов средств вербальной организации высказывания. Код становится, таким образом, орудием или средством (*vehicle*) индивидуальной ответственности говорящего, что обуславливает повышение функции вербального планирования и связанного с этим более высокого уровня структурной организации и лексического наполнения высказывания.

Как видно из сказанного, лица, владеющие развернутым кодом, располагают широким языковым диапазоном и могут избирательно относиться к языковым средствам в зависимости от конкретной ситуации. Они, естественно, могут пользоваться и ограниченным кодом, вплоть до его «чистых», т. е. ритуальных, форм.

Особым случаем кодовой ситуации, которым одновременно вносится фундаментальное новое положение в анализ сути вещей, является обстоятельство, когда говорящий владеет только одним ограниченным кодом, независимо от того, какую форму языкового поведения и владения предписывает та или иная ситуация общения. В дихотомии установленных кодов это означает, что если носитель развернутого кода способен переходить на ограниченный код, т. е. совершать переключение кодов (*code switching*), то носитель только ограниченного кода лишен возможности такого переключения. В таком положении оказываются не отдельные лица, а, как подчеркивает сам Б. Бернстайн, примерно 29% населения Англии, социальное положение которого определяется его принадлежностью к «низшему» слою рабочего класса, включающему и деревенское население [11, p. 35—36].

Тем самым, если лингвистическое определение понятия кодов формировалось Б. Бернстайном по мере распределения между ними элементов структуры и субстанции языка, то степень актуальной принадлежности носителей языка к тому или иному типу кода дает основание рассматривать оба кода в качестве «функций различных социальных структур» [11 p. 31]. Несколько ниже мы еще будем иметь возможность специально остановиться на исходных и итоговых положениях концепции Б. Бернстайна, поскольку без этого нельзя говорить о ее общем значении, но сейчас необходимо отметить, что в своих работах [14] он высказал ряд обобщений, которые были использованы в различных исследовательских программах. Так, в частности, подчеркивается, что речевой уровень носителей ограниченного кода оказывается недостаточным, чтобы соответствовать условиям общения с лицами более высокого социального положения и принимать участие в беседах на определенные, например, абстрактные, отвлеченные, темы. Особенно затруднено общение с различными офи-

диальными инстанциями. Создается положение, при котором носитель ограниченного кода только в кругу себе подобных имеет беспрепятственное речевое общение, а за его пределами наталкивается на трудности, которые в целом мешают любому его социальному продвижению [8, S. 201]. Наиболее тяжелым по своим последствиям оказывается то обстоятельство, что поколения таких групп в данном обществе обречены на «самопроизводство». Социопсихологи, например, утверждают, что у ребенка, воспитанного в такой языковой среде, это положение отрицательно сказывается на развитии его духовных и познавательных способностей, поскольку речь, основанная на ограниченном коде, не направлена на расширение и дифференциацию «содержания знания» и на усвоение, «тренировку» необходимых для таких целей «мыслительных и учебно-познавательных процессов» [15]. Отрицательное развитие начинается с того, что мать ребенка, владея только речевыми образцами ограниченного кода, может реагировать лишь недостаточно полно и, тем самым, тормозяще на его любопытство и интерес к познанию. Со временем, когда ребенок сам начинает говорить по неосознаваемым правилам этого ограниченного регистра языка, он «врастает в ткань специфических отношений своей субкультуры» и перенимает ее ориентации и мотивации. Все эти «тормозящие» факторы могут далее еще больше закрепиться, когда ребенок попадает в школу. Поскольку содержание учебных предметов (математика, история, литература, язык) и их преподавание ориентировано на литературный язык (развернутый код), то дети представителей «среднего класса» с самого начала оказываются в более выгодных условиях, а возникающая языковая диспропорция для детей из низших слоев приводит их к серии новых осложнений и неудач, связанных с уровнем школьных программ и их языковым обеспечением [15]. В целом, при таком подходе в теории кодов делается попытка показать, что «объективно» ограниченный код уступает развернутому, оказываясь функционально недостаточным, поэтому она стала известна среди специалистов под названием «гипотеза недостаточности» или «гипотеза дефицита» (Defizithypotese). Ситуация, при которой носители ограниченного кода оказываются не в состоянии выйти за пределы собственного речевого регистра, была определена, например, в социолингвистических дискуссиях в ФРГ как «языковые барьеры» (Sprachbarrieren) [8, S. 202—203]. Преодолеть такие «барьеры» или, таким образом, компенсировать языковой дефицит детей из низших слоев в условиях школы можно, по замыслу Б. Бернстайна и его сторонников, с помощью дополнительного, усиленного обучения развернутому коду, получившему название компенсаторного преподавания языка [16].

Такова во всех ее наиболее характерных чертах, положениях и целях теория кодов Б. Бернстайна, основанная на серии социолингвистических экспериментов и привлекающая к себе внимание специалистов в самых разных странах. Причиной оживленного обсуждения кодовой теории Б. Бернстайна вначале было, однако, не ее научное значение, а, скорее, ее прагматический аспект, оказавшийся привлекательным для нужд образования, бедственное положение которого в этот период обнажилось во многих капиталистических странах настолько, что его уже нельзя было обходить молчанием и не пытаться произвести в этом хотя бы минимальные изменения. Так, в ФРГ, учитывая политический момент, когда, как подметил И. Радтке [8, S. 203], различные политические партии выдвигали требование «социальных реформ» в стране, официальные инстанции, ведающие образованием, относительно быстро реагировали на вывод социолингвистики о социальном неравенстве детей из «нижнего класса», вследствие чего они лишены «равных шансов» с другими детьми в школе [17]. В этих условиях была подхвачена идея о «компенсаторном преподавании языка», чтобы таким путем пытаться нивелировать, т. е. подтянуть языковой уровень этих учащихся до уровня языка «среднего класса». Другое дело, что время, прошедшее с тех пор, показало полную несостоятельность та-

ких прожектов без решения кардинальных социальных проблем общества, социальную демагогию буржуазного аппарата власти. Попытки учителей и лингвистов в целом ряде школ ФРГ получить подтверждение целей «компенсаторного преподавания» следует признать, по убеждению многих, полностью неоправдавшимися [8, S. 204]. В этот же период начинается критический анализ как понятийно-терминологического аппарата концепции Б. Бернштейна, так и ее основных теоретических положений и выводов, а также прагматидидактических рекомендаций и установок.

Прежде всего, критической оценке была подвергнута интерпретация лингвистического содержания кодов. Становилось очевидным, что коды Б. Бернштейна, отличаясь друг от друга только степенью сложности и развернутости их синтаксического построения, их лексико-семантической дифференциацией по степени абстрактности и обобщенности или конкретности, не могут служить объяснением положения языкового неравенства в современном капиталистическом обществе. Далее, представление Б. Бернштейна о кодах как об отношениях части и целого, находящихся в условиях взаимодополнения, заставляет постоянно полагать, что дихотомия кодов выделяется на материале системы литературного языка. Сам автор обычно оперировал понятием стандартного или, как он говорил, культурного языка, в котором он различал нормированный (formal language) и общий, обиходный (public language) языки, позднее соотнесенные им с развернутым и, соответственно, ограниченным кодами [8, S. 201]. Но если бы дело обстояло только таким образом, то представляется сомнительным, чтобы трудности речевого общения людей можно было бы интерпретировать в терминах языковых барьеров. Дело в том, что реальная речь, и прежде всего тех социальных слоев общества, которые Б. Бернштейн соотносит с ограниченным кодом, нередко формируется не столько на основе литературного языка, пусть даже и ограниченной (restricted) его части, сколько с участием других форм существования национального языка: диалекта, полудиалекта, территориальных обиходных языков. И на самом деле, предложения типа *He ain't coming* (ср.: *He is not coming*), ср. русск.: *Он не придёт* — *Он не придет* или *He gonna write a letter* (ср.: *He is going to write a letter*), которые приводит А. Нойберт [18], упоминая о дискуссии в связи с так называемым «U-English» и «Non-U-English» («upper class English» — язык высшего класса и «non-upper class English» — язык прочих слоев общества), которая предшествовала разработке теории кодов Б. Бернштейна, нельзя рассматривать только в плане развернутости — неразвернутости (ограниченности) синтаксического построения без учета социально-языкового фактора. Это обстоятельство не могло не быть известным Б. Бернштейну и его сторонникам, однако, оно не вовлекалось ими в языковую диагностику. Так, первый последователь концепции Бернштейна в ФРГ У. Эверман в пилотном исследовании, основанном на анализе 34 школьных сочинений учащихся, из которых, пожалуй, никто не говорил без примеси диалекта, даже не поставил вопроса о том, в какой мере устанавливаемая «ограниченность» (Restringiertheit) может быть объяснена интерференцией местного диалекта, хотя это обстоятельство представляет собой такую реальность, которую нельзя не заметить [9, S. 258]. Впервые в ФРГ на роль диалекта как определенного компонента содержания ограниченного кода указал У. Аммон [19], который при этом подчеркивал, что ограниченный код и диалект не могут быть ни приравнены друг к другу, ни сведены в одно целое. По сути дела У. Аммон, как мы его понимаем, стремился к тому, чтобы констатировать, что речь носителей ограниченного кода содержит диалектные элементы. Сам диалект лишь как феномен приравнивается к роли ограниченного кода в концепции «языковых барьеров» и должен быть включен в программу целей «компенсаторного преподавания языков», если ею ставится задача обучения литературному языку и если предварительно нужно полное представление о том, где

начинается тот языковой «дефицит», который должен быть «компенсирован». У. Аммон подчеркивал, что диалект представляет собой лишь в той мере языковой барьер, в какой он позволяет беспрепятственную коммуникацию только в рамках ограниченной территории, из чего следует, что обучение литературному языку должно являться важной целью школы [20]. Одновременно он обращал внимание также на то, что диалект и литературный язык обнаруживают социально ориентированное распределение, подобно тому, как ограниченный и развернутый коды соотносятся с определенными социальными слоями общества [21].

На различие между диалектом и ограниченным кодом указывал также другой западногерманский лингвист, Г. Лефлер, который подчеркивал: «Когда мы говорим о диалекте, речь идет о типичной для данной местности и потому в некотором роде регионально-культурной языковой системе, которой противостоит другая, надрегиональная система... В соотношении язык нижнего слоя — язык высшего слоя противопоставляются... дефектный (ограниченный) и нормальный (развернутый) варианты одной и той же языковой системы» [22]. И хотя в рамках дискуссии о «языковых барьерах» требование Г. Лефлера отделить с точки зрения методики специфическое языковое употребление низших слоев общества (ограниченный код) от специфического территориального «инакоупотребления» (*Andersausstattung*), вполне корректно, все же, как нам представляется, эти системы нельзя держать совершенно изолированно, когда мы имеем дело не с постулированным понятием, а с реальным составом речи определенных групп носителей языка. Это, естественно, не должно означать, что недостатки, характеризующие ограниченный код, могут быть распространены на диалект как социо-функциональный тип в структуре национального языка.

Критика основных положений концепции Бернштейна и ее социально-дидактических рекомендаций, неудачи попыток применения идей «компенсаторного преподавания», а также самостоятельные разработки в области социальной лингвистики в США привели к отрицанию теоретической состоятельности и прагматической ценности как теории кодов в духе Б. Бернштейна, так и вытекающей из нее «гипотезы дефицита», ставшей исходным тезисом программы «компенсаторного преподавания». В противовес «гипотезе дефицита» здесь была выдвинута иная концепция, связываемая с именем У. Лабова и получившая название «концепция дифференциации» языка (*Differenz-Konzeption*). Как и гипотеза Б. Бернштейна, концепция У. Лабова исходит из признания принципиальных различий языковых и социальных структур и их взаимной обусловленности, но утверждает функциональную равноценность различных регистров языка (т. е. «кодов» по Б. Бернштейну) в реализации коммуникативных потребностей как тех, так и других социальных групп общества. В своих работах У. Лабов исходит из тезиса о том, что общество — носитель данного языка — располагает возможностью социально значащего выбора альтернативных способов говорения об одной и той же вещи. Это утверждение должно, по его мнению, являться главным тезисом социолингвистики [23]. В резолюции Американского лингвистического общества от 1971 г., принятой при активном участии У. Лабова, специально подчеркивается: «Нестандартные диалекты английского языка, на которых говорят семьи низших классов во внутренних городах Соединенных Штатов, являются вполне сформировавшимися языками, наделенными грамматической структурой, во всех отношениях достаточной для логического мышления. Противоположные заявления, принадлежащие некоторым ученым-психологам, основаны на ложной интерпретации поверхностных различий между этими диалектами и стандартным английским языком» [24]. Безусловно, У. Лабов признавал существенную ценность литературного языка и подчеркивал, что «любой человек может претендовать на доступ к образовательной и литературной традиции того общества, в котором он сформировался, даже если большая часть этих ценностей создана людьми, чуждыми

его собственной культуре и не признающими его членом своего общества» [23, с. 13]. Однако он отвергал лицемерные попытки буржуазных социологов и социалингвистов на основе идей компенсации языкового дефицита «подавляемых групп» капиталистического общества улучшить их языковое положение. У. Лабов говорил, что социалингвистические исследования «в таких обществах представляют собой нечто вроде благотворительной деятельности, имеющей целью доказать ущербность языка несчастных бедняков и помочь им подняться до уровня образованных и процветающих сограждан» [23, с. 24].

В кругах специалистов в различных странах наибольшую поддержку получила «концепция дифференциации языка» (по Лабову): многим она представляется попыткой непредвзятого толкования социально типизированных языковых различий, поскольку не разделяет дискриминационной оценки в отношении языка «нижних классов» [8, с. 203]. Включение диалекта в круг анализа структуры речи различных социальных групп в ФРГ, которое, как уже подчеркивалось, впервые было произведено У. Аммоном и поддерживалось известным большинством исследователей, способствовало усилению критического отношения к теории кодов Б. Бернстайна, а также целям и задачам компенсаторного преподавания. У. Аммон и его сторонники вполне отдавали себе отчет в том, что литературный язык является высшим продуктом языкового развития нации и должен принадлежать ей целиком, а не осознаться в качестве своеобразного социального жаргона правящих высших слоев буржуазного общества. То, что он идентифицируется с этими социальными слоями, свидетельствует только о способе его присвоения: дело в общественных отношениях с их социальными противоречиями, дело в общественном устройстве капиталистического государства, которое «из круга носителей единого литературного и письменного языка заведомо исключает большую часть населения [25] и ограничивает социальную базу литературного языка преимущественно социально привилегированными слоями общества. С этих позиций критика концепции Б. Бернстайна, ее постулатов и прагматических устремлений оказалась сконцентрированной на идеологических и философско-методологических основах этой теории. Так, У. Аммон требует от социалингвистики обоснования данных состояния языка теорией общественного устройства, в рамках которой уровень общественного развития мотивируется соответствующим способом производства. Лишь это, по Аммону, обеспечивает познание исследуемых предметов и только теоретическое познание причин и нестабильности социо-языковых ситуаций открывает глаза на возможности принципиального изменения в этой области [10, S. 138]. При этом У. Аммон, К. Элих, Ф. Мюллер, Д. Виле и другие ученые, которых Х. Яхнов называет социалингвистами историко-материалистического направления в ФРГ, критикуют различные буржуазные социалингвистические концепции, восходящие к Б. Бернстайну, которые, хотя и точно описывают социо-языковые ситуации, не могут объяснить причины их возникновения и изменения [4, с. 224]. «Мы критикуем, — заявляют эти авторы, — социалингвистику Бернстайна и Эвермана именно за то, что они не выходят за рамки идеологии и ограниченности, свойственной буржуазному мышлению и буржуазным целям, вследствие чего их требования носят в лучшем случае образовательно-гуманистический и иллюзорно-демократический характер» [26]. Они вскрывают с достаточной глубиной лицемерие или, в лучшем случае, заблуждение, будто с помощью усиления преподавания языка можно существенно улучшить социальные перспективы нижних слоев общества. «Компенсаторное обучение» может, по их мнению, способствовать индивидуальному успеху отдельных учащихся, но оно не способно решить проблему «необходимой коллективной эмансипации низшего класса» [8, S. 204]. Не поддерживая официозных идей в отношении задач «компенсаторного обучения» и имея в виду социальные проблемы общества в целом, такие лингвисты

подчеркивают, что нельзя принимать язык за причинный фактор социально-экономического неравенства. Теория Бернштейна-Эвермана, заключающая они, опирается на иллюзию, будто школа может «нарушить порочный круг прикрепления к определенному сословию, обусловленный специфическим, свойственным тому или иному сословию социальным развитием, и тем самым стать эндогенным фактором социальных изменений» [27]. Суть несостоятельности таких ожиданий хорошо выразил В. Нипольд: «Если всерьез принимать теорию специфического языкового употребления, зависящего от социального слоя, то следует прийти к выводу, что компенсаторные программы воспитания смогут в лучшем случае уменьшить неравенство возможностей при обучении в школе и получении профессии. Но тем самым эти программы лишь смягчают симптомы, не затрагивая коренных причин общественного неравенства, т. е. производственных отношений» [28]. Оценивая теорию кодов Б. Бернштейна и ее прагматические устремления, Б. Уорф достаточно точно определил ее в качестве «идеологического продукта» высших слоев, почувствовавших угрозу своим собственным привилегиям [29].

В заключение остается сказать, что первые широкие социолингвистические начинания на основе выдвинутой гипотезы Б. Бернштейна не имели практически релевантного успеха. Западногерманский социолингвист Э. Егер в связи с этим подчеркивал, что хотя социолингвистика явилась подтверждением того, что в нашем мире имеется много нерешенных проблем, ее собственный вклад в изменение общества оказался «очень незначительным». Задача в области социолингвистики, например, в ФРГ, теперь состоит в том, чтобы попытаться, как с горькой иронией замечает ученый, «отменить» (*rückgängig machen*), т. е. нейтрализовать последствия ее собственных результатов на практику жизни [29, S. VI].

Одним из фундаментальных выводов относительно становления социолингвистической теории является признание того, что построение строгой научной концепции оказывается невозможным без обращения к марксистской теории общества. О притягательной силе марксистской философии свидетельствует также новый интерес к теоретико-языковым представлениям марксистских классиков, который отчетливо определился у социолингвистов в таких крупнейших капиталистических странах, как США, ФРГ, Франция, Италия и др. [4, с. 225; 30, 31]. Именно на такой основе может быть достигнуто сущностное систематическое единство современной социальной лингвистики, охватывающей течения в этой области языкознания в различных странах, о желательности объединения которых говорил американский социолингвист У. Лабов [23, с. 5].

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гухман М. М. У истоков советской социальной лингвистики.— Иш. яз. в шк., 1972, № 4, с. 3.
2. Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. М. 1978, с. 6.
3. Kanngießer S. Bemerkungen zur Soziolinguistik.— In: Gegenwartssprache und Gesellschaft, Düsseldorf, 1972, S. 83.
4. Яхнов Х. Развитие и проблемы социолингвистики в ФРГ.— В кн.: Социально-лингвистические исследования. М., 1976, с. 229.
5. Chomsky N. Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt-am-Main, 1969, S. 13.
6. Белл Р. Т. Социолингвистика. Методы, цели, проблемы. М. 1980, с. 37—38.
7. Glinz H. Linguistik und Gesellschaft.— In: Neue Grammatiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige Deutsch (Schriften des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 20). Düsseldorf, 1972, S. 212.
8. Radtke I. Soziologische Untersuchungen sprachlicher Variation und ihre Folgerungen für den Sprachunterricht.— In: Beiträge zu den Sommerkursen 1975. Goethe-Institut München. München, S. 201.
9. Rein K. L., Scheffelmann-Mayer M. Funktion und Motivation des Gebrauchs von Dialekt und Hochsprache im Bairischen.— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Wiesbaden, 1975, Hf. 3.
10. Ammon U. Probleme der Soziolinguistik. Tübingen, 1977.

11. *Bernstein B.* Linguistic codes, hesitation phenomena and intelligence.— *Language and Speech*, 1962, v. 5, pt. 1, p. 36.
12. *Bernstein B.* Social class, linguistic codes and grammatical elements.— *Language and speech*, 1962, v. 5, pt. 4, p. 233.
13. *König W.* dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München, 1978, S. 137.
14. *Bernstein B.* Elaborated and restricted codes: their origins and some consequences.— *The ethnography of communication*. American anthropologist. Special publication, 1964, v. 66, N 6, pt. 2, p. 55—69.
15. *Schönbach P.* Zur Problematik der Sprachbarrierenforschung: Perspektiven eines Sozialpsychologen.— In: *Gegenwartssprache und Gesellschaft*. Düsseldorf, 1972, S. 71—73.
16. *Jäger S.* Arbeitsbericht der Gruppe «Kompensatorischer Sprachunterricht (Sprachbarrieren)».— In: *Gegenwartssprache und Gesellschaft*. Düsseldorf, 1972, S. 115—117.
17. *Bernstein B.* Elaborated and restricted codes: an outline.— *Sociological Inquiry*, 1966, v. 36, pt. 2, p. 254—261.
18. *Нойберт А.* К вопросу о предмете и основных понятиях марксистско-ленинской социолингвистики.— В кн.: *Актуальные проблемы языкознания ГДР*. М., 1979, с. 51.
19. *Ammon U.* Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. Weinheim, 1972.
20. *Ammon U., Simon G.* Zur sozialen Verteilung von Dialekt und Einheitssprache.— *Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft: Vorträge und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972*. München, 1974, S. 339.
21. *Ammon U.* Zur Relevanz der Soziolinguistik für die Sprachbehindertenpädagogik.— In: *Sprachrehabilitation durch Kommunikation*. München — Basel, 1975, S. 42.
22. *Löffler H.* Mundart als Sprachbarriere.— *Wirkendes Wort*, 1972, Bd. 22, 1972, S. 25.
23. *Лабов У.* Единство социолингвистики.— В кн.: *Социально-лингвистические исследования*. М., 1976, с. 21.
24. Резолюция Американского лингвистического общества 29 декабря 1971 года.— В кн.: *Социально-лингвистические исследования*. М., 1976, с. 27.
25. *Лангнер Х.* Пласты языка и социальные слои. К вопросу о влиянии социальных факторов на языковое употребление.— В кн.: *Актуальные проблемы языкознания ГДР*. М., 1979, с. 110.
26. *Ehlich K., Hohnhäuser I., Müller F., Wiehle D.* Spätkapitalismus — Soziolinguistik — Kompensatorische Spracherziehung.— *Kursbuch*, 1971, Bd. 24, S. 33.
27. *Oevermann U.* Sprache und soziale Herkunft. Ein Beitrag zur Analyse schichtenspezifischer Sozialisationsprozesse. 2. Aufl. Frankfurt/Main, 1972, S. 25.
28. *Niebold W.* Sprache und soziale Schicht. Darstellung und Kritik der Forschungsliteratur seit Bernstein. 5. Aufl. Berlin, 1972, S. 71.
29. *Probleme der Soziolinguistik*. Hrsg. von Jäger S. Göttingen, 1975, S. 39.
30. *Ammon U.* Begriffsbestimmung und soziale Verteilung des Dialekts.— In: *Grundlagen einer dialektorientierten Sprachdidaktik*. Hrsg. von Ammon U., Knoop U., Radtke J. Weinheim-Basel, 1978, S. 49—71.
31. *Grassi C.* Von der Sprachgeographie zur Soziolinguistik.— *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik*, 1980, Hf. 2, S. 155.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КАРПОВА О. М., СТУПИН Л. П.

## СОВЕТСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

(К 25-летию со дня выхода в свет первого тома  
Словаря языка А. С. Пушкина)

Советская писательская лексикография начала свое существование в 50-х гг. нашего века в связи с подготовкой к изданию материалов Словаря языка Пушкина [1]. Работа эта была пачата по инициативе Г. О. Винокура и закончена акад. В. В. Виноградовым.

Идея создания лексикографического справочника к произведениям великого поэта выдвигалась прогрессивными общественными кругами России еще в конце XIX века [2], однако воплощение получила лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. К этому времени русская писательская лексикография уже располагала некоторым опытом составления писательских словарей [3—5], которые строились в сходных лексикографических формах, приближаясь к толковому словарю<sup>1</sup>. Тем не менее, эти справочники отличались по словнику, методам и степени полноты анализа языкового материала и некоторым другим моментам.

Историческое наследие русской писательской лексикографии наложило заметный отпечаток на последующие словари языка писателя и прежде всего на словарь А. С. Пушкина — первый фундаментальный труд молодой советской писательской лексикографии. Этот словарь, приближающийся по форме к толковому, мыслился как лингвистический и был призван служить пособием по углубленному изучению русского языка в его истории, т. е. на фоне языка писателя отразить современное Пушкину состояние литературного языка России. Таким образом, Словарь Пушкина положил начало новому типу словаря — и с т о р и ч е с к о м у словарю языка писателя<sup>2</sup>.

По-видимому, одна из первых проблем, которая стоит перед составителями словаря писателя (и, естественно, стояла перед составителями пушкинского Словаря) — это в о п р о с и с т о ч н и к а, конкретнее — картотеки для любого и каждого типа словаря. В общелексикографическом плане она разрабатывается давно и довольно плодотворно. Однако эта проблема имеет свое специфическое преломление в словарях языка писателей. Прежде всего она находится в прямой зависимости от типа справочника: создается ли словарь ко всему творчеству писателя, к его отдельному произведению или к определенной части творчества (например, только к критическим статьям). Следовательно, проблема источника в словаре писателя имеет две крайние точки выражения: или весь языковой материал писателя, или его отдельное произведение.

При составлении словаря ко всему творчеству писателя неизменно

<sup>1</sup> Для сравнения укажем, что английские писательские словари с момента их появления (XIV в.) были представлены в иной лексикографической форме, а именно конкорданса [6—7].

<sup>2</sup> Отметим, что основную массу словарей языка писателей в других странах также можно считать историческими справочниками, так как их авторы ставили своей задачей отражение состояния языка эпохи, в которую жили и творили эти писатели [8—12].

встает вопрос: какие произведения включить в словарь такого рода, поскольку созданные в начале или на этапе зрелого мастерства, они могут существенно отличаться по языковому материалу. Тем более трудным в этой связи является вопрос о регистрации в словаре слов и выражений из так называемой справочно-литературоведческой литературы: переписка, деловые бумаги и черновики и т. п.

Авторы Словаря Пушкина стремились охватить лексику всех произведений писателя, за некоторыми незначительными ограничениями (см.: «Содержание и построение словаря», с. 11). Не вошли в словарь и материалы, относящиеся к разделу «Другие редакции и варианты». Однако, несмотря на это, можно констатировать, что в принципе Словарь Пушкина является полным по охвату творчества писателя.

Проблема источника словаря писателя включает в себя еще один важный вопрос — выбор издания. Это — качественная проблема, которая является трудно разрешимой, так как обычно существуют несколько изданий одного и того же произведения, которые, как правило, отличаются не только пунктуационно-орфографически, но и текстуально. Принимая во внимание важность выбора источника, составители Словаря Пушкина остановились на наиболее авторитетном издании полного собрания сочинений А. С. Пушкина [13].

В о п р о с о с т р у к т у р е словаря также является одной из многих сложных проблем писательской лексикографии. Он включает в себя комплекс трудностей, возникающих при составлении любого типа писательского справочника. Так, способ расположения слов в таком словаре (частный вопрос его структуры) представляет собой одну из проблем, встречающихся при составлении словаря ко всему творчеству и отдельным произведениям художника слова. В современной лексикографии в настоящее время преобладает тенденция располагать приводимый материал по алфавиту. Вместе с тем, теоретически возможны иные способы: тематический, комбинаторный, идеологический, которые, правда, используются крайне редко. Авторы Словаря Пушкина выбрали алфавитный порядок расположения заглавных слов и тем самым еще раз подтвердили существующую в писательской лексикографии тенденцию приводить весь языковой материал в едином алфавите (за исключением имен собственных, о чем см. ниже)<sup>3</sup>.

Следующей по важности проблемой является с л о в н и к. Строго говоря, эта проблема не стоит остро в писательской лексикографии, тогда как в общей лексикографии она чрезвычайно сложна и до сих пор спорна [14]. Словарь языка писателя призван отражать все лексические единицы, имеющиеся в творениях писателя, в том числе устаревшие, полностью вышедшие из употребления, а также индивидуально-авторские образования. Иначе говоря, если словарь общепародного языка как-то ограничивает свой словник синхронно и диахронно, то словарь языка писателя не должен по существу проводить никаких ограничений ни в синхронном, ни в диахронном планах. Важно также отметить, что в писательском словаре нет отбора между нормативной и ненормативной лексикой. Здесь обычно регистрируется лексическое богатство художника слова с исчерпывающей полнотой, включая не только материал, вошедший в общеязыковой фонд, но и те языковые факты, которые так или иначе отходят от нормы, от всеобщего словоупотребления.

Авторы Словаря Пушкина подтверждают необходимость регистрации в писательском справочнике всей лексики писателя, заявляя, что в словарь включены «в с е встретившиеся в них (текстах. — К. О., С. Л.) слова, независимо от их принадлежности к тому или иному грамматическому разряду» («Содержание и построение словаря», с. 11). Проблематичным в данном случае является только вопрос о включении в словарь имен

<sup>3</sup> В западноевропейской писательской лексикографии также в основном утвердился алфавитный порядок презентации материала.

собственных. Как известно, этот вопрос до сих пор дебатруется и в общей теории, и в практике лексикографии.

Представляется, что отрицательное отношение к именам собственным объясняется прежде всего тем, что многие лингвисты не рассматривают их как слова, имеющие значение. В силу этого составители многих толковых словарей не включают эту группу слов (см. [15]).

Составители пушкинского Словаря также придерживаются этой точки зрения. В Словаре из имен собственных представлены только мифологические как, по-видимому, имеющие историко-познавательное значение. Подобное решение вряд ли оправдано, и особенно, если учесть, что пушкинский Словарь является, как указывалось выше, историческим. Не регистрируя имена собственные, его составители не доносят до читателя большую информацию по истории русской культуры, литературы и вообще общественной жизни того времени. А это было бы не только интересно для читателя, но и важно для понимания духа произведения, эпохи и т. д. Именно поэтому составители других писательских словарей (например, Горького и Шевченко) пошли по пути включения имен собственных.

Проблема словника в большинстве случаев ограничивается вопросом регистрации слов, точнее, их количества. Однако это лишь, так сказать, «внешнее» ее решение, ибо, как известно, слова многозначны. Отражение в словарной статье значений слова представляет собой чрезвычайно важную и сложную проблему. Значения слов, будучи представлены и взаимосвязаны в данной конкретной лексической системе, составляют лексическое существо языка, его принципиальное отличие от других языковых систем. Это тем более важно для словарей языка писателя. Если здесь не будет отражена вся гамма значений, которые писатель использовал в своих творениях, мы не сможем говорить о полноте разработки лексико-семантической системы языка данного писателя.

В Словаре Пушкина каждое слово, включенное в словарь, достаточно полно и глубоко проанализировано в отношении его семантики. Результатом является строгая и четкая структура словарной статьи, отражающая не только все значения, но и основные оттенки слов.

Однако не все значения, представленные в Словаре Пушкина, имеют толкования. Как указывают составители, их целью было не истолковать значение слова или дать ему реальный комментарий, а лишь различить отдельные значения, если их в слове более одного» («Содержание и построение словаря», с. 14). Таким образом, Словарь языка Пушкина является не полным описанием значений. Семантические определения отсутствуют при однозначных словах, имеющих то же значение в современном русском языке. При словах многозначных намечены только те значения, которых нет у данного слова в современном языке. Неописанные значения иллюстрируются цитатами, указаниями, к чему слово относится, и т. п. В этом отношении Словарь Пушкина опять же отличается от Словаря Горького (см. ниже).

Авторы Словаря Пушкина отказались также и от стилистических помет, мотивируя это сложностью и неразработанностью проблем исторической лексикологии и стилистики. Справедливости ради следует отметить, что отсутствие стилистической разработки слова несколько оправдывается приверженностью составителей к избранному жанру — историческому словарю, отражающему систему языка в времени писателя в противоположность стилистическому, который выясняет особенности стиля художника слова. Тем не менее следовало бы включить в словарь стилистические пометы, приняв во внимание тот поистине огромный стилистический материал, который накоплен в советской филологической науке по произведениям А. С. Пушкина. На основе этого материала можно было бы дать достаточно адекватную картину стилистической реальности языковой действительности в эпоху Пушкина.

Выход в свет Словаря языка Пушкина явился крупным событием в советской и мировой лингвистике. С созданием этого словаря открылось новое перспективное направление в отечественной науке о языке — писательская лексикография. Словарь вызвал большой интерес у советских и зарубежных лексикографов, его материалы широко обсуждались и дискутировались (см., например, рецензии [16—18])<sup>4</sup>.

В 60-е годы в Советском Союзе наблюдается заметное оживление как в теории, так и в практике составления словарей языка писателей [22—27]. Наряду с составлением словарей языка русских и советских писателей в эти годы ведется интенсивная работа над созданием лексикографических трудов, отражающих язык произведений украинских писателей и поэтов [28, 29]. В Киеве открывается творческая лаборатория по подготовке Словаря Т. Г. Шевченко. Его авторы использовали в работе лучшие достижения советской писательской лексикографии, учитывая, в частности, достоинства и недостатки Словаря Пушкина, который во многом стал эталоном при создании справочника к творчеству великого украинского поэта [30].

Авторы Словаря Шевченко при составлении с л о в н и к а сочли необходимым отразить (за некоторым небольшим исключением) не только все слою лексики, но и имена собственные. По справедливому утверждению составителей, внесение в словарь географических названий, фамилий, имен и других групп имен собственных «поможет выяснить и детали биографии поэта, и круг его связей, и пути формирования и развития эстетических, философских, общественно-политических взглядов» («Предисловие», с. VI).

Составители справочника к творчеству Шевченко стремились отразить все неповторимое богатство лексики поэта, сделать акцент на способах ее употребления, в особенности на всем том, что характеризует художественный язык Шевченко. Его язык — особенно поэтическое словопользование — это прежде всего высокохудожественная, стилистически яркая лексика. Основная цель словаря поэтому состояла в объяснении именно этих тонких стилистических черт шевченковского словаря, хотя, конечно, внимание к ним ни в коем случае не заслоняло собой анализа лексики в общих семантических категориях.

Словарь языка Шевченко — это важный справочник, который имеет не только узкое филологическое значение, но и общеобразовательную, культурную и гражданскую значимость для истории развития украинского национального языка.

В 1961 г. в Ленинградском университете создается Межкафедральный словарный кабинет, который становится координационным центром по созданию Словаря М. Горького. Под руководством коллектива этого кабинета составляются словари к произведениям писателя, работа над которыми ведется во многих вузах Советского Союза (в Ленинграде составляется словарь к автобиографической трилогии Горького, в Киеве — словарь романа «Мать», в Саратове — словарь драматической трилогии «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие»).

В результате работы указанных коллективов был издан ряд сборников статей, посвященных исследованию языка Горького [31—33], защищены кандидатские диссертации [34—36] и опубликованы два выпуска Словаря трилогии М. Горького [37]<sup>5</sup> и Словарь имен собственных этой же трилогии [38].

<sup>4</sup> Следует отметить, что если в советской писательской лексикографии даже появлению словарей обычно предшествуют теоретические исследования, проекты, инструкции, то в США, Англии и западноевропейских странах мы этого почти не наблюдаем. Исключением была лишь широкая научная дискуссия в 20-х гг. XIX в., вызванная выходом в свет Словаря Чосера [19]. Материалы дискуссии см., например, в [20, 21].

<sup>5</sup> Вып. III выйдет в свет в конце 1981 г.

Идея составления полного горьковского Словаря, всесторонне и глубоко отражающего семантико-стилистическую систему художника слова посредством фронтального анализа абсолютно всех словоупотреблений писателя, принадлежит Б. А. Ларину [39]. Это словарь — с т и л и с т и ч е с к и й, в отличие от пушкинского и в какой-то мере от Словаря Шевченко.

В инструкции к Словарю особо подчеркивается, что в него «включены все без исключения слова, употребленные в тексте трилогии» (вып. 1, с. 9). Это положение относится к употребительной и неупотребительной лексике, регулярным и нерегулярным грамматическим формам, знаменательной и служебной лексике. Более того, в отличие от пушкинского, Словарь Горького регистрирует в полном объеме собственные имена (которые, правда, даются в отдельном выпуске-приложении). Таким образом, Словарь Горького является абсолютно полным по словнику<sup>6</sup>. Составители Словаря Горького, опубликовав первые его выпуски, подтвердили, что полнота разработки значений однозначных и многозначных слов может успешно проводиться в толковых писательских словарях. Здесь представлены слова во всех значениях, в которых они встречаются в трилогии. Однако, в отличие от Словаря Пушкина, авторы Словаря Горького стремятся и к наиболее полному описанию каждого значения, в частности, к его исчерпывающему толкованию.

Характеризуя состояние советской писательской лексикографии на сегодняшний день, нельзя не остановиться еще на одном крупном лексикографическом предприятии, которое планируется Институтом русского языка АН СССР. Речь идет о Словаре языка В. И. Ленина<sup>7</sup>.

Язык В. И. Ленина с его неповторимым, ярким, индивидуальным стилем, несомненно, представляет собой важную веху в истории развития общелитературного русского национального языка. Поэтому не случайно в 1975 г., в дни 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, было решено начать подготовку к созданию словаря, который бы охватывал все лексическое богатство языка этого выдающегося вождя мирового пролетариата.

К настоящему времени выпущены Инструкции по составлению картотеки для Словаря языка В. И. Ленина [43], проект Словаря [44], а также ряд теоретических статей и исследований [45—46]. Судя по опубликованным материалам, справочник будет представлять и «словарь русского литературного языка определенного периода по сочинениям В. И. Ленина» и «словарь языка В. И. Ленина как отдельного писателя во всей его яркости и неповторимой индивидуальности» [47]. В него войдет все лексико-семантическое богатство языка этого выдающегося общественного деятеля, независимо от жанрово-стилистической направленности его произведения. Таким образом, это будет словарь, полный по словнику и полный по охвату творчества.

С другой стороны, в отличие от горьковского справочника, Словарь языка В. И. Ленина мыслится дифференциальным по обработке слова<sup>8</sup>. В нем будут полно истолкованы не все слова, а лишь те, значения которых не совпадают в языке В. И. Ленина со значениями в современном языке, в этом прослеживается сходство со Словарями Пушкина и Шевченко. Не

---

<sup>6</sup> Отметим в этой связи, что в настоящее время почти все западноевропейские и американские лексикографы также пришли к идее создания полных по словнику писательских словарей, фактически отвергнув дифференциальный подход к регистрации писательской лексики.

<sup>7</sup> Для сравнения отметим, что в ГДР ведется работа по составлению Словаря к произведениям К. Маркса и Ф. Энгельса [40]. В западноевропейской лексикографии также делались попытки составить словари к сочинениям философов и общественных деятелей, однако все они обычно обращались глубоко в историю [41—42].

<sup>8</sup> Подобная позиция представляется вполне оправданной, и мы полностью разделяем взгляды составителей словаря [48], которые тем самым учитывают реальные возможности и, главное, практическую целесообразность подобной обработки слов.

будет в Словаре языка В. И. Ленина и стилистических помет, за исключением экспрессивно-эмоциональных оценок. В Словаре будет с большим ограничением представлен иллюстративный материал.

Следует еще раз подчеркнуть, что налагаемые ограничения свидетельствуют не о принципиально теоретической невозможности полного и исчерпывающего описания всех сторон слова в Словаре языка В. И. Ленина, а о реальности поставленных задач — в обозримо короткие сроки создать полный общий словарь всего лексического богатства одного из выдающихся мастеров русского слова. Даже учитывая приведенные ограничения, словарь будет иметь объем около 500 авторских листов, что представляет собой достаточно большую цифру<sup>9</sup>.

Перед составителями Словаря языка В. И. Ленина стоит немало проблем в области отражения лексического богатства языка Ленина, так как его изучение в лексикографическом и, даже можно сказать, в лексическом плане только начинается [см. 49—50]. Однако очевиден тот факт, что планируемый Словарь явится той основой, на прочном фундаменте которой будут строиться монографические исследования о языке и стиле величайшего политического деятеля XX в.

Давая полную картину советской писательской лексикографии, следует упомянуть и другие лексикографические труды, над которыми работают у нас в стране целые коллективы составителей. Прежде всего, это группа авторов Словаря языка русской советской поэзии, руководимая В. П. Григорьевым [26, 51], это и вузовские коллективы, занятые подготовкой словарей к произведениям А. В. Кольцова [52], Н. А. Некрасова [53—54], М. А. Шолохова [55] и др. [56—57].

Благодаря теоретическим исследованиям советских лингвистов, в новое частное направление выделилась двуязычная писательская лексикография [58—59].

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что с 30-х гг. нашего столетия советская писательская лексикография достигла значительных успехов как в теории, так и в практике составления писательских словарей. К настоящему времени она располагает достаточным многообразием типов справочников ко всему творчеству писателя или отдельным его произведениям, среди них центральное место занимают: Словарь языка Пушкина — первый фундаментальный труд советской писательской лексикографии; Словарь языка Шевченко, положивший начало формированию национальной лексикографии; Словарь автобиографической трилогии М. Горького, выдвинувший некоторые новые положения в теории и практике лексикографии, и Словарь языка В. И. Ленина — высшее достижение советской писательской лексикографии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Словарь языка Пушкина, Т. I. М., 1956; Т. II. М., 1957; Т. III. М., 1959; Т. IV. М., 1961; Приложения. М., 1956.
2. Проект словаря Пушкина. Отв. ред. Виноградов В. В. М., 1949, с. 7.
3. Грот Я. К. Язык Державина. — В кн.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1883, т. IX, с. 356—444.
4. Петров К. Словарь к сочинениям и переводам Д. И. Фон-Визина. СПб., 1904.
5. Куницыкий В. И. Язык и слог комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Киев, 1894.
6. Gubson T. Concordance to the Holy Scriptures. London, 1535.
7. Greenwood P. Vocabula Chauceriana. — In: Greenwood P. Grammatica Anglicana. London, 1594.
8. Cuthbertson J. Complete glossary to the poetry and prose of Robert Burns. New York, 1886.
9. Schmidt A. Shakespeare lexicon. V. 1—2. London — Berlin, 1886.
10. Lockwood L. Lexicon to the English poetical works of John Milton. New York, 1907.

<sup>9</sup> Для сравнения укажем, что Большой Оксфордский словарь, регистрирующий все лексическое богатство английского языка, начиная с VII в. и кончая первой третью XX в., занимает около 7000 авторских листов; Словарь языка Пушкина — более 500 листов; а два выпуска Словаря Горького (буквы А — Ж) — 63 листа.

11. *Zeitler J.* Goethe-Handbuch. Bd. 1—3. Stuttgart, 1916—1918.
12. *Gomez C.* Vocabulario de Cervantes. Madrid, 1962.
13. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 1—16. М., 1937—1949.
14. *Ступин Л. П.* Некоторые замечания в связи с работой над новым академическим словарем русского языка.— Вестн. ЛГУ, 1975, № 8.
15. *Ступин Л. П.* О лексическом значении имен собственных.— В кн.: Вопросы теории и истории языка. Сборник статей, посвященный памяти Б. А. Ларина. Л., 1969.
16. *Ашукин Н. С.*— ВЯ, 1958, № 4.— Рец. на кн.: Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. II.— М., 1957.
17. *Гельгардт Р. Р.*— ИАН ОЛЯ, 1957, № 4.— Рец. на кн.: Словарь языка Пушкина. Т. I. М., 1956.
18. *Сорокин Ю. С.*— ВЯ, 1957, № 5.— Рец. на кн.: Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. I. М., 1956.
19. *Tatlock J., Kennedy A.* A concordance to the complete works of Geoffrey Chaucer and the Romaunt of the Rose. The Carnegie Institution of Washington, 1927.
20. *Menner R.*— Modern language notes, 1928, v. XLIII, № 5.— Rev.: A concordance to the complete works of Geoffrey Chaucer, and to the Romaunt of the Rose. By John Tatlock S. P. and Kennedy Arthur G. The Carnegie Institution, Washington, 1927.
21. *Northrup C.*— The journal of English and Germanic philology, 1928, v. XXVII, № 2.— Rev.: A concordance to the complete works of Geoffrey Chaucer and to the Romaunt of the Rose. By Tatlock John S. P. and Kennedy Arthur G. The Carnegie Institution of Washington, 1927.
22. *Богородский Б. Л., Ларин Б. А.* и др. О словаре-комментарии «Слова о полку Игореве».— ТОДРЛ, 1960, т. XVI.
23. *Ковтун Л. С.* О специфике словаря писателя.— В кн.: Словоупотребление и стиль М. Горького. Л., 1962.
24. *Творогов О. В.* Словарь-комментарий к «Повести временных лет»: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1962.
25. *Чистяков В. Ф.* Как составить словарь к басням И. А. Крылова. Воронеж, 1960.
26. *Григорьев В. П.* Словарь языка русской советской поэзии: Проспект. М., 1965.
27. *Марканова Ф. А.* Словарь народно-разговорной лексики и фразеологии, составленный по собранию сочинений И. С. Тургенева. Ташкент, 1968.
28. *Бурячок А. А.* Інструкція до складання словника мови художніх творів І. П. Котляревського.— Наук. зап. Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського, 1961, вып. 3.
29. *Ващенко В. С.* Про будову словника Шевченкової мови.— В кн.: Збірник праць 9 наук. Шевченківської конференції. Київ, 1961.
30. *Словник мови Шевченка.* Київ, 1964.
31. Словоупотребление и стиль М. Горького. Л., 1962.
32. Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы. Л., 1964.
33. Словоупотребление и стиль М. Горького. Л., 1968.
34. *Язикова М. С.* Словоупотребление М. Горького (по повести «В людях»): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1962.
35. *Рак О. И.* Семантический анализ приставочных глаголов в автобиографической трилогии М. Горького: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1965.
36. *Бекова С. В.* К проблеме идеологического словаря писателя (семантико-стилистика анализ группы слов со значением цвета у М. Горького): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1974.
37. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. I. Л., 1974; Вып. II. Л., 1977.
38. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Имена собственные. Сост.: Федоров А. В., Фолякова О. И. Л., 1975.
39. *Ларин Б. А.* Основные принципы словаря автобиографической трилогии М. Горького.— В кн.: Словоупотребление и стиль М. Горького. Л., 1962.
40. *Абрамов Б. А., Семенов Н. Н.* О подготовке словаря К. Маркса и Ф. Энгельса.— ИАН ОЛЯ, 1969, № 6.
41. *Davies D., Wrigley E.* (eds.) Concordance to the essays of Francis Bacon. Detroit, 1973.
42. *Merguet H.* Lexicon zu den philosophischen Schriften Ciceros. Bd. 1—3. Jena 1887—1894.
43. *Даниленко В. П.* Инструкция по составлению картотеки для Словаря языка В. И. Ленина. М., 1974.
44. Словарь языка В. И. Ленина. Проект. Отв. ред. Филип Ф. П. М., 1974.
45. Слово в языке произведений В. И. Ленина. Отв. ред. Хохлачева В. Н. и Горшков А. И. М., 1979.
46. Исследования по языку и стилю произведений В. И. Ленина. Отв. ред. Давиленко В. П. М., 1981.
47. *Филип Ф. П.* О словаре языка В. И. Ленина.— В кн.: Слово в языке произведений В. И. Ленина. М., 1979, с. 10.

48. *Денисов П. Н.* О подходах к толкованию слов в «Словаре языка В. И. Ленина». — В кн.: Исследования по языку и стилю произведений В. И. Ленина. М., 1981.
49. *Хохлачева В. П.* Ранние работы о языке и стиле произведений В. И. Ленина. — В кн.: Слово в языке произведений В. И. Ленина. М., 1979.
50. *Денисов П. Н.* Индивидуальный стиль В. И. Ленина и общелитературный язык. — Русская речь, 1979, № 2.
51. *Григорьев В. П.* Поэт и слово: Опыт словаря. М., 1973.
52. *Артёмченко Е. П., Кавецкая Р. К.* и др. К составлению Словаря языка поэзии А. В. Кольцова. — В кн.: Сборник материалов 2-й научн. сессии вузов Центрально-черноземной зоны. Лингвистические науки. Воронеж, 1967.
53. *Мельниченко Г. Г.* О принципах составления словаря Н. А. Некрасова. В кн.: Вопросы русского языка. Вып. III. Язык Некрасова. Ярославль, 1969.
54. *Григорьев В. П.* Словарь Н. А. Некрасова в контексте проблем поэтической лексикографии. — ИАН СЛЯ, 1971, № 5.
55. *Федосова И. А., Архангельский В. Л.* и др. Проект инструкции по составлению «Словаря произведений М. А. Шолохова». — В кн.: Вопросы изучения русского языка. Ростов-на-Дону, 1964.
56. *Тимофеев В. П.* Словарь языка Есенина. Вместо проспекта. — В кн.: Сергей Есенин. Исследования. Мемуары. Выступления. М., 1967.
57. *Судавичене Л. О.* О составлении словаря языка К. Паустовского — Уч. зап. высших учебных заведений Литовской ССР. Языкознание. Вильнюс, 1970, т. XXI.
58. *Лилич Г. А.* Чешско-русский словарь трилогии М. Пуймановой. — В кн.: Из истории слов и словарей. Л., 1963.
59. *Трофимкина О. И.* Сербохорватско-русский объяснительный словарь к произведениям С. М. Любичи: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1970.

АЛЕКСАНДРОВА О. В., ШИШКИНА Т. Н.

**ФРАЗИРОВКА КАК СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

В естественном человеческом языке языковое выражение неразрывно связано с определенным содержанием, причем выражение (в том смысле, что оно непосредственно и прямо воспринимается слушателем) всегда первично. В частности, для того, чтобы данное синтаксическое содержание могло обрести соответствующее выражение, должна реализоваться определенная форма синтаксической связи. Каковы же средства синтаксического выражения и каким образом они могут доносить до сознания человека все многообразие значимых синтаксических оппозиций?

Определяя синтаксис как науку о построении речи, необходимо подчеркнуть, что термин «построение» соединяет в себе органически понятия «ἔργον» и «ἐνέργεια», т. е. как уже построенный текст, так и процесс синтаксической организации предельных единиц речи — слов и их эквивалентов. Однако слова не только имеют свойственное каждому из них «индивидуальное» лексическое значение, но, соединяясь с другими словами, взаимодействуют с ними и выражают, таким образом, множество сложных лексико-фразеологических значений. Отсюда следует, что наука о построении речи может существовать лишь в диалектическом единстве коллигации и коллокации<sup>1</sup>.

Типичное соединение данного вида синтаксического содержания и данного типа синтаксического выражения есть оптимальная реализация синтаксической связи — деление предложения на его члены.

Любой прозаический текст плавно читается «слева направо». Это не значит, конечно, что поток речи никогда не прерывается. Как раз об обратном свидетельствует все многообразие парентетических внесений. В данном случае важно то, что в прозе говорящий отнюдь не всегда связан заданным членением речи на сегменты — в значительных пределах он оказывается свободным в выборе той или иной фразировки<sup>2</sup>, но, разумеется, всегда (во всяком случае, пока речь идет о научной прозе) в пределах синтаксически допустимого<sup>3</sup>. Таким образом, возникает необходимость, прежде всего, в определении того места, которое уровень фразировки вообще занимает в построении речи. Дело в том, что если предыдущие три уровня синтаксического членения речи (уровень формально-грамматического построения текста, уровень динамического синтаксиса и уровень парентетических внесений [2]) обладают достаточной языковой объективностью и могут с полным правом быть отнесены к собственно синтаксису, то фразировка требует решения целого ряда гораздо более сложных вопросов. Это в первую очередь вопрос о том, каким образом соотносятся синтаксис как часть грамматики и синтаксическая стилистика как часть науки о более сложном, очень часто мета-семиотически своеобразном построении речи. Поэтому прежде чем перейти к детальному рассмотрению

<sup>1</sup> Коллигация — морфо-синтаксически обусловленная сочетаемость слов в речи как реализация их полисемии; коллокация — лексико-фразеологически обусловленная сочетаемость слов в речи как реализация их полисемии [1].

<sup>2</sup> Фразировка (англ. phrasing) — использование говорящим сверхсегментных фонетических средств; избираемая говорящим расстановка пауз в потоке речи.

<sup>3</sup> Известно, что реализация некоторых пауз (например, предидирующей) в потоке речи является обязательной, а некоторых (например, комплетивной) — факультативной. Можно сказать: A basic requirement for a consistent and reliable theory is a sound metataxonomy. Можно и так: A basic requirement for a consistent and reliable theory is a sound metataxonomy. Однако нельзя: A basic requirement for a consistent and reliable theory is a sound metataxonomy.

фразировки как таковой [3], необходимо хотя бы кратко остановиться на проблеме собственно синтаксических пауз (*junctions*).

Синтаксические паузы (диеремы), различные по длине и функциональному весу, играют огромную роль в правильном оформлении высказываний. С фонетической точки зрения, диерема — факультативная пауза, сопровождающаяся изменением предшествующего звука или звуков и связанная с изменением интонационного контура:

The 'weather in ,England | can 'change very ,quickly.

С синтаксической точки зрения, диерема — вид ритмико-мелодической каденции, функция которой состоит в членении речи таким образом, чтобы наиболее адекватно передать ее содержание. Диеремы являются факультативными паузами в том смысле, что полнота их реализации в потоке речи обусловлена целым рядом различных причин, о которых речь пойдет ниже. Иными словами, каждый говорящий в зависимости от ситуации может использовать более или менее полно те возможности паузации, которые предоставлены в его распоряжение синтаксическим строем данного языка. От расстановки синтаксических пауз часто зависит смысл высказывания:

Как удивили его | слова брата.

Как удивили его слова | брата.

Музей | истории Московского университета.

Музей истории | Московского университета.

Таким образом, оказывается, что расстановка синтаксических пауз вовсе не всегда факультативна или произвольна. Фразировка (т. е. избираемая говорящим расстановка пауз в данном конкретном чтении) есть конкретная форма, конкретное выражение для данного конкретного содержания. Она меняется с изменением содержания, и наоборот — выбор альтернативного варианта фразировки нередко влечет за собой изменение синтаксического (а следовательно, и семантического) содержания.

В прозе сложность этой проблемы усугубляется тем, что авторская фразировка далеко не всегда ясна и однозначна. Прозаический текст нередко допускает различные интерпретации и толкования, предоставляя читателю определенную свободу выбора, что, однако, само по себе не дает оснований утверждать, что каждый отрезок речи вообще может быть произнесен по-разному. Фразировка как четвертый уровень синтаксического членения текста по своей сущности синтаксична «насквозь»: каждая синтаксическая пауза есть выражение для определенного синтаксического содержания, а фразировка в целом есть форма (выражение) суммы этих содержаний<sup>4</sup>. Следовательно, в этом смысле фразировка оказывается *з а д а н н о й*, а не произвольной. Общеизвестные фразы типа *Казнить нельзя помиловать* являются наиболее простым и очевидным подтверждением нашего предположения, по это акстремальный случай. В тексте же немаркированном, стилистически нейтральном, интеллектуальном, реализуются синтаксические паузы, которые являются релевантными для выражения данного конкретного содержания. Эти паузы должны реализоваться обязательно, поскольку их нереализация немедленно повлечет за собой изменение синтаксического (а следовательно, и семантического) содержания:

I haven't seen him since he left

I haven't seen him | since he left.

Таким образом, один из важнейших вопросов, на которые предстоит ответить, — в каком смысле фразировка является произвольной, и в каких пределах. Сама постановка этого вопроса подводит нас к еще более глобальной и принципиально важной проблеме: *ка к р а з г р а н и ч и т ь п о н я т и я с и н т а к с и с а и с т и л я ?*

<sup>4</sup> Это, однако, не значит, что фразировка не включает и многие другие факторы, относящиеся уже к области стилистики, риторики и т. д.

В качестве рабочей гипотезы можно выдвинуть предположение о том, что граница между собственно синтаксическим и синтактико-стилистическим оформлением высказывания проходит именно по фразировке, которая, с одной стороны, является категорией синтаксической, а с другой — стилистической: все, что во фразировке является обязательным и никакому варьированию не подлежит, относится к области собственно синтаксиса, в то время как «свободное варьирование» («free variation») является объектом стилистического исследования.

Для того чтобы попытаться ясно и отчетливо сформулировать проблему и найти подход к ее решению, необходимо, по-видимому, «начать с конца» — т. е. с тех разновидностей речи, где все построение определяется стилистическими соображениями и является результатом «свободного варьирования». Иными словами, представляется целесообразным начать с тех видов речетворчества, где не только допускается, но и предполагается возможность максимальной свободы выбора, т. е. необходимо в первую очередь обратиться к поэзии.

Утверждая, что поэзия «насквозь стилистична», мы, разумеется, ни на минуту не забываем о том, что она, как любая другая форма речетворчества, обязательно подчиняется определенным законам синтаксической диеремики, т. е. синтаксис, как и фонология, морфология и др., имеет свою собственную систему противопоставлений, или, иначе, узаконенных синтаксических «контрастов» (contrasts).

В поэзии синтаксические диеремы могут совпадать или не совпадать со знаками второй семиотической системы — границами поэтической стопы, знаком конца строки, конца строфы, и служат, таким образом, для создания различных поэтических эффектов. Собственно синтаксический аспект этой проблемы уже подвергался тщательному исследованию [4]. Теперь же первоочередной задачей представляется выяснение целей, причин и способов реального осуществления в поэзии в частности и в речи вообще «свободного варьирования».

Фразировка поэзии отличается от фразировки прозы, кроме других факторов, еще и тем, как ее ритм «задан» читающему. Известно, что ритмическая структура стиха подсознательно реконструируется читающим или слушающим. По-видимому, именно об этом думал В. Маяковский, когда говорил, что стихи у него начинаются с ритма, который только постепенно обретает форму, предстает в виде отдельных слов [5].

Как уже было сказано, в поэзии на семиотическую систему синтаксических диерем, характерную для связи членов предложения, накладывается другая семиотическая система — система поэтических «дизъюнктур» (знаки конца строки, конца строфы и пр.). Практически любой текст может быть представлен в виде свободного стиха путем его членения посредством поэтических «дизъюнктур».

Что же изменится, если прозаический текст записать в форме стиха просто с учетом синтаксических диерем прозы? <sup>5</sup>

||| But the river — chill and weary, | with the ceaseless raindrops falling on its brown and sluggish waters, | with the sound as of a woman, | weeping low in some dark chamber; || while the woods, | all dark and silent, | shrouded in their mists of vapour, | stand like ghosts with eyes reproachful, | like the ghosts of evil actions, | like the ghosts of friends neglected | — is a spirit — haunted water through the land of vain regrets. |||

But the river — chill and weary,  
With the ceaseless raindrops falling  
On its brown and sluggish waters,  
With the sound as of a woman,  
Weeping low in some dark chamber;  
While the woods, all dark and silent,

<sup>5</sup> Анализ фразировки текста проводился на материале английского языка.

Shrouded in their mists of vapour,  
 Stand like ghosts with eyes reproachful,  
 Like the ghosts of evil actions,  
 Like the ghosts of friends neglected,  
 Is a spirit-haunted water  
 Through the land of vain regrets [6].

На первый взгляд, текст меняется весьма незначительно — ведь налицо одни и те же синтаксические дисремы. Однако во втором случае они заметно усиливаются благодаря наложению на них дизъюнктур поэтического текста. Важно также и то, что благодаря соответствующей графической репрезентации читателю задается определенный ритм и достигается определенная «теснота» поэтического ряда<sup>6</sup>.

Рассмотрим другой случай. Следующий отрывок из романа Ч. Дикенса «Лавка древностей» может быть представлен в различных «поэтических» вариантах:

||| Oh, it is hard to take to heart the lesson | that such deaths will teach,  
 | but let no man reject it, | for it is one that all must learn, | and is a mighty  
 | every universal truth. || When Death strikes down the innocent and young, for  
 every fragile form | from which he lets the panting spirit free | a hundred  
 virtues rise | — in shapes of mercy, | charity and love | — to walk the  
 world and bless it. |||

1. Oh, it is hard to take to heart the lesson,  
 That such deaths will teach,  
 But let no man reject it,  
 For it is one that all must learn,  
 And is a mighty universal truth.  
 When Death strikes down the innocent and young,  
 For every fragile form  
 From which he lets the panting spirit free,  
 A hundred virtues rise —  
 In shapes of mercy, charity and love —  
 To walk the world and bless it.
2. Oh, it is hard to take to heart  
 The lesson that such deaths will teach,  
 But let no man reject it,  
 For it is one that all must learn,  
 And is a mighty universal truth.  
 When Death strikes down the innocent and young,  
 For every fragile form from which  
 He lets the panting spirit free  
 A hundred virtues rise in shapes  
 Of mercy, charity and love —  
 To walk the world, and bless it.
3. Oh, it is hard  
 To take to heart  
 The lesson that  
 Such deaths will teach.  
 But let no man reject it,  
 For it is one

<sup>6</sup> Подробнее об этом см. [7]. Необходимо также отметить, что именно отсутствие соответствующей графической формы позволяет не замечать в прозаических текстах отрывков, построенных в полном соответствии с законами версификации. В качестве примера можно привести известную фразу из английского учебника по математике XIX в.: It may at first sight seem unlikely that the pull of gravity will depress the centre of the light cord, held horizontally at a high lateral tension; and yet no force, however great, can stretch a cord, however fine, into a horizontal line that shall be absolutely straight. Прошли десятилетия прежде чем было замечено, что вторая половина предложения построена по всем законам рифмованной строфы.

That all must learn,  
 and is  
     a mighty  
             universal  
                     truth.  
 When Death strikes down  
 The innocent and young,  
 For every fragile form  
 From which he lets  
 The panting spirit free  
 A hundred virtues rise —  
 In shapes of mercy,  
                     charity  
                             and love —  
 To walk the world,  
 And bless it.

Все три предложенных варианта фразировки вполне допустимы. В трех случаях различные синтаксические диеремы совпадают с поэтическими дизъюнктурами конца строки, и таким образом достигается различное звучание, различное ритмико-интонационное оформление текста, приводящее, в свою очередь, к созданию различного поэтического эффекта. Именно это мы и понимаем под «свободным варьированием».

Все сказанное приводит нас к необходимости решения одного из сложнейших вопросов: в каких пределах авторская фразировка в поэзии является обязательной для читателя и насколько от нее можно (и нужно) отступать? Приводимый ниже сонет Джона Донна вряд ли может быть прочитан так, чтобы синтаксические диеремы полностью совпадали с поэтическими дизъюнктурами в так называемом «end-stopped verse» (этот термин противопоставляется понятию-термину «run-on line»):

On the round earth's imagined corners blow  
 Your trumpets, angels, and arise. Arise  
 From death, you numberless infinities,  
 Of souls, and to your scattered bodies go,  
 All whom the flood did, and fire shall o'erthrow,  
 All whom warre, death, age, agues, tyrannies,  
 Despair, law, chance hath slaine, and you whose eyes  
 Shall behold God, and never taste death's woe.

Как уже говорилось выше, в распоряжении поэта имеется двойная система (потенциальных) пауз, две системы членения речи. Если знаки двух систем совпадают, результатом является слияние диеремы и дизъюнктуры, четкое выделение конца строки (end-stopped verse). Если же этого не происходит, т. е. если синтаксическая связь очень тесна, как в случае *blow your trumpets*, или если внутрисклочная пауза превосходит по длительности паузу конца строки:

..... blow  
 Your trumpets, angels, and arise. Arise  
 From death, .....

то налицо столкновение двух систем, своеобразный «контрапункт». Это явление весьма распространено в поэзии. Некоторые исследователи склонны даже считать, что оно как раз и отличает «poetry» от «verse» [8]. Нельзя, однако, не отметить, что прием «текучей строки» по-разному используется поэтами: для А. Пуупа, например, характерно совпадение границ предложения с границами рифмованного четверостишия, в то время как Мильтон, несомненно, предпочитает величественное и плавное скольжение «текучих строк».

Иначе говоря, поэт, как и любой другой носитель языка, использует более или менее полно те законы диеремики, которые предоставлены в его распоряжение синтаксическим строем языка. Однако каждый поэт использует их по-своему, и индивидуальность авторского ритма, авторского стиля в поэзии зависит в незначительной степени от того, в каких отношениях находятся знаки двух семиотических систем. Так, например, в 65-ом сонете В. Шекспира существует полное совпадение знаков двух систем вплоть до того, что границы слов большей частью совпадают с границами стоп:

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea, |  
But sad mortality o'ersways their power, |  
How with this rage shall beauty hold a plea |  
Whose action is no stronger than a flower?

Но вот в 55-м сонете картина совсем иная:

Nor marble, nor the gilded monuments  
Of princes, shall outlive this powerful rhyme; |  
But you shall shine more bright in these contents |  
Than unswept stone, besmear'd with sluttish time. |||

Здесь (на стыке первой и второй строк) правила синтаксической диеремики нарушаются. С «нарушениями» такого рода мы сталкиваемся в произведениях Шекспира достаточно регулярно. Вот, например, отрывок из комедии «Двенадцатая ночь»:

Not a flower, not a flower sweet,  
On my black coffin let there be strown;  
Not a friend, not a friend greet  
My poor corpse, where my bones shall be thrown;  
A thousand thousand sighs to save,  
Lay me, O where  
Sad true lover never find my grave,  
To weep there!

В предыдущем изложении вопрос о «текучей строке» возникал в связи с необходимостью показать, каким образом происходит совмещение двух различных семиотических систем в мерной речи. Иначе говоря, мы пришли к понятию текущей строки, отходя от гораздо более общих вопросов семиотики, семиотического изучения тех значащих элементов синтаксического выражения, на которых вообще основывается все осмысленное, закономерное построение человеческой речи. Иными словами, мы специально занимались общими вопросами семиотики синтаксического выражения. В результате мы особо выделили то понятие, которое давно существует и с незапамятных времен занимает важное место в стиховедческих исследованиях. Речь идет о понятии «текучей строки». Однако это понятие получило у нас особое определение именно в том ракурсе, в том плане, в котором оно естественно вытекает из семиотического исследования синтаксической диеремики. Но поскольку вопрос о «текучей строке» имеет совершенно особое значение для истории английской поэзии и английского языка вообще, теперь необходимо от более общих теоретических положений обратиться к собственно историко-филологической стороне дела, потому что краеугольным камнем советской языковедческой науки является диалектическое единство языка и речи.

Хорошо известно, какой огромный вред был нанесен развитию языкознания, даже в нашей стране, проповедниками так называемой «теоретической лингвистики», пытавшимися заменить подлинное лингвистическое исследование реальных фактов языка абстрактно-гипотетическими построениями. Глубоко заблуждаются также и те исследователи, которые, следуя за объективистскими концепциями дескриптивной лингвистики,

ограничиваются простым описанием фактов языка, игнорируя теорию и даже доходя до полного ее отрицания.

Подлинно научное языковедческое исследование должно идти по двум основным направлениям: с одной стороны — накопление материала, а с другой — развитие теоретических обобщений. Гипотеза только тогда становится научной, когда она возникает на основе знания соответствующих фактов. Необходимо соотносить то, что познается непосредственно из опыта, с научным предвидением. Именно поэтому представляется необходимым проверять теоретические выводы последовательным анализом материала.

Развитие английской драмы шло по направлению от стиха с конечными паузами к стиху, изобилующему анжанбеманами. Статистические исследования распределения последних позволили уточнить время написания некоторых пьес Шекспира. В целом это не могло не привести к большей сложности, к большему богатству изобразительных средств в английской поэзии.

В поздних работах Шекспира употребление текучей строки становится настолько частым, что, не имея перед глазами текста, практически невозможно различить концы строк. Более того, если внутренняя пауза реализуется в нескольких последовательных строках, она вполне может быть принята за дизъюнктуру конца строки. Рассмотрим следующий пример из «Зимней сказки» В. Шекспира:

Is whispering nothing?  
Is leaning cheek to cheek? | Is meeting noses?  
Kissing with inside lip? | stopping the career  
Of laughter with a sigh | (a note infallible  
Of breaking honesty)? | horsing foot on foot?  
Skulking in corners? wishing clocks more swift?  
Hours, minutes? noon, midnight? | and all eyes |  
Blind with the pin and web, | but theirs, theirs only.

«текучая строка» занимает важное место среди уже достаточно четко установленных понятий ритмо-мелодического членения мерной речи. В связи со всем сказанным возникает вопрос: как же следует понимать «строчной перенос» в свете учения о двух системах диерем? В качестве рабочей гипотезы можно предложить следующее наблюдение: каждая из синтаксических диерем прозы реализуется, исходя из правил и закономерностей ее построения. Так же и в поэзии. Обычно любая синтаксическая диерема, попадая в конец строки, усиливается наложением на нее знака конца строки. При наличии же текучей строки вторая система снимается, а первая, в условиях мерной речи, стирается, что создает у читателя впечатление сплошного или плавного перехода.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 199.
2. Долгова О. В. Семиотика неплавной речи (на материале английского языка). М., 1978.
3. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. М., 1973, с. 61.
4. Долгова О. В. Синтаксис как наука о построении речи. М., 1980.
5. Маяковский В. В. Как делать стихи. Полн. собр. соч. М., 1978, т. 11, с. 236—271.
6. The prosody of speech. Ed. by Akhmanova O. Moscow, 1973.
7. Тынянов Ю. Проблемы стихотворного языка. М., 1965.
8. Turner G. B. Stylistics. New York, 1973.

КРЮЧКОВА Т. Б.

К ВОПРОСУ О МНОГОЗНАЧНОСТИ  
«ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННОЙ» ЛЕКСИКИ

Проблема взаимоотношения языка и идеологии<sup>1</sup> весьма сложна и многоаспектна. С одной стороны, идеология оказывает значительное воздействие на язык, с другой стороны, язык как средство объективации различных форм идеологии в определенной степени влияет на процесс ее формирования и распространения. Советские и зарубежные ученые не раз обращались к исследованию некоторых вопросов, связанных со взаимоотношением языка и идеологии. Однако при всей общетеоретической и практической значимости этой проблемы, а также ее безусловной актуальности она до сих пор остается малоизученной.

В советском языкознании определенный интерес к этой проблеме проявлялся в 20—30-е годы нашего столетия (этот период, как известно, вообще характеризовался усилением внимания к социолингвистической проблематике). К числу первых советских исследований, посвященных изучению взаимосвязи языка и идеологии, относятся работы В. Н. Волошинова [2] и В. И. Абаева [3], в которых предпринималась попытка рассмотреть указанную проблему в общетеоретическом плане. Однако следует отметить, что оба автора вкладывали в термин «идеология» существенно иное содержание, по сравнению с принятым в современной философской литературе.

К этому же периоду относятся работы более частного характера, посвященные изучению изменений, происходящих в лексико-семантической системе языка в моменты социальных революций [4—7] (интерес к языку Великой французской революции во многом стимулировался работой П. Лафарга [8]). Особенно необходимо подчеркнуть четкую методологическую позицию, положенную в основу исследования, в указанных работах Р. А. Будагова.

Ряд работ, затрагивающих проблему взаимоотношения языка и идеологии, появился в нашей стране в последнее десятилетие. Они касаются главным образом влияния идеологии на функционирование языка и его функциональное развитие [9—11]. Большое внимание в советских исследованиях уделяется также темам «язык как объект идеологической борьбы» и «язык как орудие идеологической борьбы» [12, 13].

В зарубежном языкознании в последние годы появились отдельные исследования, в которых предпринимаются попытки осветить некоторые общетеоретические проблемы взаимоотношения языка и идеологии. Так, на это, судя по заглавию, претендует книга Г. Кресса и Р. Ходжа «Язык как идеология» [14]. Однако следует сразу отметить, что понятие «идеология» трактуется авторами весьма широко и расплывчато: «система идей, выраженных с той или иной точки зрения». Таким образом, как указывают авторы, «идеология представляет категорию, включающую в себя науку и метафизику, а также различные политические идеологии безотносительно к их статусу и надежности в процессе познания объективной действительности» [14, с. 6]. Язык в целом авторы рассматривают сквозь

<sup>1</sup> Под идеологией мы понимаем «совокупность идей и взглядов, отражающих в теоретической более или менее систематизированной форме отношение людей к окружающей действительности и друг к другу и служащих закреплению или изменению, развитию обществ. отношений» [1, с. 229].

призму гипотезы Сепира — Уорфа, согласно которой язык «навязывает» мышлению определенную модель действительности. «Язык, — пишут авторы, — является частью жизни общества, будучи его практическим сознанием. Это сознание неизбежно представляет собой предвзятое, фальшивое сознание. Мы можем назвать его „идеологией“» [14, с. 6]. Такое понимание идеологии и языка определяет чрезвычайно разнообразие лингвистических вопросов, рассматриваемых в работе. При этом проблема взаимоотношения языка и идеологии (если последнюю понимать в том смысле, в каком это принято в современной марксистской литературе) затрагивается лишь вскользь.

Большое внимание теоретическим проблемам взаимоотношения языка и идеологии уделяют языковеды ГДР. Так, В. Шмидт, анализируя эти проблемы, вводит понятие «идеологической связанности» (*Ideologiegebundenheit*) лексических единиц. Под «идеологической связанностью» понимается семантическая детерминированность слова, заданная его принадлежностью к терминологической системе определенной идеологии или какому-либо ее варианту, а также местом, занимаемым им в этой системе [15]. При исследовании «идеологически связанной» лексики лингвистов, по мнению автора, в первую очередь интересует, как отражается идеологическая обусловленность языкового знака в структуре его значения. В. Шмидт считает, что было бы неверно выделять особый идеологический компонент в значении «идеологически связанного» слова, ибо это противоречило бы марксистско-ленинскому положению о тесной связи познавательного и идеологического аспектов восприятия действительности. Лингвистическим следствием данного положения является то, что понятийный компонент значения слова идеологически окрашен уже с момента своего возникновения [16]<sup>2</sup>.

Оригинальный подход к проблеме взаимоотношения языка и идеологии предлагает А. Нойберг. В ходе анализа этой проблемы он вводит новое понятие «идеологема», которая определяется как «лингвистический инвариант с социальной релевантностью» [18]. Понятие «идеологема» представляет собой некую абстракцию, введение которой, по мнению автора, позволит обобщить факты некоторых языковых различий и показать их зависимость от определенных социальных феноменов. Следует отметить, однако, что разработка этого понятия находится в самой начальной стадии, определяется оно довольно расплывчато, поэтому в настоящее время еще трудно судить, в какой степени его введение облегчит процесс описания и изучения взаимоотношений языка и идеологии.

Все разобранные работы базируются на материале политической лексики или политических текстов. Следует сказать, что вообще зарубежных исследователей в связи с обсуждаемой темой привлекает главным образом так называемый «язык политики» [19—22], хотя сам термин «язык политики» понимается не всегда однозначно. Некоторые ученые употребляют его в качестве синонима термина «специальный словарь политики» («политическая лексика») [23], другие же, наряду со специальным словарем политики, включают в это понятие особый прагматический аспект, т. е. некоторые особенности использования этого словаря в речи [16].

При анализе языка политики обычно рассматриваются два круга вопросов: 1) какие свойства характеризуют специальный словарь политики; 2) при помощи каких языковых средств можно наиболее эффективно воздействовать на формирование идеологии носителей языка.

Таким образом, в настоящее время наибольшее внимание исследователей в связи с проблемой взаимоотношения языка и идеологии привлекают следующие вопросы: 1) влияние идеологии на функционирование языка

<sup>2</sup> Весьма детально этот вопрос исследует также Т. Шиппан, которая считает, что «идеологическая связанность» слова является свойством семантического компонента языкового значения и может быть выявлена путем анализа сем, составляющих лексему [17].

и его функциональное развитие; 2) использование языка для определенных идеологических целей; 3) особенности языка политики. Однако этими аспектами не может быть ограничено изучение рассматриваемой проблемы. При всей важности первых двух из указанных направлений большой интерес представляет также вопрос о том, влияет ли идеология на саму структуру языка. Этот вопрос затрагивается при обсуждении языка политики. Но, во-первых, внимание исследователей привлекает почти исключительно политическая лексика<sup>3</sup>, в то время как вопрос о возможности отражения идеологии на других уровнях структуры языка, являющийся весьма важным и нетривиальным, остается вне рассмотрения. Во-вторых, идеология выступает не только в форме политических взглядов, в нее включаются также правовые, этические, философские, религиозные воззрения. В этой связи большой интерес представляет вопрос, являются ли свойства языка политики специфическими или они в той или иной степени присущи и языкам других форм идеологии, например, языку философии, языку этики и т. д. И, наконец, в-третьих, если существуют какие-либо особенности, общие для языков всех форм идеологии, то безусловный интерес представляет вопрос о том, какие свойства идеологии обуславливают их появление.

Не претендуя на полный охват указанной проблематики, в данной работе мы попытаемся уточнить только два вопроса: существуют ли какие-либо свойства, характерные для терминологических систем языков<sup>4</sup> политики, философии, этики, права, религии, и если таковые существуют, то какими свойствами идеологии они обусловлены<sup>5</sup>.

Практически все исследователи сходятся в том, что наиболее характерной особенностью языка политики является многозначность его основных терминов. Нам представляется, что это свойство в определенной степени присуще и языкам других форм идеологии. Применительно к языку философии это достаточно убедительно показано в работах Э. Топича и Т. Д. Уэлдона (мы не будем останавливаться на интерпретации этих фактов в работах указанных авторов, отметим только, что их подход к проблеме опирается на совершенно чуждые нам методологические позиции)<sup>6</sup>. На многозначность многих терминов этики указывает И. Ф. Протченко [27]. Таким же образом, по-видимому, обстоит дело и с языком права.

Здесь следует затронуть еще один вопрос: на каком лингвистическом материале изучать рассматриваемую нами проблему? Чаще всего проблема влияния идеологии на язык анализируется в связи с различиями в немецком языке в ГДР и ФРГ<sup>7</sup>. Действительно, в данном случае язык функционирует в качестве основного средства общения в странах с различным социальным строем и соответственно с разными господствующими идеологиями, причем страны эти связаны общим историческим прошлым. Ввиду небольшого отрезка времени, в течение которого немецкий язык функционирует раздельно в этих двух государствах, существенные различия в его вариантах трудно объяснить какими-либо внутренними зако-

<sup>3</sup> В последнее время появился ряд работ, авторы которых рассматривают и другие уровни языка, однако эти исследования носят весьма фрагментарный характер [24, 25].

<sup>4</sup> Необходимо указать, что словосочетания «язык политики», «язык философии», «язык идеологии» мы употребляем, вслед за другими авторами, скорее в метафорическом, нежели в терминологическом смысле. Речь, конечно, идет не о языках, а об особенностях лексико-семантической и других подсистем.

<sup>5</sup> Следует отметить, что хотя всякая идеология получает свое отражение прежде всего в литературном языке, тем не менее можно обнаружить определенное влияние идеологии на жаргоны, сленг и т. п. Однако в настоящей статье нас будет интересовать прежде всего влияние идеологии на литературный язык.

<sup>6</sup> Подробный критический анализ этих работ дается в статье [26].

<sup>7</sup> Мы не будем перечислять работы, посвященные этой проблеме, список был бы слишком обширным. Укажем только, что библиография по этой проблеме [28] включает 1471 наименование. Со времени ее опубликования этот список, безусловно, еще больше расширился.

нами развития языка. По всей вероятности, они обусловлены в первую очередь социальными факторами, поэтому остается вычленив из всей их совокупности моменты идеологического характера и проанализировать различия, развившиеся в немецком языке в ГДР и ФРГ под их влиянием.

Исследовать проблему влияния идеологии на язык на материале языка, функционирующего в каком-либо одном государстве даже с сильной идеологической дифференциацией, уже значительно более сложно. Как подчеркивалось еще К. Марксом и Ф. Энгельсом, «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства» [29]. В силу этого язык в том виде, в котором он используется господствующими классами для пропаганды своей идеологии, функционирует значительно шире, чем язык в той форме, в которой он фигурирует в процессе пропаганды идеологии эксплуатируемых классов. Это особенно характерно для письменной формы литературного языка, поскольку, как правило, в классовом обществе угнетенные классы либо вовсе не имеют возможности печататься, либо то, что они пишут, бывает сильно искажено цензурой правящих классов. Однако, поскольку новые идеологические воззрения всегда формируются еще в период расцвета предшествующей социально-экономической формации, влияние различных идеологий на язык в обществе с ярко выраженной идеологической дифференциацией, безусловно, весьма существенно. И трудности, возникающие при исследовании этих процессов, носят, если можно так выразиться, главным образом технический характер: сложности, связанные с подбором материала, и т. п.

Существуют ли рассматриваемые нами явления в языках, функционирующих в обществах с однородной идеологической структурой, например, в русском языке? Прежде чем ответить на этот вопрос, подчеркнем еще раз, что нас интересует только идеологически обусловленная многозначность слова, т. е. наличие у него либо нескольких идеологически связанных значений, либо идеологически связанного и идеологически нейтрального, но нейтральность эта идеологически релевантна (более подробно типы идеологически обусловленной многозначности будут рассмотрены нами ниже). Так, например, слово *реакция* имеет ряд значений: «химическое взаимодействие между веществами, приводящее к образованию новых веществ»; «ответ организма на то или иное раздражение, воздействие извне»; «активное сопротивление отживающих классов общественному прогрессу, выражающееся в подавлении демократических прав и свобод». Нам будет интересно только последнее значение слова, которое мы называем «идеологически связанным» или для простоты изложения «идеологическим термином». Данный идеологический термин в русском языке однозначен. На наш взгляд, в таком виде, как, например в немецком или английском языках, многозначности идеологических терминов в русском языке не существует<sup>8</sup>. Исключением в этом отношении является язык религии, поскольку на русском языке говорят как атеисты, так и носители религиозной идеологии. Но этот случай во многом носит особый характер, позже он будет рассмотрен более детально. В языках же, обслуживающих другие формы идеологии, идеологическую диф-

<sup>8</sup> Сказанное, однако, не означает, что все идеологические термины в русском языке однозначны. Достаточно заглянуть в любой философский словарь, словарь по этике и т. п., чтобы убедиться в обратном. Но в данном случае многозначность отдельных философских и т. д. терминов в русском языке обусловлена не идеологической дифференциацией общества, а существованием в науке различных точек зрения по тому или иному вопросу, т. е. здесь мы имеем дело с явлением, которое Ю. Д. Дешериев определяет как концептуальную дифференциацию.

ференциацию можно выявить только в диахроническом плане. Но здесь встает другая проблема, связанная прежде всего с переводом таких терминов с языков, в которых они многозначны, на русский язык. Дело в том, что, с одной стороны, существуют нормы перевода различных лексико-семантических единиц с одних языков на другие, например, англ. *democracy*: 1) «демократия»; 2) «демократическая страна»; 3) «демократизм»; 4) (амер.) «демократическая партия» [30, с. 269]; нем. *Demokratie* «демократия» [31, с. 194]; франц. *démocratie* «демократия» [32, с. 163]; англ. *freedom*: 1) «свобода, независимость»; 2) «право, привилегия»; *freedom of speech* «свобода слова», *freedom of the press* «свобода печати»; *academic freedoms* «академические свободы»; 3) «свободное пользование»; 4) (разг.) «свобода, вольность» [30, с. 408]; нем. *Freiheit*: 1) «свобода, воля»; 2) «вольность»; 3) «простор»; 4) «смелость, дерзость» [31, с. 315]; франц. *liberté*: 1) «свобода»; *liberté d'expression; de la parole* «свобода слова»; *liberté de la presse* «свобода печати»; 2) (pl.) «правда, преимущество»; *les libertés démocratiques* «демократические свободы»; *libertés civiles* «гражданские свободы, преимущества»; 3) (pl.) «вольности» [32, с. 350].

С другой стороны, поскольку эти термины в указанных языках имеют ярко выраженную идеологически обусловленную многозначность, а в сознании носителей русского языка они устойчиво связаны с соответствующими понятиями марксистско-ленинской идеологии, перед переводчиком стоит двойная задача: не только перевести термины с иностранного языка на русский, но и каким-то образом адекватно отразить их идеологическую наполненность. Аналогичная задача встает при описании различных понятий, связанных с буржуазной идеологией, или при изложении буржуазных концепций, касающихся различных сторон нашей общественно-политической жизни и марксистско-ленинской идеологии. Рассмотрим следующие примеры: «Проблемы „свободного обмена“ и „прав человека“ в социалистических странах заняли одно из главных мест в деятельности идеологических служб НАТО» (Комс. правда, 1977, 21 мая) или «Таковы представления буржуазных теоретиков о конкретных путях и судьбах „свободы“ и „демократии“ в современном мире» (Правда, 1979, 26 окт.). Слова и словосочетания *свобода*, *демократия*, *свободный обмен*, *права человека* заключены в этих фразах в кавычки, тем самым автор показывает читателю, что они употреблены в несобственном смысле, т. е. в них вкладывается иное содержание, чем это принято в нашей литературе. Если бы они не были заключены в кавычки, то фразы приобрели бы для советского читателя совершенно иной смысл. Этот прием (закавычивание слов в тех случаях, когда они выражают содержание, вкладываемое в них буржуазными идеологами) получил в настоящее время широкое распространение; кавычки служат здесь в качестве своеобразного маркера, позволяющего отличить одно «идеологически связанное» значение слова от другого. Часто в аналогичных случаях используется и другой прием: перед идеологически релевантными словами, когда их употребляют относительно реалий буржуазной жизни, ставятся дополнительные словосочетания типа «так называемый» и т. п.

Все авторы, пытающиеся объяснить причины многозначности основных терминов языка политики, сходятся в том, что она социально обусловлена, а именно, определяется существованием различных идеологий, прежде всего буржуазной и марксистско-ленинской. Это, безусловно, верно. Однако такое объяснение нельзя считать исчерпывающим. Возникает вопрос, почему бы каждой идеологии не сформировать свою терминологическую систему, не пересекающуюся с терминологическими системами других идеологий, как это происходит, скажем, с языком физики и языком ветеринарии. Невозможность этого объясняется некоторыми особенностями идеологии. Основным фактором, определяющим возникновение той или иной идеологии, являются материальные отношения. Как отмечал В. И. Ленин, основная идея исторического материализма

«состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми» [33]. Но необходимо учитывать также то обстоятельство, что идеология не является простым рефлексом общественного бытия, как это утверждает вульгарный экономический материализм: на ее развитие, наряду с экономическим укладом, оказывает влияние и сумма теоретических взглядов, накопленных за предыдущий период истории. Таким образом, хотя идеология и определяется в конечном счете экономическим укладом общества, тем не менее она обладает относительной самостоятельностью, которая выражается в том, что «каждая новая идеологическая система, являясь по сути отражением обществ. бытия, по форме выступает как продолжение предшествующего развития мысли, зависит от накопленного ранее запаса понятий и представлений» [1, с. 231]. Ввиду этого в сфере идеологии имеет место определенная преемственность, которая заключается в следующем: отражая изменяющиеся исторические условия, существующие общественные противоречия, идеология формулирует свои положения в основном в понятиях и категориях, созданных ранее, но вкладывает в них новое содержание, включает их в новые системы воззрений. «Основой преемственности является то обстоятельство, что в развитии антагонистич. формаций изменяется конкретный характер различных обществ. явлений, но сами эти явления остаются (напр., классы, гос-во, отношения эксплуатации и т. п.). Поэтому сохраняются и понятия, отражающие эти явления, но содержание их меняется. Использование в новых историч. условиях предшествующего мыслит. материала позволяет опираться на результаты абстрагирующей работы мышления прошлых поколений, а не создавать заново необходимого запаса понятий и представлений» [1, с. 232].

Вместе с понятиями сохраняются, как правило, и обозначающие их слова, но поскольку меняется содержание понятий, меняется и значение соответствующих слов. Таким образом, в обществах с неоднородной идеологической структурой в языке одновременно функционируют идеологически связанные слова, употребляемые, в соответствии с идеологической дифференциацией носителей языка, в различных значениях. Это и создает почву для развития многозначности основных идеологических терминов. Процесс этот идет легко и интенсивно еще и потому, что ни в коей мере не противоречит внутренним законам развития языка. Как отмечает Р. А. Будагов, «многозначность слова естественных языков народов мира — это одна из важнейших особенностей их лексики, одна из важнейших особенностей человеческого языка вообще» [34]. Итак, с одной стороны, особенности развития идеологии, а с другой стороны, свойства естественных языков создают благоприятную почву для возникновения многозначности основных терминов идеологии. Собственно говоря, терминами они являются только в словаре каждой конкретной идеологии, где служат для точного выражения специальных понятий. В языке же идеологии в целом им, как было показано, присуща многозначность, весьма нехарактерная для терминов.

Многозначность идеологически связанной лексики весьма искусно используется буржуазными идеологами для выполнения стоящих перед ними социальных задач<sup>9</sup>: примирения с буржуазной действительностью, распространения настроений общественной пассивности, переключения интересов людей из плоскости социальной в плоскость индивидуальных интересов, интерпретации объективных знаний в свете буржуазной иде-

<sup>9</sup> Большой интерес в этой связи представляет исследование Ф. Кайнца. Автор считает, что многозначность основных политических терминов позволяет преднамеренно неправильно использовать язык политики. Важную роль здесь играет также тот факт, что каждый языковой знак кроме центрального логически-предметно-понятийного значения имеет различные побочные значения, полутона, оценочные значения и т. п. [35].

логии и др. В достижении их огромная роль отводится языку — мощному орудию воздействия на общественное сознание. Буржуазными пропагандистами, специалистами по массовой информации разработаны самые разнообразные приемы и методы использования языка для формирования у его носителей определенных социально-психологических стереотипов, создающих благоприятную почву для усвоения буржуазной идеологии. Среди них, наряду с использованием существующей многозначности, целенаправленное создание новых значений у слов, обозначающих различные идеологические понятия. Таким образом, объективно существующая многозначность основных идеологических терминов дополнительно осложняется вследствие деятельности буржуазных идеологов.

Многозначность идеологических терминов определенным образом отличается от многозначности слов, принадлежащих к другим семантическим полям. При определении многозначности в обычном смысле одним из основных ее признаков является то, что «значения многозначного слова находятся в отношении комплементарной дистрибуции (дополнительного распределения) друг к другу, т. е. появление тех или иных значений зависит от употребления слова в различных лексико-семантических позициях» [36]. В отношении идеологически обусловленной многозначности этот принцип совершенно не соблюдается. Как правило, даже из достаточно широкого контекста трудно выявить, какой именно смысл вкладывается в слова *Freiheit* «свобода», *Sozialismus* «социализм» и т. д. Так, например, чтобы понять смысл фразы *Unsere Partei kämpft für Freiheit und Sozialismus* «Наша партия борется за свободу и социализм», зачастую бывает даже недостаточно прочесть статью, в которой она фигурирует, необходимо посмотреть название газеты, где она напечатана, т. е. привлечь экстралингвистические данные (идеологическую позицию партии, выступающей с данным заявлением), поскольку слово *социализм* здесь может употребляться и в том смысле, в котором оно понимается в марксистской идеологии, и в том значении, которое вкладывают в него представители отдельных направлений буржуазной идеологии (ср., например, «шведскую модель социализма»), и в том смысле, в котором оно понимается идеологами некоторых развивающихся стран, и т. д. В соответствии с тем, за какой социализм борется данная партия, естественно, меняется и значение слова *свобода*. Учитывая этот момент, может показаться более логичным рассматривать единицы *социализм<sub>1</sub>*, *социализм<sub>2</sub>*, *социализм<sub>3</sub>*... в качестве омонимов, однако такой подход также представляется не вполне обоснованным, так как всем этим единицам, без сомнения, присущ определенный общий семантический элемент, имеющий, правда, весьма специфическую природу. Если в приведенных выше единицах этот общий семантический элемент («общество, основанное на социальном равенстве») действительно имеется<sup>10</sup>, то в слове *социализм* в том смысле, в котором оно употребляется некоторыми оппортунистическими направлениями в рабочем движении, этот элемент по сути дела отсутствует. Но в последнем случае имеется весьма тонкий момент, который и используется идеологами этих направлений: в сознании народных масс слово *социализм* закреплено как содержащее указанный семантический элемент, с чем и связано его позитивное восприятие, которое сохраняется даже в тех случаях, когда содержание слова коренным образом меняется.

Многозначность идеологических терминов может быть двух основных типов. Чаще всего такие термины имеют по несколько «идеологизированных» значений. Сопоставим, например, определения слова *реформизм*, приведенные в толковых словарях немецкого языка, изданных в ГДР и ФРГ:

<sup>10</sup> Компонент этот присутствует и в слове *социализм*, употребляемом в том смысле, в котором это принято в большинстве направлений буржуазной идеологии, но в данном случае он оценивается негативно.

«Оппортунистическое направление в рабочем движении, которое стремится осуществить социальные преобразования исключительно путем реформ и отказывается от революционной борьбы за низвержение капиталистического строя» [37].

«Движение за улучшение какого-либо состояния или программы; в коммунистическом словоупотреблении: движение внутри рабочего класса, которое стремится добиться социальных улучшений путем проведения реформ, а не революции» [38].

Как мы видим, слово *реформизм* имеет два значения (западногерманский словарь приводит оба), причем каждое из них идеологически маркировано. Но «идеологически связанные» значения слов могут соотноситься и другим образом: одно из них бывает идеологически маркированным, а другое нет, причем отсутствие маркера во втором случае является идеологически релевантным. Приведем в качестве примера толкования слова *ангел*: I. «Ангел м. существо духовное, одаренное разумом и волею. Ангел Велика Совета, Спаситель. Ангел-хранитель, приставленный Господом к человеку, для охраны его. Ангел света, благой, добрый; ангел тьмы, аггел, злой дух. Чей-либо ангел, святой, коего имя кто носит; день ангела, именины. По злоупотреблению, ангелом и ангелом во плоти называют не только человека кроткого, благого жития, но и вообще кого любят, ласкают, кому льстят. В этом знач. слышим: ангелочек, ангельчик, ангелушка, ангелёнок» [39]; II. «Ангел м. 1. По учению христианской религии, вестник бога — особое сверхъестественное существо (изображавшееся в виде юноши с крыльями). Употр. в мифологии, поэзии, изобразительных искусствах. 2. Ангел мой, мой ангел (ср. франц. *mon ange*) — употребляется в ласковом обращении, особенно к любимой женщине. 3. Устар. Переносно: об идеале, воплощении чего-либо» [40]. Первое определение взято из словаря В. И. Даля, который составлялся в то время, когда большинство носителей русского языка были религиозны; слово *ангел* соответственно определялось в нем с точки зрения религиозной идеологии. Второе определение приводится по словарю современного русского литературного языка, в котором отражена господствующая в нашем обществе идеология марксизма-ленинизма, составной частью которой является научный атеизм. В первом случае «ангел» (мы обсуждаем только первое основное значение слова) определяется как реальное существо, во втором — как плод человеческой фантазии, представление, занимающее определенное место в системе религиозных учений. Аналогичным образом обстоит дело с большинством терминов религиозной идеологии (другой вопрос, что многие из них вообще неизвестны современному носителю русского языка — атеисту). Тот факт, что указанные словари разделены сравнительно большим временным промежутком, не играет существенной роли для наших выводов, поскольку за время, прошедшее со времени выхода словаря В. И. Даля, религиозная идеология не претерпела значимых изменений и представители ее в настоящее время употребляют религиозные термины в том же значении, в каком они приводятся в словаре В. И. Даля.

Такая несимметричная маркированность терминов религиозной идеологии обусловлена, на наш взгляд, отсутствием преемственности между религиозной и атеистической идеологиями. Понятия религиозной идеологии не наполняются каким-либо новым содержанием в рамках идеологии марксизма-ленинизма, как это происходит, например, с такими понятиями, как «государство», «свобода», «право» и т. п.

В заключение отметим, что многозначность характерна далеко не для всех идеологически связанных терминов, что обусловлено также особенностями соотношения понятийных систем различных (по содержанию) идеологий. Так, если какое-либо понятие возникает непосредственно в новой идеологической системе, то, как правило, оно бывает однозначным, например, слово *большевик*, но в таких случаях существенные различия возникают в оценочном компоненте значения слова.

1. Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962.
2. *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
3. *Абаев В. И.* Язык как идеология и язык как техника.— Язык и мышление. Т. II. М.— Л., 1934.
4. *Будагов Р. А.* Из истории политической терминологии во Франции.— Литературный критик, 1938, № 4.
5. *Будагов Р. А.* Развитие французской политической терминологии в XVIII в. Л., 1940.
6. *Державин К.* Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции.— Язык и литература. Т. II. Вып. 1—2. Л., 1927.
7. *Жирмунский В. М.* Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
8. *Лафарг П.* Язык и революция. М., 1930.
9. *Дешериев Ю. Д.* Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе. М., 1966.
10. *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. Т. I—IV. М., 1969—1976.
11. Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Т. I—IV. М., 1969—1976.
12. *Белодед И. К.* Язык и идеологическая борьба. Киев, 1974.
13. *Дешериев Ю. Д.* Язык, идеология и проблемы современной культуры.— В кн.: Идеологическая борьба и современная культура. М., 1972.
14. *Kress G., Hodge R.* Language as ideology. London — Boston, 1979.
15. *Schmidt W.* Zur Ideologiegebundenheit der politischen Lexik.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1969, Bd. 22.
16. *Schmidt W.* Das Verhältnis von Sprache und Politik als Gegenstand der marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung.— In: Sprache und Ideologie: Beiträge zu einer marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung. Halle (Saale), 1972.
17. *Schippan T.* Konnotation und Ideologiegebundenheit im lexikalischen Bereich.— In: Sprachnormen, Stil und Sprachkultur (Linguistische Studien, Reihe A, № 54), Berlin, 1979.
18. *Neubert A.* Zu Gegenstand und Grundbegriffen einer marxistisch-leninistischen Soziolinguistik.— In: Beiträge zur Soziolinguistik. Halle (Saale), 1974, S. 36.
19. *Klaus G.* Sprache der Politik. Berlin, 1971.
20. *Topitsch E.* Über Leerformeln. Zur Pragmatik des Sprachgebrauchs in Philosophie und politischer Theorie. Wien, 1960.
21. *Lasswell H. D.* The language of politics. New York, 1949.
22. *Maier H.* Sprache und Politik. Zürich, 1977.
23. *Weldon T. D.* Kritik der politischen Sprache. Vom Sinn politischer Begriffe. Neuwied, 1962.
24. *Schmidt V.* Gesellschaftlich determinierte Bedeutungsveränderungen im deutschen Wortschatz seit dem 19. Jahrhundert. Berlin, 1978.
25. *Hellmann M. W.* Sprache zwischen Ost und West. Überlegungen zur Wortschatzdifferenzierung zwischen BRD und DDR und ihren Folgen.— In: Sprache und Kultur: Studien zur Diglossie, Gastarbeiterproblematik und kulturellen Integration. Tübingen, 1978.
26. *Harnisch H.* Zu einigen spätbürgerlichen Auffassungen vom Wesen und von den Funktionen der Sprache.— In: Sprache und Ideologie: Beiträge zu einer marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung. Halle (Saale), 1972.
27. *Протченко И. Ф.* Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., 1975, с. 110—111.
28. Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR. Hrsg. von Hellmann M. W. Düsseldorf, 1976.
29. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— Соч., 2-е изд., т. 3, с. 45—46.
30. Англо-русский словарь. Сост. Мюллер В. К. М. 1962, с. 269.
31. Немецко-русский словарь. Ред. Лепинг А. А., Страхова Н. П. М., 1968.
32. Французско-русский словарь. Сост. Потоцкая В. В., Потоцкая Н. П. М., 1967, с. 163.
33. *Ленин В. И.* Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов.— Полн. собр. соч., т. 1, с. 149.
34. *Будагов Р. А.* Человек и его язык. М., 1976, с. 123.
35. *Kainz F.* Über die Sprachverführung des Denkens. Berlin, 1972, S. 398.
36. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 80.
37. Der Grosse Duden. Leipzig, 1957.
38. Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und Fremdwörter. Mannheim, 1961.
39. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I, М., 1956, с. 16.
40. Словарь современного русского литературного языка. Т. I. М.— Л., 1950, с. 137.

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

## К ПЕРСПЕКТИВАМ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕИРАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Изучение истории иранских языков сопряжено, как известно, с рядом трудностей, связанных с отсутствием письменной фиксации материала предшествующих эпох для подавляющего большинства живых и вымерших иранских языков. Поэтому в обычной практике исторических исследований за уровень отсчета принимается общеиранский праязык. В традиции классической иранистики праязыковым считается наиболее архаичный уровень, устанавливаемый путем сравнения двух древних зафиксированных языков — древнеперсидского и авестийского. Однако относительно небольшой корпус текстов и жанровая ограниченность памятников обоих давно вынуждают исследователей при этимологических изысканиях, в описании общеиранской фонологической системы (а в ряде случаев и фрагментов морфологических парадигм) обращаться к другим источникам — прежде всего, к древнеиндийскому, а иногда и далее — к другим индоевропейским языкам — вплоть до показаний общеиндоевропейской реконструкции.

Вместе с тем исследования последних десятилетий, посвященные истории многих иранских языков, убедительно показали, что в более «новых» языках, включая живые, отмечаются явления, отражающие подчас элементы более архаичного общеиранского состояния, чем реконструированное по данным авестийского и древнеперсидского. Этот факт нашел выражение как в конкретных этимологиях, где лексема-прототип восстанавливается в более архаичном виде, чем это ожидалось по модели «классического» праязыка (см., например, многие этимологии в [1—4]), так и в уточнении некоторых общих характеристик прасистемы.

В настоящее время в связи с развитием сравнительно-исторических штудий практически всех известных иранских языков (такую цель преследуют, в частности, «Основы иранского языкознания», публикуемые Институтом языкознания АН СССР) и начатым обобщением истории крупных генетических групп («ветвей») иранской языковой семьи, вопрос об уточнении фонологической (и морфологической) структуры и лексического состава общеиранского состояния становится особенно существенным. Вследствие этого большой вес приобретают и вопросы хронологической и ареальной стратификации общеиранского праязыка, относительной хронологии и диалектной соотнесенности ряда праязыковых процессов, происходивших в период от вычленения общеиранского из общеарийского до «распада» его на конкретные языки. Изучение этих вопросов требует применения целой совокупности приемов. Если наиболее позднее праязыковое состояние уточняется (и приобретает значительно более архаичный характер) сравнительно-историческим исследованием целого ряда новых иранских языков, то наиболее раннее в большей степени требует приемов внутренней реконструкции и, что существенно для языковой семьи, входящей в «большую семью», — приемов «обратной» реконструкции, позволяющих установить элементы «промежуточных» этапов между поздним общеиранским (и конкретными иранскими языками), с одной стороны, и более ранними системами (общеарийской и индоевропейской), с другой. При этом во многих случаях именно общеарийские и индоевропейские данные позволяют четче определить хронологическую

и ареальную отнесенность ряда фактов в истории иранских языков. Остановимся на некоторых из них.

Как известно, основными признаками, отделяющими общеиранское состояние (в его традиционном понимании) от общеарийского, считаются: 1) отражение звонких придыхательных *\*bh*, *\*dh*, *\*gh*, как и непридыхательных *\*b*, *\*d*, *\*g*, в виде *\*b*, *\*d*, *\*g*; 2) отражение глухих придыхательных *\*ph*, *\*th*, *\*kh* в виде щелевых *\*f*, *\*θ*, *\*x* (кроме позиций после *\*s* и перед сонорными после носовых, где они отражаются как смычные простые: *\*p*, *\*t*, *\*k*); 3) спирализация глухих непридыхательных *\*p*, *\*t*, *\*k* (> *\*f*, *\*θ*, *\*x*) перед согласными и неслоговыми вариантами сонантов; 4) отражение арийских *\*č* (< и.-е. *\*k̑*) в виде *\*s* (авест. *s*, др.-перс. *θ*); *\*j*, *\*jh* (< и.-е. *\*ĝ*, *\*gh*) в виде *\*z* (авест. *z*, др.-перс. *d*); 5) переход арийского *\*s* в *\*h*, кроме случаев его предшествования глухим смычным (включая придыхательные), *\*č*, *\*n* или следования за *\*t*, *\*d*, *\*n*, когда сохраняется *\*s*, а также следования его за *\*p*, когда изменяется группа *\*ps* > *\*fš* (подробнее см. [5, с. 5 и сл.], общая сводка: [6, с. 29 и сл.]).

При этом уже в классических трудах отмечалось, что данные (как и общеарийские) инновации находятся во взаимной связи и определенной относительно-хронологической последовательности (см., например, [7, с. 86—88]); особенно существенным для нас в этом плане является положение Э. Бенвениста о наличии в раннем общеиранском единой фонемы *\*/s/* в виде двух аллофонов *\*/s/* и *\*/h/*, о связи процесса фонологизации *\*h* с переходом *\*š* > *s* [8] и др. Предпринимались также попытки установить относительную хронологию изменения сибилантного ряда в древнеиранский период (см., например, [9], там же обзор литературы), однако они базировались на древнеперсидских и авестийских материалах, без системного привлечения данных других языков, и потому дают ограниченную картину. Обращение же к ряду иранских языков, живых и вымерших, при учете общеарийских и индоевропейских данных позволяет уточнить относительную хронологию становления указанных инноваций и их возможную ареальную отнесенность, а также выявить ряд отклонений, существенных для истории иранских языков.

Так, инновация 1), разделяемая иранскими языками с нуристанскими («кафирскими»), имеет определенные отклонения, объясняемые только при обращении к общеарийскому уровню: в иранских языках отмечены случаи отражения общеарийских звонких придыхательных, а иногда и звонких непридыхательных (об их чередовании см. [5, с. 20], с учетом ларингальной теории [10]) в виде глухих щелевых. Такой тип отражения в одних случаях был, очевидно, ранним и охватывал большинство диалектов праязыка (ср. авест. *vaf-*, перс. *bāf-*, осет., язг. *waf-*, шугн., руш., барт. *wāf-*, мдж., сар., ягн. *wof-* и т. д., но афг. *uyi-* < *\*waw-* < *\*wab-*; ср. др.-инд. *wabh-*, ар. *\*qabh-* < и.-е. *\*uebh-* «ткать, плести, вязать»), в других, возможно, более поздним, охватывающим меньшую зону (ср. тадж. диал. *evar*, ягн. *sewir*, осет. *t̄w/t̄ew*, ишк. *sew* и т. п., но афг. *lewar* «дверь» < *\*daiuar-* < и.-е. *\*dāiuer-*, Gen. *daiueres*) или единичные диалекты (ср. осет. *ærfyg/ærfug* «бровь», но перс. *abru*, мдж. *vriḡ/ya*, авест. *brvat-* и т. д. < *\*(a)-brū-(ka)-* < и.-е. *\*bhrū-*). Этот процесс, детально рассмотренный В. И. Абаевым [3, II, с. 149, 406; III, с. 297 и др.] и объясненный им через раннее оглушение придыхательных (типа *\*bh* > *\*ph* > *\*f*), обеспечившее звучание прототипов в виде *\*yaf-*, *\*θ aiuar-*, *\*(a)frū-*, отличен от обычного развития звонких и не мог бы быть истолкован без обращения к предыстории иранских языков.

Принятие его как системного явления, хотя и сохранившегося спорадически в виде отдельных «сбоев» в некоторых лексемах, помогает уточнить некоторые этимологии в ряде иранских языков. Так, шугн. *reθ-* : *reθt*, руш. *rīθ-* : *rīθt*, язг. *riθ-* : *rast* «тереть; гладить; мазать; растирать», орош. *rariθ-* «смазывать» можно возвести через иран. корень *\*raid/θ-* к ар. *\*sraidh-* и и.-е. *\*slei-dh* «скользящий, скользить» от корня *\*lei-*, *\*slei-*

«скользящий, слизистый; скользить» [11, с. 662—663] (сюда же можно отнести и авест. *raēθwa-* «смешивать(ся); мешанина»), а не к *\*lei-f* [4, с. 69], не имевшему надежных соответствий и не объяснявшему язг. *rast*. Возможно, так же возникает *-θ* в шугн. *yēθ*, барт. *yōθ*, сар. *yōθ*, язг. *yaθ*, вах. *yōθt* (в отличие от «правильного» *yost*), мдж. *yeḫika*, *yeḫ* (*ḫ* < *\*θ*) «гнездо», если возводить его к *\*hāθ-ya* от корня *\*had/θ-*, и.-е. *\*sed-* (а не к менее вероятному фонетически *\*ā-hδy-* < *\*ā-hadya-* [4, с. 106], ср. рефлекс *\*dī* в этих языках в виде *δ*, *l*); *-f* в шугн. *pidrūf-* «складывать в кучу» < *\*pati-rauf(-aya)-* от корня *\*raub/f-* «мести, сгребать», ср. шугн. *rūb-*, тадж. *rūb-* и т. п.

Более детального рассмотрения требует и инновация 2). Очевидно, признаки аспирации глухих и интенсивности смычки не были одинаково существенными и ярко выраженными в разных диалектах (или регионах) общеарийского<sup>1</sup>. Отсутствие перехода типа *\*ph* > *\*f* в общеиранском в позиции после *\*s* и перед сонорными после носовых (т. е. ар. *\*sph* > иран. *\*sp*, вм. *\*hf*) указывает, что в праиранских диалектах арийского аспирация была настолько слабой, что предшествующие *\*s* и носовые (при соседстве сонорных), забирающие обычно часть воздушной струи, сводили ее практически к нулю, обеспечивая фонетическую реализацию сочетаний типа *\*/sph/* в виде *\*[sp]*, которая, естественно, продолжилась в общеиранском группой *\*/sp/* на фонологическом уровне.

Слабость аспирации и интенсивность смычки, по-видимому, обусловили также перебой в отражении *\*ph*, *\*th*, *\*kh* щелевыми и смычными в других позициях. Такие перебои наблюдались и в языках древних памятников и объяснялись, начиная с Хр. Бартоломе, парадигматическим уподоблением [5, с. 8—9; 16, с. 39—40, 42—43; 17, с. 29—30, 36; 18, с. 154—155]. Сходные перебои отмечаются и в живых праиранских языках, притом иногда в позициях, где трудно признать действие парадигматической аналогии. Например, авест. *kaofa-* «гора; горб животного», др.-перс. *kaufa-* (> перс. *kuh*), мдж. *kīfa* и т. п. (*f* < *\*ph*), но афг. *kip* «сгорбившийся», *kubay* «горбатый (о животном)», вах. *kəp* «горб», язг. *kəp*, вандж. *kip/b* «камень; гора» < и.-е. *\*keu-p* [11, с. 591]. Особенно характерна позиция начала слова: мдж. *xaf*, ишк. *xāf*, вах. *xuf*, язг. *xuf-k*, сак. *khavā* «пена, слизь», осет. *xəf* «гной», ягн. *xofa* «слюна», шугн., руш., барт. *šāf* «слюна» (*š* < *\*x*, при шугн. *xīf*, руш. *xof*, барт. *xōf*, сар. *xef* «пена» с отсутствием перехода *\*x* > *š*, не объяснимым для древнего *\*x*), но перс. *kāf* «пена», тадж. *kāfk*, авест. *kafa-* < *\*kapha-*, ср. др.-инд. *kapha-* [2, II, с. 50, 265]; шугн. *šēb-*, руш. *šep-*, язг. *s(ə)-xap-* «лопата, жрать» < *\*us-xāp-aya-*, корень *\*xap-* < *\*kap-*; осет. *tynzyn* «растягивать; расстилать», классич. перс. *āhanjīdan*, авест. корень *θang-* «натягивать» из иран. основы *\*θanj-* и корня *\*θang-* < *\*tang-* < и.-е. *\*tengh-* [3, III, с. 337—338] (можно добавить шугн. *pardenc-* «натягивать кожу на дойру») и многие другие (см. также [19]).

Если отражение *\*ph* > *p* в отдельных языках объяснимо отсутствием в них губно-зубного ряда (например, в афганских и белуджских диалектах), то переходы *\*p* > *f*, *\*k* > *x* (и *\*ph* > *p* в регионах развитого губно-зубного ряда) свидетельствуют все-таки о слабости признака аспирации глухих в доиранскую эпоху, особенно в ареале восточноиранских диалектов, что обеспечивало в части из них свободное варьирование типа *\*p/ph*, трансформировавшееся уже в иранское время в варьирование *\*p/f*, захватившее и неаспирированные (особенно в экспрессивной лексике).

<sup>1</sup> Мы исходим здесь из классической схемы и.-е. консонантизма с трактовкой серии глухих придыхательных как инновационной [12, с. 116—117], не касаясь более раннего и.-е. состояния с разными типами глоттализации [13]. Отсутствие следов аспирации глухих в нуристанских языках [14, с. 6; 15, с. 23] связано либо с ее слабостью в этом регионе (ее рефлексы отсутствуют и у звонких), либо с тем, что серия глухих аспирированных здесь не фонологизовалась.

Ограничения инновации 3) носят еще более отчетливый характер. Исключения отмечены уже в авестийском [5, с. 7; 18, с. 147]. Многие восточно-иранские языки (живые и вымершие) выявляют следы сохранения глухих смычных в этой позиции — в виде либо продолжения комплекса с начальным смычным, либо его рефлексов, наследующих элемент смычки и не предполагающих промежуточного этапа спирантизации первого смычного. Например, шугн., руш. *pus*, язг. *pos*, осет. *fyrt*, вах. *pətr* «сын» < \**putra-*, ср. др.-инд. *putrá-*, при йд. *pūr, pūl*, сак. *pūrā* и т. п. < \**puθra-*, ср. авест. *puθra-*; шугн., руш., барт. *cif-*, сар., язг. *caf-*, ишк. *tərf-*, мдж. *təraf-* «красть» < \**trəfya-*, ср. авест. *trəfya-*, др.-инд. корень \**trp-*; осет. *ærtæ*, вах. *truuy*, язг. *cūy* «три» < \**trai-*, ср. др.-инд. *trāya-*, но шугн. *aray*, ишк. *rū(y)*, ягн. *tiray, si/aray*, мдж. *širay* < \**θrai-*, ср. авест. *θrāya-* [20, с. 14] (при озвочении \**t-*, возможно, по аналогии к \**dya-* «два»: сак. *drai, draya*, согд. *ʾdry*, афг. *dre* «три»); вах. *səkr* «красный» < \**sukra-*, но перс. *sorx*, авест. *suzra* < \**suzra*, ср. др.-инд. *śukra-* и т. д.

Перебои отмечаются даже в близкородственных языках и диалектах (руш. *ber* «серп» < \**dāθri-*, но барт., ор. *δбс*, язг. *bac* < \**dātri-*, ср. др.-инд. *dātra-*) или в одном языке в словах, продолжающих единый корень (шугн., барт. *yδс*, руш. *yūс*, сар. *yuc*, язг. *yec* «огонь» < \**ātr-*, ср. авест. *ātr-, ātar-*, но шугн. *θīr*, руш., барт. *aθer*, хуф. *aθær*, сар. *θer* «зола, пепел» < \**aθarya-* < \**aθrya-* < \**ātrya-*, ср. авест. *ātrya-*), подробнее [21, с. 299].

Все это свидетельствует о том, что инновация 3) появилась относительно поздно и охватила не все диалекты общеиранского [22, с. 84; 23; 6, с. 34]. В восточном ареале спирантизация предконсонантных глухих появилась и развивалась, по-видимому, уже в обособившихся языках, при этом длительное время была нестойкой и допускала колебания (усиливаемые как варьированием типа \**p/f*, о котором говорилось выше, так и воздействием морфологической парадигматики и перестройками по аналогии).

Признание этого факта делает возможными некоторые новые этимологические сопоставления. Например, комплекс лексем, связанных с приготовлением теста и хлеба: язг. *x<sup>o</sup>aš-* : *x<sup>o</sup>ašt*, шугн. *xēš-* : *xēšt*, ор. *axīš-* : *axīšt* «месить тесто», сар. *xoš*, язг. *x<sup>o</sup>ašaj* «квашня, кадка для теста» (ср. шугн. *xēšt* «деревянное корыто»); шугн. *xōšč*, язг. *x<sup>o</sup>išk'* «непропеченный (хлеб)» шугн. *xišc* «сдобная булка», сангл. *xēste/a* «лепешка», вах. *šeč* «хлеб, еда», йд. *xisto* «тесто», афг. (ваз.) *xīšt* «вымешанный», *xšap* «кусочек хлеба» и др. можно сопоставить не с авест. *hvaršta-* «хорошо сделанное» [2, II, с. 262; 4, с. 99], а с иранской, возможно, ареальной, лексемой \**xca(t)s-* из ар. корня \**kcaθh* + *s(ia)-*, аналогично сходным образованиям в других индоевропейских языках от и.-е. корня \**kca(t)(h)-* «бродить, киснуть», ср. др.-болг. *kvasъ*, русск. *кваша, кашня, квасить, заквашивать* [11, с. 627; 24, с. 212] (при образовании в ряде иран. языков осн. наст. вр. по обычному типу деноминативных основ \**xcā(t)s-aīa* с последующим выравниванием основ и переносом *-š-* из осн. прош. вр., аналогично ряду других глаголов с чередованием *s ~ š* в основах, см. ниже). Ср. развитие корня \**kcaθh-* со значением «варить, кипятить» в индоарийском ареале [25]. Аналогичное развитие \**kca* наблюдается в язг. *pūx<sup>o</sup>* «сварил» < \**pacca-* < \**pacca-* от корня \**pak-*, ср. др.-инд. *pakvā-* (при позднем наращении здесь *-t* в ряде других языков: шугн. *pəxt*, руш. *poxt*, барт. *pōxt*, сар. *pəxt* и т. п., ср. отражение здесь древнего \**-k + t* > *-yd*: шугн., барт. *tūyd*, руш. *tuyd*, сар. *tuyd* «ушел» < \**takta-* от корня \**tak-*). С другой стороны, характерны и случаи сохранения смычных в сходных позициях, ср. шугн., руш. *kirānd-* : *kirūst* «скоблить, скрести» < \**kra-n-d-* : \**krad-ta-* от корня \**krad-* < и.-е. \*(*s*)*ker-d-* [11, с. 940—941].

Неодновременной, причем с иным диалектным охватом и более зримыми фонологическими результатами, была инновация 4) — закрепление рефлексов индоевропейских палатальных в виде \**s*, \**z* в иранских языках. Уже факт отражения палатальных древнеперсидскими *θ*, *d*, при от-

существовании аналогичных рефлексов у общеиранских \*s, \*z иного происхождения, указывает на то, что к моменту отделения юго-западных диалектов рефлексы палатальных не совпали еще с \*s, \*z (по мнению Дж. Виндфура, они различались и к моменту создания авестийского письма [26]). Относительно позднее их совпадение подтверждается данными других иранских языков.

Как известно, индоевропейские палатальные \*k̂, \*ĝ, \*ĝh отразились в общеарийском в виде палатальных аффрикат, при возможной спирализации глухой в части диалектов, — \*č/s, \*j̄, \*j̄h [5, с. 5; 16, с. 45; 17, с. 28—29; 27; 28; 29; 30, с. 14]. Аффрикатная ступень их развития подтверждается не только типологией обычного протекания палатализации в этом регионе, но и отражением их продвинутыми вперед аффрикатами c, ȝ (> z) в нуристанских языках [31, с. 228; 32, с. 338, 342; 14, с. 7; 15, с. 23] и прототипами в виде \*č, \*š в заимствованиях из арийского в финно-угорские языки [33—36]<sup>2</sup>. После отделения прануристанского глухой полностью спирализуется (> š), звонкие долгие сохраняют аффрикатность, что обеспечивает их последующее слияние в древнеиндийском с \*j, \*j̄h, возникшими из индоевропейских \*g, \*g<sup>w</sup>, \*gh, \*g<sup>w</sup>h при «второй палатализации»<sup>3</sup>.

В общеиранском рефлексом \*č/s вначале был \*š, который лишь впоследствии, после фонологизации \*h из \*s в свободной позиции, сдвигается на освободившееся место \*s (при раннем переходе \*š > \*s процесс \*s > \*h захватил бы и рефлекс \*š). Данный «сдвиг» не был одновременным и всеобщим. Кроме древнеперсидского, где \*š > θ, об этом свидетельствуют и продолжения других «окраинных» диалектов. Совпадение в осетинском рефлексов \*š и \*š̄ (возможно, раннее) может указывать на «шипящий» характер \*š в эту эпоху (совпадение с ними рефлексов ар. \*s в виде иран. \*s может быть поздним и объясняться их статистической незначительностью и позиционной закрепленностью). Свидетельством шипящей артикуляции \*š в другом ареале является отражение группы \*šū > š̄ в ваханском и сакском, в отличие от \*sp (при совпадении \*šū с \*sp в большинстве других иранских языков, кроме древнеперсидского, где \*šū > s): вах. *yaš*, сак. *ašša*-«лошадь» ~ авест. *aspa*, др.-перс. *asa-*, осет. *jæfs* и т. п. < \*ašca-, ср. др.-инд. *ašva-* < и.-е. \*ek̂wo [2, II, с. 469]. О том же может говорить переход \*šr > š̄ (> š̄ > š̄) в большинстве языков: тадж. *šunav-*, гил. *šənav-*, шугн. *šin-*, руш., барт. *šan-*, язг. *šan-* и т. д. «слышать» < \*šrunau-, ср. авест. *srunav-*, др.-инд. *śrunau-* < и.-е. \*k̂l-n-eu-, \*k̂l-eu- (при отражении ар. \*sr > \*hr > r). Признание этого дает возможность предложить новые этимологии для слов, содержащих данные шипящие, см., например, шугн. *šed*, руш. *šayd*, барт. *šid*, язг. *šayd* «каменная плита; плоская скала» (возможно, также ишк. *šax* «скала»), которые можно возвести к композиту \*aš-rikta (\*aš- < \*ak̂- «камень» и причастие от корня \*raik «удалять(ся); оставлять»), букв. «камень-отколовшийся» (ср. шугн. *red*, руш. *rayd*, барт. *rid*, язг. *rayd* «остался, отстал» < \*rikta-, язг. *rayd* «стена» ← «оставленное; насыпанное», ср. тадж. *restan* «сыпаться»; к отражению \*k + t > язг. *γd*: ср. *wayd* «поместился» < \*yik-ta- от корня \*yaik-) [ср. 4, с. 101].

Звонкий \*j, очевидно, долгие сохранял аффрикатность и в общеиранском, что облегчило его переход в древнеперсидский *d* [28; 30, с. 14]; в дальнейшем в других языках он развивался параллельно глухому: \*z в свободной позиции и шипящий при контактах с сонорными в боль-

<sup>2</sup> Тем самым мнение Г. Моргенштерне о развитии палатальных путем и.-е. \*k̂ > ар. \*t' > иран. \*θ' не находит ни типологического, ни фактического подтверждения.

<sup>3</sup> Рефлексы форм, продолжающих единый корень с палатализацией и без нее, наблюдаются в разных иранских языках, ср. шугн. *šəp-* «щупать», *šəpšəp-* «разузнавать» ← «нащупывать» < \*(fra)-čəp-aya-, перс. *čəsp-* «прилепиться» < \*čəp-s-, язг. *ənšəv-* «собирать» < \*ham-čəp- от корня \*čəp- < и.-е. \*k̂ep-, но шугн. *ənšəv-*, руш., барт. *inšəv-* «хватать» < \*ham-kəp-a-, шугн. *šib* (< \*kəp-a-), язг. *kəbʃ* (< \*kəp-a-či-) [ср. 20, с. 80] от корня \*kəp- < и.-е. \*kəp-, kəp-.

шинстве языков (ср. и.-е. \**gleios-* > др.-инд. *jrāyas-*, авест. *zrayah-*, др.-перс. *draya-*, перс. *dāryā* «море; большая река» ~ язг. *ǰāyu* «озеро, пруд», ор. *ǰōy* название озера, барт. *ǰōy* «влажный», вах. *žuy* [4, с. 38], где  $\check{y} < \check{z} < *žr$ ; авест. *žnū-* «колени» < \**žnū-* < и.-е. \**ǵneu-*, но перс. *zānu*, шугн. *zān*, язг. *zān* и т. д. < \**žānu-*, ср. др.-инд. *jānu-* < и.-е. \**ǵenu-*).

Ранний переход рефлексов палатальных (глухого еще в общеарийском) перед глухим смычным в \**š* обусловил для ряда иранских языков определенный тип чередования согласных в глагольных основах наст. ~ прош. времени (последняя — из причастий на \*-*ta*): -*s* (< \**š*) ~ *š*, *ṣ*, *ṣ̌* (< \**š*) и *z* (< \**j*, \**jh*) ~ *š*, *ṣ*, *ṣ̌* (< \**š*), ср. шугн. *čis-* : *čūšt*, язг. *kas-* : *kūšt* «смотреть» из и.-е. корня \**k<sup>h</sup>ek-*; шугн. *wāz-* : *wīšt*, язг. *waz-* : *wešt* «плавать, купаться» < и.-е. \**ueǵh-* (с переходом иногда *ṣ̌*, *š* в основу наст. вр., ср. шугн., руш. *nikāṣ-* : *nikāšt* «пристально смотреть, сверлить взглядом» от корня \**k<sup>h</sup>ek-*, ср. шугн. *pargāṣ-* : *pargūšt* «сверлить» из \**pari-* и корня *kauš-* < и.-е. \*(*s*)*keu-s*). Впоследствии эти чередования распространились и на другие сходные основы (см. выше).

Такие закономерности позволяют более уверенно сопоставить язг. *ǰay-* : *ǰad* «звать, кричать» и мдж. *žoy-* : *št* «говорить; петь» с авест. *zbaya-* < < иран. \**žaya-* (ср. др.-инд. *hvāya-*) из и.-е. корня \**ǵhau-* «звать, кричать». Отнесение сюда согд. *ž'y-*, ягн. *žoy-* (и вах. *joy-*) «читать, учиться» также возможно, но требует дополнительной аргументации (возведение этих глаголов к иран. \**jat-* < и.-е. \**ǵwet-* [37] труднодоказуемо фонетически).

Наконец, в уточнении нуждается формулировка инновации 5). Ослабление \**s* > *h* (имеющее аналогии и в других языках, как индоевропейских [7, с. 86—88], так и иных семей) не затронуло \**s* в позициях, консервирующих его артикуляцию: глухость и интензивность последующих \**r*, \**t*, \**k*, \**č*, \**ph*, \**th*, \**kh* не допускали его озвончения и ослабления, а дентальность предшествующих \**t*, \**d*, \**n* поддерживала его дентальный характер. В итоге в раннем общеиранском фонема \*/*s*/ была представлена двумя звукотипами — \*/*s*/, \*/*h*/, бывшими в отношениях дополнительной дистрибуции. Такая фонетическая презентация характеризует только \*/*s*/ из арийского \*/*s*/ и не затрагивает позднего \**s* (< \**š* < \**k̄*), не переходившего в \**h*, что свидетельствует о предшествовании фонологизации \**h* переходу \**š* > *s* [8].

Особого внимания заслуживают рефлексы арийского \**s* перед сонорными. Как известно, перед \**ɥ* происходило ослабление его дентального фокуса и усиление лабиального и гуттурального (о связи лабиализации с гуттуральностью см. [38, с. 258—259, 265—266]), благодаря чему почти по всему ареалу общеиранского распространилось отражение \**sɥ* > \**x<sup>w</sup>* (кроме, возможно, отдельных северо-западных диалектов, подробнее см. [39]). Однако наряду с этим отмечаются и примеры перехода и.-е. \**sɥ* > ар. \**kšɥ* > иран. \**xšɥ* [5, с. 36] (ср. и.-е. \**sūēid-* «молоко» > др.-инд. *kšvidyati*, авест. *xšvīd-*). Аналогичный переход наблюдается в единичных случаях позднее и перед гласным (ср. осет. *xsyrj* «серп» [40]). Это позволяет предположить, что колебания количественного типа в огласовках в диалектах индоевропейской, из которых развились арийские языки, могли породить различно огласованные варианты уже известных слов, при которых можно ожидать и иного отражения согласных. Так, признав возможность чередования слогового и неслогового вариантов \**ɥ* непосредственно после \**s-* в и.-е. \**sū-ro-*, \**sou-ro-* «соленый, горький, острый, кислый», мы получим иранский прототип \**xš(ɥ)ra-*, из которого развились (с возможными последующими заимствованиями из одного языка в другой) перс. *šur*, тадж. *šūr* «соленый; солончаковый», перс. *šure*, тадж. *šūra* «солончаковый; корка на солончаке», язг. *šar* «поваренная соль», ишк. *šur*, тал. *sū* «соленый» и т. п. (при возможной контаминации с иранским словом, соответствующим др.-инд. *uṣara-* «соленый»).

Следует оговорить, что не всегда \*s- перед сонорным дает \*zš-. Этот переход, характерный для авестийского [18, с. 158—159], разделяется далеко не всеми иранскими языками. В ряде языков наблюдается сохранение или озвончение \*s перед \*n, например, шугн., барт. *zinōd*, руш. *zinūd*, сар. *z(b)nud*, язг. *z(ə)ned* «вымыл» < \**snāta-*, осет. *af-snajyn* «убирать», авест. корень *snā-* из иран. корня \**snā-*, при перс. *šenā* «плавание», осет. *xzyp* «мыть» < \**zšnā-* [41].

В начале слова перед гласным также не всегда следует искать в прототипе \*h-: поскольку в восточноиранских языках начальный \*h- должен был либо отпасть, либо «отвердеть» (ср. переход \*h- > x в ряде слов, как и в западноиранских), в некоторых случаях в глагольной лексике происходила, по-видимому, вторичная редупликация основ наст. времени или перестройка их по типу редуплицированных, где начальный \*h- естественно заменился на \*š-<sup>4</sup>, переходивший и в основы прош. времени, становясь как бы корневым. Ср., например, шугн. *aḡān-* «покрывать, укрывать» < \**ā-(hi)ši-na-* от иран. корня \**hai-* (с поздней перегласовкой, ср. язг. *awān* «подол» от того же корня), шугн. *biḡis-biḡēd* (ср. руш. *buways-*, сар. *b(b)lis-*) «распухать; наливаясь» < \**api-(hi)šik-sa-* от корня \**haik-* (ср. [4, с. 19]).

Наконец, пристального внимания заслуживает и отражение \*s- перед глухими смычными. При его закономерном сохранении в общеиранском, наблюдаются случаи перехода его в š, ṣ, ṣ̣ в разных языках, при этом он может охватывать разные ареалы, ср., например, шугн. *ḡitêrṣ*, руш. *ḡitêrṣ*, барт. *ḡitōrṣ*, сар. *ḡy/iturḡ*, язг. *ḡ(ə)tarag* [20, с. 42; 4, с. 103], но ишк. *strūk*, вах. *sator*, афг. *stōrəy*, перс. *setāre*, тадж. *sitora* и т. д. «звезда» < \**stār(-či, -ka)* < и.-е. *stēr-*; шугн. *ḡikar-*, сар. *ḡiker-*, язг. *ḡakar-* «искать; шарить, ворошить» [20, с. 37, ср. 4, с. 102], вах. *škur(g)-*, ишк. *škur-* «искать» при перс. *šekār*, тадж. *šikor* «охота» < \**skar-* < и.-е. \*(*s*)ker-.

Закономерности такого перехода нуждаются в дальнейшем изучении. В севернопамирских языках, например, обычно при следовании за группой \*sC- рефлексов \*i, \*ī, \*u, \*ū и кратких корневых дифтонгов сохраняется s: шугн., руш., барт. *sitan*, сар. *sytan*, язг. *s(ə)tan* (ср. ишк. *stin*, вах. *istin*, афг. *stən*, перс. *sotun*, тадж. *sutun* и т. д.) «столб; колонна» < \**stūna-*, *stunā*, ср. авест. *stūna-*, *stunā* < и.-е. \**st(h)ū-na-* [20, с. 49; 4, с. 76]; шугн. *sitēw-*, сар. *s(y)zew-* (ср. вах. *stow-*, афг. *stayəl*, тадж. *situdan* и т. п.) «восхвалять» < \**stau-* < и.-е. \**steu-*; перед рефлексами \*a, \*ā и в определенных случаях \*r, \*r группа \*sC- > \*šC: шугн., руш. *ḡipal-* «блестеть» из \**spal-* < и.-е. \*(*s*)*phel-*; шугн. *ḡipirēṣ*, руш. *ḡipiriz-*, язг. *ḡ(ə)pərə(n)ḡ/ž-* «раскалывать вдоль, расщеплять» < \**sprāḡaya-*, язг. < \**-n-ja-* (ср. вах. *spərž-*) от корня \**sprag-* < и.-е. \**sp(h)reg-* или \*(*s*)*phlegh-* от корня \**sp(h)er-* [11, с. 996 сл.] или \*(*s*)*phel-* [11, с. 985—987] с распространителем \*-g(h); шугн., руш., барт. *ḡičaf-* «трескаться, лопаться» (ср. сар. *čaf-*, мдж. *kaf-*, перс. *kāf-*, *šekāf-*) < \*(*s*)*kap/f-* < и.-е. \*(*s*)*kōp-*, \*(*s*)*kāp-* [11, с. 931]; язг. *ḡ(ə)kaw* «раздергивать войлок» из корня \**skāu-* < и.-е. \**skēu-t* и др. (Это явление позволяет отличить корневое \*s- от префиксального в \*us- < \*ud-, не подверженного такому переходу.) Наблюдаются и перебои, связанные в одних случаях поздним изменением ступени огласовки, аналогией или фонетическим окружением (шугн. *wiḡ-kamb-*, руш. *ḡikamb-*, язг. *ḡamb-* «теребить, прибывать шерсть», ср. ишк. *uškəmb-* и др. < \**avi-sku-m-b-* от корня \**skaub-* < и.-е. \**skeubh-* [4, с. 94—95], где \*s > \*š после \*i), в других, по-видимому, какими-то иными при-

<sup>4</sup> Как известно, и.-е. \*s > \*š после рефлексов \*i, \*ə (> \*i), \*u, \*r, \*k, \*k̂ еще в диалектах общепарсийского, что можно объяснить развитием у \*s второго фокуса — палатального после \*i, \*k̂ и веларного после \*u, \*k — с последующим слиянием \*[š], \*[s̄] в фонему \*/s/, подробнее: [38, с. 260—261]. Сохранение \*s после \*u в нуристанских языках [31, с. 232; 32, с. 340; 15, с. 38] объясняется его первоначальным звучанием здесь в виде \*[s<sup>o</sup>], а не \*[s̄], с последующим вовлечением \*[s<sup>o</sup>] в орбиту фонемы /s/ уже после фонологизации оппозиции \*/s/ ~ \*/š/.

чинами, установить которые можно лишь при сплошном обследовании иранских языков. Пока обращает на себя внимание лишь тот факт, что при исключениях в случаях употребления *ǰ*- вместо *s*- мы чаще находим в прототипе. \**s*-mobile, чем обычный \**s*-.

Таким образом, обращение к не-древним иранским языкам, с одной стороны, и к индоевропейским прототипам, с другой, позволяет в значительной мере уточнить ряд черт общеиранского состояния, в частности, выявить относительную хронологию и диалектную соотнесенность тех фонологических инноваций, которые, по общему признанию, являются наиболее существенными для этого периода. При этом вырисовываются некоторые хронологические срезы праязыка, а также его диалектное членение (см. также [6, с. 33—34]).

Такая процедура позволяет уточнить и некоторые иные аспекты общеиранского состояния (и более поздних эпох). В частности, концепция Р. Готье [42], распространившего положение А. Мейе о фиксированном силовом ударении в древнеперсидском [43] на другие иранские языки, была пересмотрена по мере изучения различных иранских языков (в основном, живых). Оно показало, что по крайней мере в их части уже много времени спустя после распада праязыка сохранялось древнее разноместное ударение и что в его реализации далеко не всегда ведущую роль играл (и играет) силовой компонент [44—54].

Данная процедура дает возможность выявить и некоторые особенности развития семантики ряда слов, а также «пополнить» лексический фонд праязыка. Так, шугн., руш. *nōw*, барт. *naw*, сар. *naw*, язг. *naw* «деревянный желоб» (→ «узкое ущелье»), ягн. *naw*, тадж. *nawa*, вах. *naw*, мдж. *nāwāyika*, ишк. *naw* «желоб» при авест., др.-перс. *nāv-*, др.-инд. *nāv-* «лодка; корабль» [20, с. 55—56; 4, с. 50] < и.-е. *nāus-* «лодка» подразумевает, что семантический прототип «выдолбленный ствол дерева» (ср. ср.-в.-нем. *nuosch* «корыто») [11, с. 755], возможно, сохранял значение еще в общеиранском. В шугн. *wardūz-* «очищать абрикосы от косточек (выдавливанием)» и *widūz-* «очищать (орехи и пр.) от скорлупы» прослеживается корень \**daug-*, как и в *dūz-* «дойть» [4, с. 31, 88, 90—91], что позволяет выявить для \**daug-*, рефлексy которого во многих иранских языках имеют значение «дойть» (ср. руш. *dūz-*, сар. *dewz-*, ишк. *deš-*, вах. *dic-*, мдж. *lūž-*, тадж. *dūš-* и т. д.), более раннюю семантику «сжимать; выдавливать» [4, с. 88] < и.-е. \**dheugh-* «то же» [11, с. 271] (ср. язг. *səx-* «дойть» < и.-е. \**trenk-* «сдавливать» [20, с. 96] с аналогичным развитием семантики). Характерно семантическое отражение и.-е. \**strē-* [11, с. 1022] в виде иран. \**strā(i)-* со значениями «окоченелый; замерзнуть до одеревенения» ~ «оцепенелый», установить которые помогают живые иранские языки, ср. шугн. *ǰici-*; руш. *ǰicay-*, сар. *ǰyseu-*, язг. *šay-* «замерзнуть, одеревенеть» < < \**stra-ia-*, от корня \**strā*, при шугн., руш., барт. *ǰōj*, сар. *ǰūj* «страх» < \**strā-ka-*, язг. *ǰāyek* «боящийся; страх» < \**us-strāya-ka* [подробнее: 21, с. 308].

Обращение к индоевропейскому помогает уточнить этимологии и выявить семантическую преемственность слов даже в случаях совпадения их звучания в общеиранском с другими лексемами. Так, а) шугн. *wed-*, руш. *wud-*, барт. *wīd-*, сар. *weyd-*, ишк. *wed-* «класть, помещать», язг. *wid-* «бросать», ягн. *wid-*, афг. *wīštal* и т. п.; б) шугн. *pidwid-* «засучивать (рукава, штаны)» и в) шугн. *parwid-* «забывать, заглушать (о сорняках)» фонетически должны возводиться к общеиранским корням типа \**uid-* с разными ступенями огласовки: а) \**ai*; б), в) \**i*, — однако, в древних иранских языках корни такого звучания имеют иные значения. При сопоставлении с индоевропейским получаем нужные прототипы: а) \**ueidh-* «разъединять, отделять» [11, с. 1127]; б) \**ueid-* «крутить, сгибать» [11, с. 1124]; в) \**uei-* «идти; добиваться; быть сильным» [11, с. 1123] с расширителем \**-d(h)-*.

Иногда удается таким путем выявить в общеиранском основу, продол-

жающую известный индоевропейский корень с известным же распространителем, который, однако, с данным корнем не зафиксирован. Ср., например, шугн. *žiraŷ*-, бдж. *žiraw*- «укусить, ужалить» < \**gruša*- (руш. *žirand*-, язг. *γaran(d)*- продолжают инфиксальную \**gru-n-s*-, ср. осн. прош. вр. шугн., руш. *žirušt*-, язг. *γarošt* < \**gruš-ta*-), \**grauš*-, который может восходить к и.-е. основе \**g<sup>u</sup>er-eu-s*- «кусать» от корня \**g<sup>u</sup>er*- «елотать» (ср. зафиксированные образования от \**g<sup>u</sup>r-ēu-gh*-, *g<sup>u</sup>rā-gh*- «кусать» [11, с. 474, 485]) при возможной контаминации с \**ghr-eu-s*- «растирать» от корня \**gher*- (ср. зафиксированные образования от \**ghrēu*-, *ghrāu*- и *ghren-dh*- [11, с. 439, 459, 460]). Переход здесь и.-е. \**-s* > иран. \**-š* указывает на доиранское происхождение основы, аналогично шугн. *virāŷ*-, руш., барт. *viraw*-, сар. *v(u)reyŷ*-, язг. *vəraw*- «ломаться, разбиваться» < \**brauš*- из зафиксированного и.-е. \**bhr-eu-s*- от корня \**bher*- [11, с. 133, 171] (к последней этимологии см. [20, с. 46; ср. 4, с. 85]).

При установлении этимологий ряда иранских слов приходится также считаться с возможностью случаев ранней — индоевропейской контаминации основ с сходным звучанием или значением. Так, при наличии в индоевропейском корнях \**s<sup>k</sup>er(d)*- «сасāге» [11, с. 947], \**ker*- [11, с. 573], \**kel*- [11, с. 547] «темный, серый; грязный» два последних, благодаря семантическому воздействию первого, дают сходные с ним значения (ср. русск. *кал*, др.-инд. *kalkā*-, ср.-в.-нем. *hor* и т. п.), что отразилось и в некоторых иранских языках, где иранский прототип \**xard* < \**kar-d* дает соответственно язг. *xūd*-, шугн., барт. *šard*-, руш. *šird*- «сасāге», ср. исходное значение в шугн. *ašēr*- «клеветать, оговаривать» ← «грязнить» < \**ā-xār-aja*- от корня \**xar*- (к переходу \**x* > *š* ср. шугн. *wiš*-, руш. *wiš*- «помешивать еду, чтобы не подгорела» ← «остужать» < \**awi-iza*-, ср. \**aixa*- «холод; лед»).

Существенным для истории иранских языков оказывается и уточнение положений фонологической парадигматики и синтагматики индоевропейского. Например, если принять положение о возможности чередования в индоевропейских диалектах \**k*/*\*k̄* в позициях перед согласными с дентальной артикуляцией [30, с. 17—18] и распространить его на неслоговые варианты сонантов с дентальной артикуляцией \**l*, \**r*, мы можем связать индоевропейскую основу \**kl-eu*- (распространение от корня \**kel*-) «слышать; слава» — «взывать; пение; слово» [11, с. 605] с основой \**kel*-, *k<sub>(e)</sub>lē*-, *k<sub>(e)</sub>lā*- «звать, кричать» [11, с. 548] в вариантах \**klā* || \**klā*-. В таком случае вариант \**klā*- должен был отразиться в иран. корне \**srā(i)*- «громко вещать, кричать» ~ «слышать», к которому могут быть возведены как шугн., руш., барт. *šbu*-, сар. *šuy*- «читать, учиться», так и вах. *kšuy*- «слышать» (с вторичным *kš* < \**š* < \**sr* [ср. 55], ср. аналогичное развитие \**sr* в сак. *ksäv*- «кричать — о птицах», если возводить его к \**śraŷ*- < \**kleu*-, ане \**xšai*- [ср. 56]). К семантическому развитию «звать, кричать» → «читать, учиться» ср. язг. *šay*- ~ ягн. *šoy*-, см. выше (об отражении шугн.-руш. *-bu*- в основах от корней на \**-ā* см. [20, с. 53]; то же при поздних преобразованиях: шугн., руш. *riwōys*- ~ язг. *pəwəy*- «голодать» < \**fra*-, *pari*- с корнем \**uā*-, ср. осет. *rwajyn* [3, II, с. 439]; шугн. *zinōys*- «поскользнуться» из иран. корня \**snā*-; шугн. *kidōys*- «вытекать» из корня \**tak*- с поздним растяжением \**a* > \**ā*).

Итак, обращение к доиранским уровням — общеарийскому и индоевропейскому — и к фактам иранских языков, слабо вовлекавшихся прежде в орбиту сравнительно-исторических исследований, помогает уточнить целый ряд характеристик промежуточных хронологических срезов, в частности, общеиранского. При этом выявляется относительная хронология основных инноваций (и могут быть определены центральные и маргинальные зоны для каждой из них), пополняются наши сведения об общеиранском лексическом фонде (об его инвентаре и семантике лексем). Вычлениаются также те инновационные черты, которые наблюдаются в истории большинства иранских языков, но не являются праязыковыми.

С другой стороны, такая процедура расширяет перспективы этимологической работы над теми иранскими языками, которые относительно слабо исследованы в историческом плане. И, наконец, можно надеяться, что систематическое использование материала иранских языков (в том числе и живых) в сравнительно-исторических исследованиях может оказаться полезным и для индоевропеистики в целом.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Morgenstierne G.* An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
2. *Morgenstierne G.* Indo-Iranian frontier languages. Oslo. V. I—1929, II—1938.
3. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.
4. *Morgenstierne G.* Etymological vocabulary of the Shughni group. Wiesbaden, 1974.
5. *Bartholomae Chr.* Vorgesichte der iranischen Sprachen.— Grundriss der iranischen Philologie, Bd. I. Abt. 1. Strassburg, 1895—1901.
6. *Оранский И. М.* Введение.— В кн.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
7. *Meillet A.* Les dialectes indo-européens. Paris, 1922.
8. *Benveniste E.* Le système phonologique de l'iranien ancien.— BSLP, 1968, t. 63, fasc. 1, p. 64.
9. *Dishington J.* Old Iranian sibilants. A synchronic analysis.— JAOS, 1974, v. 94, № 4.
10. *Erhart A.* Zum IE. Wechsel *Media: Media aspirata*.— Sborník prací filosofické fakulty Brněnské University, 1956, ročn. V. Rady jazykovědné (A), č. 4.
11. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
12. *Meiße A.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.— Л., 1938.
13. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Реконструкция системы смычных общеиндоевропейского языка. Глоттализированные смычные в индоевропейском.— ВЯ, 1980, 4, с. 27.
14. *Morgenstierne G.* Languages of Nuristan and surrounding regions.— In: Cultures of the Hinduku. h. Wiesbaden, 1974.
15. *Buddruss G.* Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des afghanischen Hindukusch.— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1977, Hf. 36.
16. *Reichelt H.* Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909.
17. *Kent R.* Old Persian. New Haven, 1950.
18. *Соколов С. Н.* Язык Авесты.— В кн.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
19. *Боголюбов М. Н.* Персидские слова с XAR° и KAR° и рыба KARA в Авесте.— В кн.: Иранская филология: Кр. изложение докл. научн. конф., посвященной 60-летию проф. А. Н. Болдырева. М., 1969.
20. *Соколова В. С.* Генетические отношения язгулянского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.
21. *Edelman D. J.* History of the consonant systems of the North-Pamir languages.— ИИ, 1980, v. 22, № 4.
22. *Эдельман Д. И.* Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков). М., 1968.
23. Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. I. М., 1975, с. 47—48.
24. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1967, с. 212.
25. *Turner R. L.* A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. Fasc. III. London, 1963, p. 188.
26. *Windjuhr G. L.* Some Avestan rules and their signs.— JAOS, 1972, v. 92, № 1, p. 52.
27. *Hoffmann K.* Altiranisch.— Handbuch der Orientalistik, 1958, Abt. I, Bd IV, Abschn. 1, S. 3.
28. *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976, с. 72.
29. *Эдельман Д. И.* К типологии индоевропейских гуттуральных.— ИАН СЛЯ, 1973, № 6, с. 543—544.
30. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Проблема языков centum и satem и отражение «гуттуральных» в исторических индоевропейских диалектах.— ВЯ, 1980, 6.
31. *Morgenstierne G.* Indo-European *k* in Kafiri.— NTS, 1945, Bd. 13.
32. *Morgenstierne G.* Irano-Dardica. Wiesbaden, 1973.
33. *Collinder B.* Finno-Ugric vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm, 1955, p. 129—141.
34. *Collinder B.* Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960, p. 51—61.
35. *Collinder B.* Survey of the Uralic languages. Stockholm, 1962, p. 551.
36. *Joki A. J.* Uralier und Indogermanen. Die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Helsinki, 1973, S. 247—350.

37. *Morgenstierne G.* Munji žūt: Gothic qīṣiṣ.— NTS, 1934, Bd. 7.
38. Принципы описания языков мира. М., 1976.
39. *Эдельман Д. И.* К фонемному составу общепранского (о фонологическом статусе \*xʷ).— ВЯ, 1977, 4.
40. *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965, с. 8—9.
41. *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. I. М.— Л., 1949, с. 24.
42. *Gauthiot R.* De l'accent d'intensité iranien.— MSL, 1916, t. XX, fasc. 1.
43. *Meillet A.* La déclinaison et l'accent d'intensité en perse.— JA, 1900, IX-e série, t. XV.
44. *Morgenstierne G.* Archaisms and innovations in Pashto morphology.— NTS, 1942, Bd. 12, p. 95—97.
45. *Henning W. B.* The disintegration of the Avestic studies.— TPhS — 1942. Amsterdam, 1968, p. 52—53.
46. *Дыбо В. А.* О рефлексах индоевропейского ударения в афганском.— В кн.: Актуальные вопросы прапистики и сравнительного индоевропейского языкознания: Тезисы докладов. М., 1970.
47. *Дыбо В. А.* О рефлексах индоевропейского ударения в индоиранских языках (в дардских и в йида).— В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972.
48. *Morgenstierne G.* Traces of Indo-European accentuation in Pashto? — NTS, 1973, Bd. 27.
49. *Дыбо В. А.* Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии.— В кн.: Балто-славянские исследования. М., 1974.
50. *Стеблин-Каменский И. М.* Историческая фонетика ваханского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1971, с. 15.
51. *Стеблин-Каменский И. М.* Рефлексы индоевропейского ударения в ваханском.— В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972.
52. *Ефимов В. А.* О некоторых архаических чертах морфологической структуры презенса в ормури.— В кн.: Сопещение по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. М., 1979.
53. *Эдельман Д. И.* К реконструкции общепранского ударения.— В кн.: Конференция Проблемы реконструкции: Тезисы докладов. М., 1978.
54. *Эдельман Д. И.* Об ударении в истории иранских языков.— В кн.: Фонология. Фонетика. Интнология: Материалы к XI Международному конгрессу фонетических наук (1979, Копенгаген). М., 1979.
55. *Стеблин-Каменский И. М.* Историческая фонетика ваханского языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1971, с. 170.
56. *Emmerick R. E.* Saka grammatical studies. London, 1968, p. 25.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ М. И.

## СКАНДИНАВСКОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СОГЛАСНЫХ

## 1. Постановка вопроса

У скандинавского передвижения согласных есть большое преимущество перед общегерманским: исходное состояние для него менее гипотетично, чем для общегерманского передвижения, поскольку это состояние предствлено в письменных памятниках, а конечное состояние для него — это современное состояние (как принято считать, в Скандинавии, и прежде всего — в Дании, и сейчас происходит передвижение смычных), а современное состояние скандинавских смычных, конечно, известно во всех фонетических подробностях.

Поэтому исследование скандинавского передвижения согласных целесообразно начать с описания современного состояния рефлексов праскандинавских *tenues* и *mediae*, т. е. с описания современных скандинавских смычных и тех согласных — аффрикат, щелевых, полугласных и т. д., — которые пришли на смену смычным, если такая смена произошла. Очевидно, однако, что нельзя ограничиться только теми случаями, когда такая смена произошла, т. е. передвижение согласных могло заключаться не только в превращении смычных в аффрикаты, щелевые, полугласные и т. д. но также и в изменении смычных, которые при этом оставались смычными. Очевидно также, что нельзя ограничиться только теми случаями, когда одна фонема сменила другую и когда поэтому изменение нашло отражение в орфографии. Фронтальное изменение ряда фонем, конечно, отнюдь не обязательно было фонемным изменением. Именно фронтальность изменения заставляет предполагать, что оно было прежде всего изменением в реализации фонем, т. е. их аллофонным изменением, и, следовательно, могло не находить никакого отражения в орфографии. Вместе с тем, поскольку передвижение согласных — это фронтальное изменение коррелирующих рядов фонем, описывая состояние современных рефлексов праскандинавских *tenues* и *mediae*, целесообразно сосредоточиться на том, что различает соответствующие коррелирующие ряды фонем, и отвлечься от того, что характерно только для отдельных фонем в отдельных положениях.

В современных скандинавских, как и в других германских языках, смычные всегда образуют симметричную систему, состоящую по меньшей мере из двух коррелирующих рядов, так называемых *tenues* и *mediae*. Судя по фонетическим описаниям, признаки, по которым эти ряды коррелируют, варьируют на территории Скандинавии. Вместе с тем известно, что на территории Скандинавии диалекты образуют один сплошной континуум, т. е.; что переходы от диалекта к диалекту постепенны и сколько-нибудь резкие диалектные границы отсутствуют. Поэтому есть основания полагать, что постепенность перехода от диалекта к диалекту имеет место и в отношении признаков, по которым коррелируют скандинавские *tenues* и *mediae*, хотя в фонетических описаниях эта постепенность далеко не всегда фиксирована. Есть основания полагать также, что аналогичная постепенность имела место при переходе от одной стадии языкового развития к другой, т. е. что различия между скандинавскими диалектами отра-

жают различия между стадиями языкового развития. Все это заставляет заключить, что для исследования скандинавского передвижения согласных важнейшим материалом должно послужить возможно более подробное описание различия между скандинавскими диалектами в отношении тех признаков, по которым в них коррелируют *tenuis* и *mediae*. При этом должны быть учтены все составные элементы различия между коррелирующими рядами, такие, как звонкость, полувзвонкость или глухость, сильная, средняя или слабая придыхательность, сила или слабость. Если различие между коррелирующими рядами представляет собой сочетание из нескольких таких элементов, то это различие и должно быть описано как сочетание разных элементов, а не как нечто единое. Кроме того, должно быть учтено и то, что различие между коррелирующими рядами может быть (вернее — обычно бывает) разным в разных положениях. Для характеристики различия коррелирующих рядов важно не только положение максимального различия (которое в скандинавских, как и в других германских языках, имеет место, как правило, в начале ударного слога), но и положение нейтрализации: в скандинавских (как и в других германских) языках именно это положение обычно оказывается ареной наиболее заметных изменений.

В фонологических описаниях смычных одного отдельного языка или диалекта обычно принимается за доказанное, что только одна из составных частей различия двух коррелирующих рядов смычных, например, только сила, или только придыхательность, или только глухость, «релевантна» для корреляции, т. е. якобы представляет собой один из тех дискретных элементов (как называемых «различительных признаков»), на которые без остатка разлагается фонема, тогда как остальные части различия коррелирующих рядов «иррелевантны», «избыточны», т. е. не входят в тот «пучок различительных признаков», который якобы представляет собой фонема, и могут поэтому игнорироваться в фонологическом описании. Единый различительный признак, к которому таким образом сводится различие между коррелирующими рядами смычных, оказывается поэтому в сущности таким же условным наименованием действительного различия между рядами, как названия *tenuis* и *mediae*. Однако преимущество этих последних в том, что они не претендуют на выражение реального различия, между тем как единый различительный признак, признаваемый за элемент «пучка», выдается за исчерпывающее выражение этого различия.

Преимуществом представителей послегриммовской науки перед Гриммом обычно считается то, что они понимали различие между буквой и звуком и не принимали такие условные обозначения букв, как *media*, *tenuis* или *aspirata*, за выражение фонетической реальности обозначаемых этими буквами звуков. Однако, когда современные фонологи определяют различительные признаки фонем, исходя из соображений удобства и простоты описания и пренебрегая фонетической реальностью, то они в сущности оперируют с не менее условно названными единицами, чем гриммовские *tenuis*, *media* и *aspirata*, и тем самым возвращаются к дофонетической, или «буквенной», точке зрения.

Преимущество Гримма перед современной наукой в том, что он основывался на всей совокупности известного в его время науке, тогда как современные фонологи, рассматривающие фонему как пучок различительных признаков (и в еще большей мере это относится к сборникам порождающей фонологии), в ряде случаев бывают вынуждены в интересах так называемой «простоты описания» сознательно закрывать глаза на факты, установленные фонетикой. В свое время «буквенная» точка зрения основывалась на достижениях науки. В наше время эта точка зрения основывается на игнорировании достижений науки.

Выделение одной из составных частей различия коррелирующих рядов смычных как элемента пучка различительных признаков, якобы образующих фонему, мотивируется иногда теми или иными фонетическими факта-

ми, долженствующими свидетельствовать о большей важности данной составной части различия по сравнению с другими (например, силы по сравнению с глухостью или придыхательности по сравнению с силой и т. д.). Однако даже если удастся доказать, что одна из составных частей различия в каком-то отношении или в каком-то положении действительно важнее других (а это, конечно, обычно можно доказать), всегда остается недоказанной постулируемая модель фонемы, т. е. то, что только одна эта более важная составная часть различия коррелирующих рядов входит в фонему (как дискретный элемент «пучка»), тогда как остальные не входят в нее и должны вообще игнорироваться в ее описании. Поэтому выведение единого различительного признака из фонетических реализаций коррелирующих фонем фактически сводится к рассуждениям, долженствующим оправдать игнорирование этих реализаций.

Чаще, однако, выделение одной из составных частей различия коррелирующих рядов в качестве элементарного различительного признака мотивируется просто необходимостью «наибольшей простоты описания» (ср. [1]). Такая аргументация в сущности последовательнее и логичнее: ведь в основе аргументации тех исследователей, которые выделяют одну из составных частей различия в качестве элементарного различительного признака, ссылаясь на те или иные фонетические факты, в конечном счете лежат не эти факты, а постулат, согласно которому фонема — это пучок различительных признаков, т. е. обладает структурой, обеспечивающей максимальную простоту ее описания.

Развивая постулат, согласно которому фонема — это пучок различительных признаков, вполне логично постулировать ограниченность инвентаря различительных признаков, к которым могут быть сведены все различия между фонемами в любом языке. Такой инвентарь обеспечивает максимальную простоту описания, поскольку сводит все многообразие фонетических реализаций фонем в различных языках к очень небольшому количеству дискретных единиц (различительных признаков), одинаковых для всех языков мира. Так, Якобсон, Фант и Халле постулируют в своей известной работе 12 пар таких единиц [2].

По-видимому, однако, пучковая модель фонемы в какой-то мере оправдывает себя только при синхронном описании отдельного языка или диалекта. Как только возникает необходимость сопоставить близкородственные языки или диалекты или последовательные стадии развития одного языка, модель эта оказывается абсурдной, и это уже было замечено некоторыми проницательными историками языка и диалектологами. «Как может модель, которая использует дискретные элементы (различительные признаки), быть применена к тому, что явно представляет собой континуум?» — справедливо спрашивает Моултон [3, р. 153]. «В силу нашего невежества, — продолжает он дальше, — мы можем легко допустить, не боясь противоречия, что новые различительные признаки вводятся внезапно. В диалектографии, однако, где у нас намного лучшие данные, такое допущение было бы совершенно нереалистическим» [3, р. 154].

Если, например, описать коррелирующие ряды смычных в различных скандинавских языках и диалектах и на различных этапах их развития, используя якобсоновский инвентарь двоичных различительных признаков, то окажется, что во всех этих языках и диалектах и на всех этапах их развития эти ряды коррелировали как «напряженные» и «ненапряженные». Но если цель описания — выявить различие между языками и диалектами и различными этапами их развития, то абсурдно, конечно, использовать модель, согласно которой этого различия не существует <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Более развернутую критику пучковой модели фонемы см. [4].

## 2. Современный материал

Единственное, что в области смычных характерно для всего скандинавского ареала, — это нейтрализация *tenues* и *mediae* после /s/. В этом положении смычный всегда непридыхательный и глухой, но то ли сильный, то ли слабый. По-видимому, эта нейтрализация характерна и для всех других германских языков.

Почти для всего скандинавского ареала характерно, во-первых, что различие между *tenues* и *mediae* в начале ударного слога не такое, как в других положениях (если, однако, это различие не нейтрализуется, как, например, в исландском «мягком» произношении, всюду, кроме начала ударного слога), и, во-вторых, что *tenues* всегда отличается от *mediae* не каким-то одним свойством, а их сочетанием, например, отсутствием голоса и придыханием и т. п. Единственное исключение — финляндско-шведский и эстонско-шведский. В них совсем нет придыхания [5, s. 15; 6, s. 46; 7, s. 82; 8, s. 176; 9, s. 48]. Следовательно, различие между *tenues* и *mediae* в них одинаково во всех положениях, и это различие — только наличие и отсутствие голоса. По-видимому, нет придыхания у *tenues* и на Борнхольме [10, s. 342]. Но там они контрастируют с *mediae* только в начале ударного слога.

На большей части скандинавского ареала (почти вся Швеция и большая часть Норвегии) в начале ударного слога *tenues* сильные, придыхательные и глухие, а *mediae* слабые, непридыхательные и звонкие или скорее ползвонкие, тогда как в начале безударного слога *tenues* сильные, глухие, иногда слабо придыхательные, а *mediae* слабые и звонкие<sup>2</sup>. При этом, как правило, в начале безударного слога и *tenues*, и *mediae* могут быть долгими, но их долгота — свойство слога, а не отдельной фонемы, поскольку долгие смычные встречаются только после кратких гласных, а краткие — только после долгих гласных.

Есть, однако, и в Швеции, и в Норвегии области, где различие между *tenues* и *mediae* нейтрализуется не только после /s/, но и после гласного, который в этом случае обычно долгий, причем нейтрализация происходит в пользу *mediae*.

В Швеции область такой нейтрализации — крайний юг и юго-запад (Сконе, западная часть Блекинге, юго-западная часть Смоланда, Халланд и Бохуслен [6, s. 19]). В этой области после гласного возможны только *mediae*, и в этом положении они звонкие, непридыхательные и слабые<sup>3</sup>. Случаи такой нейтрализации после гласного наблюдаются и в некоторых других шведских диалектах [22, s. 47; 8, s. 186; 23; 24, s. 71]. Но, по-видимому, в Швеции этой нейтрализации *tenues* и *mediae* после гласного не сопутствуют реализации *tenues* в начале ударного слога, отличные от обычных для шведских диалектов. Впрочем, в описаниях шведских диалектов, как правило, вообще ничего не говорится о реализациях *tenues* в начале ударного слога, т. е. степени их придыхательности. По-видимому, различия между отдельными диалектами в этом отношении трудно поддаются определению. Лунделль в своем описании шведских диалектов говорит, например, что он не обозначает придыхания у смычных, потому что не может решить, в каких диалектах представлены «настоящие» *tenues* (т. е. глухие сильные, но непридыхательные), а также в каких придыхательные [13, s. 28].

В Норвегии есть тоже области, где в положении после гласного различие между *tenues* и *mediae* нейтрализовано в пользу *mediae*. Это, во-первых, так называемая «слабая береговая полоса» (*den bløte kyst-stripe*),

<sup>2</sup> О шведских смычных см. [5, s. 15; 7, s. 56—58 и 82; 11; 12; 13, s. 81—82]. О норвежских смычных см. [14—18; 19, s. 67; 20].

<sup>3</sup> См., например, [21], где говорится: «В большинстве шведских диалектов, также и в южношведских, *p, t, k* определяются как глухие придыхательные смычные, а *b, d, g* — как звонкие непридыхательные».

которая начинается сразу к востоку от Арендала и, расширяясь к западу, кончается немного к северу от Ставангера, а, во-вторых, некоторые районы в фюльках Сёр-Трёнделаг, Нур-Трёнделаг и Нурлани. В «слабой береговой полосе» в положении после гласного *mediae* обычно определяются как звонкие, но оговаривается, что кое-где они глухие слабые<sup>4</sup>. По-видимому, они глухие слабые в западной части «слабой береговой полосы», в «слабых» районах Трёнделага и Нурлани, а также в диалекте Эверкаликса в Северной Швеции<sup>5</sup>. В западной части «слабой береговой полосы» и в начале ударного слога *mediae*, по-видимому, глухие слабые. Как следует из описания диалекта Естал (*Gjestal*), местности на западе этой полосы, там долгий *tenuis* (после краткого гласного) преаспирируется, а сонорный перед последующим *tenuis* оглушается<sup>6</sup>. В результате экспериментального исследования смычных в Ставангере Сельмер пришел к выводу, что *mediae* там в начале ударного слога и в конце слова полуглухие, а внутри слова — полузвонкие [33]. Вместе с тем, *tenuis* в этом районе, по-видимому, более сильно придыхательные, чем в остальной Норвегии<sup>7</sup>.

Таким образом, общая закономерность очевидна: где есть нейтрализация различия *tenuis* и *mediae* после гласного в пользу *mediae*, там в различии *tenuis* и *mediae* голос играет меньшую роль, чем придыхание. Впрочем, из этой закономерности есть исключения. Так, на юге Швеции *mediae* звонкие, но там есть нейтрализация *tenuis* и *mediae* в пользу *mediae* после гласного, и, наоборот, на севере Исландии нет этой нейтрализации, но *mediae* там глухие.

В исландском языке в начале ударного слога *tenuis* — придыхательные, глухие и сильные, а *mediae* — непридыхательные, глухие и слабые<sup>8</sup>. В других положениях встречаются только *mediae*, и они в этом случае всегда непридыхательные, глухие и обычно слабые. Например, *tapa/ta : ba/*, *afli/abli/*, *kalla/kadla/*, *seinna/seidna/*. Все исландские смычные — глухие в большей или меньшей мере. Но, согласно экспериментальным данным, они могут частично озвончаться, особенно непридыхательные в звонком окружении [46, 47]. После краткого гласного в исландском встречаются также долгие непридыхательные и преаспирированные непридыхательные, например, в *slabba/slab:a/*, *kappi/kahbi/*. Таковы смычные в так называемом «мягком» произношении (*linmæli*), т. е. на юге и западе Исландии, включая Рейкьявик. В так называемом «твердом» произношении (*harðmæli*), т. е. на севере и востоке страны, *tenuis* возможны не только в начале ударного слога: после долгого гласного в «твердом» произношении всегда *tenuis* (например, *tapa/ta:pa/*), а после сонорного возможен как *media*, так и *tenuis* (например, *henta/henta/*, но *henda/henda/*). Характер-

<sup>4</sup> Так, в работе Кристиансен [25] оговаривается, что поствокальные глухие *b, d, g* слышны в Далане и еще кое-где на окраинах «мягкой береговой полосы»; всего подробнее о распространении поствокальных полузвонких смычных говорится в работе Росса [26]. Ср. также работы Ларсена [27, 28]. Ларсен говорит, что кое-где, в частности — в Далане, в данном положении слышно «нечто среднее между *b* и *p* и т. д.». Стомр [29, s. 76, 85] указывает, что нечто среднее между *b* и *p* и т. д. слышно в районах, переходных между областями «твердых» и «мягких» смычных.

<sup>5</sup> Подробное описание поствокальных глухих слабых в норвежских диалектах есть в [24]. Ср. также [29, p. 60, 177; 30; 31]. По словам Кристиансен, и в диалекте Вестфн, и в диалекте Сельбу глухой слабый может варьировать со звонкой геминатой.

<sup>6</sup> См. об этом [32]. Преаспирация встречается также еще кое-где в норвежских и шведских диалектах, а также в шведском литературном языке. О преаспирации в норвежских диалектах см. также [29, p. 61, 179].

<sup>7</sup> Ср. об этом [34], где говорится: «В южнонорвежском и южношведском мягких районах образовалась сравнительно большая разница между короткими *k, t, p* в начале слова и после гласного, поскольку эти звуки в начале слова получили средней силы ударение со средней силы придыханием (сильнее, однако, в части южной Норвегии, особенно в Вест-Агдере и Далане, где придыхание по силе почти такое же, как в датском), тогда как эти звуки после гласного остались при слабом ударении и без придыхания»; ср. также [35; 36, s. 45; 33, s. 57].

<sup>8</sup> Фонетическое описание исландских смычных см. [37—40]. Фонологическое истолкование исландских смычных см. [41—45].

но, что в полосе, пограничной между областями «мягкого» и «твердого» произношения, в положении после долгого гласного встречаются непридыхательные сильные; т. е. нечто промежуточное между придыхательным сильным «твердого» произношения и непридыхательным слабым «мягкого» произношения<sup>9</sup>.

Фарерские смычные, по-видимому, чрезвычайно близки к исландским и скорее к исландским смычным в «мягком» произношении [49, s. XIII — XXVI; 50; 51]. Фарерскому языку очень повезло на строго структуральные (точнее — дистрибутивистские) описания его звукового строя [52—55]. В этих описаниях фонетические реализации фонем, как правило, полностью игнорируются. Между тем обстоятельных фонетических описаний смычных в фарерском языке и его диалектах нет. Поэтому не представляется возможным уточнить, чем фарерские смычные отличаются от исландских. По-видимому, однако, в области смычных есть различия и между отдельными фарерскими диалектами [49, s. XVII].

На Шетлендских (как, по-видимому, и на Оркнейских) островах, когда скандинавский диалект еще не был вытеснен там английским, тоже имела место нейтрализация *tenues* и *mediae* после гласных в пользу *mediae* [56]. Но поскольку это следует только из написаний *b, d, g* вместо *p, t, k* в соответствующих положениях, фонетическая природа смычных там неясна.

Датские смычные всего сильнее отличаются от смычных, распространенных на большей части Скандинавского полуострова, т. е. от обычных шведских и норвежских смычных. В датском языке в начале ударного слога и *tenues*, и *mediae* глухие и слабые, но *tenues* еще и сильно придыхательные (в случае переднеязычного это даже скорее аффриката [ts]), тогда как *mediae* непридыхательные [57; 58, p. 137; 59; 60, s. 341—344; 61; 62, p. 195—199]. Но такое противопоставление *tenues* и *mediae* имеет место только в начале ударного слога. В середине слова в большинстве положений возможны только непридыхательные смычные, в конце слова придыхательные и непридыхательные смычные свободно варьируют, и только в словах иностранного происхождения типа *Ota, Oda, Inka, Inga* и т. п. перед гласными полного образования (т. е. не [ə]) возможно, но не обязательно, противопоставление придыхательного (но не сильно придыхательного) и непридыхательного. Вместе с тем неоднократно указывалось, что в середине слова непридыхательные смычные [d] и [g] — это в сущности реализации соответствующих *tenues*, а щелевые [ð] и [ɣ], т. е. рефлексы праскандинавских *tenues*, — это реализации соответствующих *mediae* [58, p. 43; 62, p. 205—207; 63]. Таким образом, в датском языке в различении *tenues* и *mediae* играют роль придыхание, смычка и аффрицированность, но, поскольку они все глухие и слабые, не играют роли ни голос, ни сила. Долгота тоже совершенно не используется в датских смычных для их различения.

Характерно, что в датском языке в ряде случаев смычное произношение *mediae* как бы не ограничено от их щелевого произношения [60, s. 343—344; 62, p. 205—206]. Смычный и гоморганный щелевой в некоторых случаях выступают в датском языке как факультативные аллофоны одной фонемы. В небрежной датской разговорной речи возможно щелевое произношение /b/ и /g/ в середине слова, например, в словах *kåbe, takke, lægge* [60, s. 343]. Щелевое произношение *mediae* наблюдается диалектально и в начале ударного слога. Так, на северо-востоке Ютландии есть тенденция к щелевому произношению начального /d/ [60, s. 343]. Но что касается реализации поствокальных *mediae*, то оно вообще очень разнообразно в датских диалектах [22, 64]. Поствокальным [ɸ], [ð], [ɣ] датского литературного языка соответствуют в разных условиях [v b], [ð d], [g j] в борнхольмском; [w], [ð —], [w j —] в зеландском; [w], [—],

<sup>9</sup> Бёдварссон [38, bls. 60—61] суммирует данные монографии Гвюдфинссона, посвященной в основном распространению «твердого» и «мягкого» произношения в Исландии [48].

[— w j] в фюнском; [v f b], [ð r j γ], [γχ] в ютландском (γ — звонкий заднеязычный щелевой, χ — соответствующий глухой, а тире — полное исчезновение звука). Между тем в начале ударного слога *tenues* и *mediae* в датских диалектах такие же, как в литературном датском языке, т. е. соответственно сильно придыхательные, глухие и слабые, и непридыхательные, глухие и слабые (за исключением борнхольмского, где *mediae* звонкие, как на юге Швеции).

### 3. Материал письменности прошлого

Данные о прошлом скандинавских *tenues* и *mediae* — это всегда данные только о соответствующих буквах. Однако эти буквенные данные позволяют в некоторых случаях сделать те или иные предположения о реализации соответствующих фонем.

Древнейшие из данных о скандинавских *tenues* и *mediae* [содержат скандинавские надписи старшими рунами. В старшем руническом алфавите были обозначения как для трех *tenues*, т. е. руны *p*, *t*, *k*, так и для трех *mediae*, т. е. руны *b*, *d*, *g*. То обстоятельство, что в этом алфавите были также обозначения для глухих щелевых, т. е. руны *f*, *þ*, *h*, но не было рун для обозначения звонких щелевых, позволяет заключить, что, вероятно, *mediae* имели с самого возникновения рунического письма не только смычную, но и щелевую реализацию. Щелевая реализация *mediae* в поствокальном положении подтверждается написаниями *gaf* и *bariutiþ* в надписи из Стентовген, датируемой серединой VII в. Эти написания свидетельствуют о появлении глухих щелевых на месте *mediae* в результате оглушения конечных *mediae* (явлении, которое датируется V—VII вв. [65, р. 9—10; 66, S. 168]), т. е. о том, что поствокальные *mediae* были первоначально звонкими щелевыми. Щелевая реализация поствокальных *mediae* в праскандинавском подтверждается и сравнительными данными [65, р. 1—42]. Между тем нет абсолютно никаких данных, позволяющих предполагать щелевую реализацию скандинавских *mediae* в других положениях. Тем не менее, однако, некоторые ученые до сих пор полагают, по-видимому, что руны *b*, *d*, *g* первоначально во всех положениях обозначали звонкие щелевые<sup>10</sup>.

Неясно, что обозначает появление рун *p*, *t*, *k* вместо ожидаемых *b*, *d*, *g* или наоборот, в некоторых поздних надписях старшими рунами (*fokl*, *lat*, *ward*, *kaiba* в надписи из Эггья и *-sba* в надписи из Бьёркеторпа). Возможно, что эти случаи — начало того неразличения на письме *tenues* и *mediae*, которое характерно для младших рун.

В младшем руническом алфавите для обозначения смычных были только руны *b*, *t*, *k*, и эти руны, как обычно предполагается, обозначали и *tenues*, и соответствующие *mediae*. О причинах такого положения высказывались различные догадки. Трнка высказал такое предположение: стало невозможно обозначать одной руной (т. е. рунами *b*, *d*, *g*) звонкие смычные и звонкие щелевые, поскольку звонкие щелевые стали аллофонами щелевых фонем, и р а з н ы м и рунами (т. е. рунами *b* и *f* и т. д.) звонкие и глухие щелевые, поскольку различие между ними перестало быть фонематичным, и это привело к полному отказу от обозначения различия по звонкости и в щелевых, и в смычных [68]. Хауген пытался связать неразличение *tenues* и *mediae* в младшем футарке с сокращением числа гласных фонем в безударном слоге, вызванном редукцией безударных гласных [69]. Однако ни Трнка, ни Хауген не ставили под сомнение того, что *tenues* и *mediae*, которые не различались в младшем футарке, в действительности различались как глухие и звонкие смычные. Между тем Кристиансен высказала предположение, что неразличение *tenues* и *mediae* в младшем футарке объясняется тем, что этот алфавит возник в языковой

<sup>10</sup> Ср., например, [67]. В прошлом многие полагали, что германские *mediae* были звонкими щелевыми (см. [65, р. 1]).

среде, где *mediae* были глухими слабыми и поэтому плохо отличались от *tenues* [24, с. 17, 85]. Развивая мысль, высказанную Марстрандером в одной из его лекций, Кристиансен высказала предположение, что эти глухие слабые были результатом незавершенного перехода *mediae* в *tenues* по германскому передвижению согласных [24, с. 82—83, 87—88]. Однако такие назавершенные *tenues* должны были появиться на месте германских *tenues* (поскольку по германскому передвижению *mediae* переходили в *tenues*). Между тем в скандинавских языках и диалектах глухие слабые, если они в начале ударного слога, то они — германские *mediae*. Если же они после гласного, то они результат так называемого «ослабления» *tenues*, т. е. сравнительно позднего явления, о котором будет речь ниже. Кроме того, невероятно само по себе предположение, что, будучи глухими слабыми, *mediae* мало отличались от *tenues*. В тех языках, где *mediae* глухие, говорящие вовсе не хуже отличают их от *tenues*, чем в тех языках, где *mediae* звонкие. Ведь если *mediae* глухие, то они вообще отличаются от *tenues* не голосом, а отсутствием придыхания или слабостью. Объяснение Трки до сих пор остается наиболее правдоподобным.

«Ослаблением» смычных принято называть то явление, которое известно по буквенному переходу  $p > b, t > d, k > g$  в поствокальном положении [70; 22, с. 76—78; 71, с. 228—231]. Очагом этого явления явно были датские острова — Зеландия и Фюн. Древнейшие его случаи встречаются в надписях на датских монетах XI в. Но эти надписи считаются ненадежным источником. Древнейшим надежным источником по данному явлению считаются датские рукописи XIII в. Судя по этим рукописям, «ослабление» смычных происходило всего раньше в безударном положении, потом перед некоторыми согласными (*r, l, n, t, s*), причем в интервокальном положении раньше, чем в поствокальном в конце слова, и сначала — в случае заднеязычных, потом — в случае переднеязычных и наконец — в случае губных.

Судя по современному произношению, а отчасти и по некоторым написаниям (*th, dh, þ* вместо *d* и *gh* вместо *g*), смычные, образовавшиеся в результате «ослабления» *tenues*, развивались потом в щелевые. Но что касается самого «ослабления» *tenues*, то оно до сих пор обычно истолковывается как их озвончение, и звуки, образовавшиеся в результате «ослабления» *tenues*, называются, как правило, «звонкими» (или «мягкими»<sup>11</sup>) смычными. Так их называют, в частности, и Брөндум-Нильсен, и Скаутруп в их цитированных выше капитальных работах. То, что историки датского языка до сих пор истолковывают «ослабление» смычных как их озвончение, хотя им не может быть неизвестно, что в датском языке нет звонких смычных и что, следовательно, в нем должно было произойти оглушение *mediae*, а вовсе не озвончение *tenues*, объясняется, конечно, господством в истории языка «буквенной» точки зрения: оглушение *mediae* не нашло никакого отражения в письме; между тем в поствокальном положении произошла смена традиционных буквенных обозначений глухих смычных (т. е. *tenues*) традиционным буквенным обозначением звонких смычных (т. е. *mediae*).

В соответствии с пониманием «ослабления» смычных как их озвончения давались и объяснения механизма «ослабления» *tenues* в датском. Так, еще Бредсдорф, незаслуженно забытый лингвист-теоретик, полемизируя в статье 1831 г. с Н. М. Петерсеном, который утверждал, что «все больший и больший переход языка к мягкости (*blödhed*) — это результат угнетенности и заботности народа, особенно простонародья» [72], объяснял «смягчение» (*blödgjörrelse*) согласных, т. е. их озвончение, «своиственным человеческой природе отвращением к напряжению», т. е. как нечто характерное для всех языков, и приводил примеры озвончения смычных из других языков [73]. Многие из предложенных позднее объяс-

<sup>11</sup> В датской традиционной грамматической терминологии «мягкий» (*blödt*) и «звонкий» (*stemt*) — это синонимы.

нений механизма датского «ослабления» *tenues* в сущности лишь развивали мысль Бредсдорфа. Так, Кок объяснял «ослабление» *tenues* в датском как озвончение в безударном положении (первоначально в двусложных словах с безударным вторым слогом) [74]; Сейп — как озвончение в наиболее слабой части ударного слога, т. е. тоже как своего рода озвончение в безударном положении [75]; Скаутруп — как непосредственный результат редукции безударных гласных, т. е. перераспределения силы ударения в слове и трудности сохранить глухой смычный на переходе от сильноударенного к безударному слогу [71, s. 228]. Как неоднократно указывалось, объяснение Скаутрупа опровергается уже тем, что очаг «ослабления» *tenues* совсем не совпадает с очагом редукции безударных гласных: в Сконе например, произошло «ослабление» *tenues*, но никакой редукции безударных гласных там не было. Ларсен тоже рассматривал «ослабление» поствокальных *tenues* как их озвончение и связывал его с усилением ударения. Но он считал, что скандинавские начальные *tenues* в результате этого усиления получили придыхание (он предполагал, что первоначально они не имели придыхания, как *tenues* в финляндско-шведском) и что это придыхание развилось всего раньше и всего сильнее в Дании [34, s. 174—182; 36, s. 44]. Таким образом, Ларсен уже понимал, что так называемое «ослабление» смычных не могло исчерпываться изменением поствокальных смычных, но должно было сопровождаться изменением начальных смычных или следовать за ним.

Между тем Сторм связывал датское «ослабление» смычных с произношением *tenues* и *mediae* в немецких диалектах [76, s. 5]. Влияние немецких диалектов предполагал и Хауген [45, p. 106]. Он, однако, указывал и на возможную фонологическую предпосылку «ослабления». «Оглушение *mediae*, — говорит Хауген, — естественно уменьшило бы фонетическую разницу между двумя рядами и повело бы к компенсационному увеличению придыхания в положениях, где система сохранялась. Но краткие поствокальные *tenues* были сперва менее придыхательными, чем остальные, и так как они с праскандинавского периода остались без оппозиции, они не изменились вместе с остальными *tenues*; и в частях ареала, наиболее подверженного немецкому влиянию, они постепенно перешли в новый класс — в (глухие) *mediae*. Таким образом, это изменение — примериностранного влияния на наиболее слабое место системы» [45, p. 106].

Но первое последовательное фонологическое толкование датского «ослабления» смычных дал Дидериксен [77]. Согласно этому толкованию, в смычных произошла смена оппозиции по голосу на оппозицию по придыханию, и эта смена была причиной того, что в положении нейтрализации (т. е. в поствокальном положении, где встречались только *tenues*) оказался немаркированный член, которым был уже не глухой (*tenuis*), а непридыхательный (*media*), в чем и заключалось «ослабление» смычных. Аналогичное толкование исландского передвижения согласных (т. е. смены глухого сильного глухим слабым в положении нейтрализации) было предложено автором настоящей статьи, которому работа Дидериксена была тогда неизвестна [78]. Это толкование было позднее распространено автором и на другие германские передвижения согласных, поскольку во всех них в результате смены корреляции в положении нейтрализации происходили те или иные фонетические изменения, определяемые тем или иным типом нейтрализации [79]. Оба последовательно фонологические толкования «ослабления» смычных восходят к фонологической теории Трубецкого, точнее — к случаям нейтрализации, описанным им в его «Основах фонологии». Согласно Трубецкому, в логически привативной нейтрализуемой оппозиции выбор члена оппозиции, выступающего в положении нейтрализации в качестве представителя архифонемы, может быть обусловлен «изнутри» и тогда этим представителем оказывается немаркированный член оппозиции [80]. Таким образом, по Трубецкому, появление немаркированного члена оппозиции в положении нейтрализации — это вовсе не диахронический

закон (таких законов Трубецкой не устанавливал), а один из случаев нейтрализации одного из типов оппозиции. Между тем в приведенных выше фонологических объяснениях «ослабления» смычных случаев, описанный Трубецким, принят за диахронический закон. Как только происходит смена корреляции и бывший маркированный член становится немаркированным, этот новый немаркированный член якобы должен в положении нейтрализации сменить старый немаркированный член. В фонологических объяснениях «ослабления» смычных несомненно верно то, что это явление было вовсе не озвончением поствокальных *tenues*, а появлением в этом положении глухих слабых, и что еще до этого начальные *mediae* должны были оглушиться, а начальные *tenues* — стать сильно придыхательными<sup>12</sup>. Однако то, что *mediae* оглушились в начальном положении, было, конечно, не причиной появления глухих слабых в поствокальном положении, а только его предпосылкой: между оглушением *mediae* в начальном положении и «ослаблением» *tenues* в положении нейтрализации могло протечь любое количество времени, и само это «ослабление» *tenues* могло и вовсе не произойти, несмотря на то, что начальные *mediae* стали глухими слабыми, как оно не произошло, например, на севере и востоке Исландии.

Буквенный переход  $p > b, t > d, k > g$  в поствокальном положении представлен в несколько более поздних памятниках кое-где и вне Дании. В Норвегии он представлен в памятниках с XIV в. [83, 84]. Высказывалось предположение, что в западной Норвегии «ослабление» смычных было представлено раньше более широко, чем в современных диалектах [85, 86]. В Исландии переход  $p > b, t > d, k > g$  представлен только в неграмотном написании и не раньше конца XVIII в. [48, bls. 234]. Однако Хегста приводит случаи этого перехода в Исландии от 1464 г. [87].

#### 4. Реконструкция

Как же из всех этих данных, исторических и современных, реконструировать праязыковое состояние скандинавских *tenues* и *mediae* и их историю? По-видимому, черты, общие для всех родственных языков, должны возводиться к их праязыку, если нет данных о том, что произошли такие общие для всех этих языков изменения, которые могли обусловить данные черты. Поэтому праскандинавскому (а вероятно, и прагерманскому) следует считать свойственным то, что до сих пор свойственно всему (или почти всему) скандинавскому ареалу, поскольку нет никаких данных, которые могли бы быть истолкованы как свидетельство того, что эти общескандинавские черты явились результатом каких-то изменений, происшедших в скандинавских языках. Таким образом, праскандинавскому следует считать свойственными, во-первых, нейтрализацию различия *tenues* и *mediae* после /s/, во-вторых, то, что различие *tenues* и *mediae* в начале ударного слога было не таким, как в других положениях, и, в-третьих, что *tenues* всегда отличались от *mediae* не каким-то одним свойством, а их сочетанием. Вероятно, всего ближе к праязыковому состоянию те сочетания этих свойств, которые и сейчас характерны для большей части скандинавского ареала, т. е. почти всей Швеции и большей части Норвегии. Однако необходимо предположить, что в некоторых положениях *tenues* и *mediae* различались также как смычные и шелевые. Таким образом, всего вероятнее, что различие между *tenues* и *mediae* заключалось в том, что в начале ударного слога *tenues* были сильными, придыхательными и глухими, а *mediae* — слабыми, звонкими или полувонкими, тогда как в других положениях *tenues* были сильными, глухими и всегда смычными, а *me-*

<sup>12</sup> Курилович в своем объяснении германских передвижений согласных тоже констатирует, что в датском языке произошло не озвончение *tenues*, а оглушение *mediae* [81], но это, по-видимому, единственное, что не может быть опровергнуто в его крайне натянутом объяснении передвижений согласных (ср. [82], где критикуется статья Куриловича).

diae — слабыми, звонкими и в ряде случаев щелевыми (а именно — после гласных и /r/, а губной и заднеязычный mediae — и после /l/) [65, p. 41]. Кроме того, в середине слова существовало также различие по долготе, и долгота смычных была свойством отдельных фонем, а не слога, поскольку ее зависимость от структуры слога — явно результат крупных количественных сдвигов, происшедших по всей Скандинавии и прослеживаемых по письменным памятникам.

Звонкость mediae в праскандинавском подтверждается переходами /b/ > /β/ и /d/ > /ð/ (ср. написания *gaf* и *bariutiþ* в рунической надписи VII в.), т. е. отнесением глухих аллофонов mediae в результате праскандинавского оглушения конечных mediae к другим фонемам и, следовательно, невозможностью глухости mediae. Ср. также др.-исл. *lá* < \**lah* < \**lag*, *á* < \**aih* < \**aig* и т. п.

С распространением понимания фонемы как пучка различительных признаков обычным стало истолкование германских *tenues* и *mediae* как просто «глухих» и «звонких» или просто «напряженных» и «ненапряженных» и т. п., т. е. обозначения их названиями, такими же условными, как «*tenues*» и «*mediae*» или буквы *p, t, k* и *b, d, g*. Толкование германских *mediae* как смычных или как щелевых во всех положениях — а оно не изжито до сих пор — тоже проявление такой буквенной точки зрения. Та же точка зрения проявлялась, в сущности, и в споре о том, были ли германские *tenues* придыхательными или «чистыми» *tenues*<sup>13</sup>. Шерер первый указал на то, что они скорее всего были придыхательными только в начале слова, но не в поствокальном положении [89]. Это положение развил Линдрот, обосновав его главным образом данными современных германских языков [91]. Разная трактовка древнескандинавских начальных и поствокальных *tenues* в ирландских заимствованиях (они передавались в начале слова буквами *p, t, k*, а после гласного буквами *b, d, g*) тоже скорее всего свидетельствует о том, что скандинавские *tenues* в начале слова были придыхательными [91, s. 273; 92]. Отсутствие придыхания в финляндско-шведском и эстонско-шведском обычно объясняется влиянием финского и эстонского языков (в которых смычные всегда непридыхательные [6, s. 46; 9, s. 30]), точно так же, как его отсутствие в голландском — романским влиянием (см., например, [76, s. 16]), поскольку в романских языках смычные тоже всегда непридыхательные. Невозможно усмотреть никаких доводов в пользу предположения, что придыхание появилось у скандинавских начальных *tenues* только в историческое время и что в финляндско-шведском и эстонско-шведском сохранилось первоначальное положение вещей<sup>14</sup>.

Сочетания придыхательности, силы и глухости в начальных *tenues* или непридыхательности, слабости и звонкости в начальных *mediae*, так же как сочетания силы, глухости и смычности в поствокальных *tenues* или слабости, звонкости и щелевости в поствокальных *mediae* не были, конечно, как явствует из современного фонетического материала, сочетаниями каких-то дискретных элементов, или так называемых «различительных признаков». Скорее эти сочетания были слитными комплексами, в которых ни один из их элементов не был ведущим. Естественно, поэтому, что соотношение между элементами этих компонентов могло меняться, и, по-видимому, именно такая структура различия *tenues* и *mediae* и была основной предпосылкой и необходимым условием передвижения соглас-

<sup>13</sup> Обзор литературы по этому вопросу см. [88].

<sup>14</sup> Такое предположение было высказано в работе Бергтсена и Ларсена [34, s. 177], где говорится, что *tenues* в начале ударного слога «остались почти без придыхания в финляндско-шведском и в одной единственной норвежской долине, захолустном Йостедале в Согне, в несколько старомодном языке, а по всей остальной Скандинавии наверно уже рано в историческое время получили более или менее сильное придыхание». Критика этого предположения есть в работе Линдрота [90, s. 234].

ных<sup>15</sup>. Однако нельзя сказать, что она была его причиной, так как она могла оставаться и более или менее неизменной, как это имело место на большей части скандинавского ареала.

Таким образом, передвижение согласных было в Скандинавии (как, вероятно, и в германских языках вообще) перераспределением элементов различия между *tenues* и *mediae* при сохранении самой структуры этого различия. Это перераспределение едва ли было скачкообразным. Вместе с тем, однако, оно, вероятно, не образовывало и абсолютного континуума. Этапы и механизм изменения структуры различия *tenues* и *mediae* хорошо видны в описаниях переходных зон между так называемыми «сильным» и «слабым» произношением в Исландии [48]. Из этих описаний видно, что смежные реализации *tenues*, т. е. реализации, которые в диахронии должны были следовать непосредственно друг за другом, не переходят постепенно одна в другую, а становятся менее или более распространенными за счет друг друга.

Общескандинавским изменением в структуре различия между *tenues* и *mediae* и тем самым общескандинавским моментом в скандинавском передвижении согласных был отход звонких щелевых аллофонов /b/ и /d/ в фонемы /f/ и /f̥/, которые были щелевыми во всех положениях, но глухими или (в звонком окружении) звонкими. Это изменение было в свою очередь результатом озвончения срединных и конечных /f/ и /f̥/, или дефонологизации звонкости в этих фонемах, т. е. изменения, которое датируется VIII в. [65, р. 11]. Таким образом, щелевость исчезла из структуры различия *tenues* и *mediae*, кроме, впрочем, велярного ряда, где она сохранилась в поствокальном положении, а также после /l/ и /r/ (щелевой аллофон велярного *media* не мог отойти в соответствующую щелевую фонему, т. к. велярный глухой щелевой еще раньше стал фарингальным и всюду, кроме начала слова, исчез). Отход звонких щелевых аллофонов *mediae* в другие фонемы имел то важное для дальнейшей судьбы *tenues* и *mediae* последствие, что в большинстве положений в середине слова остались только *tenues* и что, таким образом, различие между *tenues* и *mediae* оказалось нейтрализованным во всех этих положениях в пользу *tenues* (велярный ряд и в этом случае оказался в особом положении).

Высказывалось предположение, что дефонологизация звонкости в щелевых была причиной дефонологизации звонкости в смычных, или того оглушения *mediae*, которое должно было произойти всюду, где *mediae* и сейчас представлены как глухие слабые (т. е. в Дании, Исландии, на Фарерских островах, кое-где в Норвегии) [77, S. 166; 78, с. 218—219]. Очевидно, однако, что дефонологизация звонкости в щелевых могла быть разве что одной из предпосылок дефонологизации звонкости в смычных (хотя и это сомнительно), но никак не ее причиной, поскольку в щелевых дефонологизация произошла на всем скандинавском ареале, тогда как в смычных она произошла только на части этого ареала. Дефонологизация звонкости в смычных могла произойти и до ее дефонологизации в щелевых.

На скандинавском ареале глухость *mediae*, или отсутствие различия по звонкости между *tenues* и *mediae*, как правило, сочетается с наличием сильного придыхания у *tenues*, т. е. различием *tenues* и *mediae* по придыхательности. Отсюда можно заключить, что оглушение *mediae* и усиление придыхания у *tenues* шли параллельно и были единым процессом вытеснения голоса придыханием в структуре различия *tenues* и *mediae*. Этот процесс был несомненно основным и самым существенным моментом в скандинавском передвижении согласных. Однако он никогда не находил никакого отражения в письме. Поэтому датировать этот процесс очень трудно, тем более, что он мог растянуться на столетия.

<sup>15</sup> М. В. Раевский в своей диссертации говорит, между прочим, что такой «сплав корреляций» (выражение Трубецкого [80, с. 183]) «был как бы материальной предпосылкой и основой для смены корреляции» [93].

Как уже было сказано выше, так называемое «ослабление» смычных, т. е. мена поствокальных *tenues* на *mediae*, должно было иметь своей предпосылкой оглушение *mediae* (и одновременное усиление придыхания у *tenues*). Другими словами, «ослабление» поствокальных *tenues* должно было следовать за оглушением *mediae*, быть его *terminus ad quem*. Этим, однако, еще не решается вопрос о датировке оглушения *mediae*. Этот процесс мог происходить не непосредственно перед «ослаблением» поствокальных *tenues*, а задолго до него. Кроме того, «ослабление» поствокальных *tenues* происходило, по-видимому, не одновременно на всей той части скандинавского ареала, где оно реально произошло. Древнейшие его отражения в письменности относятся, как уже было сказано, в Дании к XIII в., в Норвегии — к XIV в., а в Исландии — к XVIII в. Следовательно, для того, чтобы датировать оглушение *mediae*, надо, во-первых, определить время, раньше которого оно не могло произойти, т. е. найти его *terminus a quo*, а, во-вторых, решить, произошло ли оно в разных частях Скандинавии в разное время и было, следовательно, рядом параллельных, но независимых друг от друга процессов, или оно было единым процессом, распространившимся из одного очага.

Что касается *terminus a quo* оглушения *mediae*, то им, по-видимому, было общескандинавское оглушение *mediae* в конце слова. Как убедительно показывает Моултон, это оглушение должно было закончиться к концу VII в. [65, p. 9—10]. Пока действовало общескандинавское оглушение *mediae* в конце слова, глухие аллофоны *mediae* отходили в другие фонемы, как ясно из рунического *gaf* < \*/gab/ или древнеисландского *batt* < \*/band/ и т. п., и, следовательно, глухость была невозможна в *mediae*. Правда, доказуемо только, что она была невозможна в конечном положении. В начальном положении она могла стать возможной раньше.

Что касается вопроса об очаге оглушения *mediae* (и одновременного усиления придыхания у *tenues*), то распространение этого явления на скандинавском ареале заставляет полагать, что очагом его скорее всего были датские острова, откуда оно распространилось на всю Данию, в том числе и юг Швеции (который до XVII в. входил в состав Дании), и юго-западную Норвегию, а оттуда на острова, заселенные выходцами из Норвегии, т. е. Исландию, а также Шеллендские, Оркнейские и Фарерские острова. Но в таком случае, поскольку эти острова были заселены только в эпоху викингов, эту эпоху, а не «ослабление» поствокальных *tenues*, следует считать *terminus ad quem* оглушения *mediae*.

Именно такое распространение для скандинавских глухих *mediae* предполагал Марстрандер [91, s. 288]. Он, в частности, объясняет наличие глухих *mediae* в шотландско-гельском норвежском субстрате, образовавшемся на севере Шотландии в эпоху викингов [91, s. 287]. Правда, говоря о глухих *mediae* в скандинавских языках, Марстрандер как будто имел в виду только результат «ослабления» поствокальных *tenues*, т. е. их превращение в глухие *mediae*, а не предпосылку этого явления — скандинавское оглушение *mediae*. Марстрандер объяснял норвежским субстратом и некоторые другие явления в шотландско-гельском, а именно — преаспирацию и оглушение плавных перед *tenues*. Развивая одно из предположений Марстрандера [93, s. 290], Кристиансен объясняла наличие глухих *mediae* в некоторых диалектах Трэнделага и Хельгеланна (т. е. островов, не связанных с областью распространения глухих *mediae* в Скандинавии) переселением, которое, согласно археологическим данным, имело место в районе этих диалектов из юго-западной Норвегии в эпоху переселения народов (V—VII вв.) [24]. Правда, и Кристиансен, говоря о глухих *mediae*, как будто имеет в виду поствокальное, а не начальное положение, т. е. «ослабление» поствокальных *tenues*, а не оглушение *mediae*.

Марстрандер считал, что «ослабление» *tenues* началось еще в эпоху переселения народов или во всяком случае до заселения островов к запа-

ду от Норвегии, т. е. до эпохи викингов [91, s. 288—289]. Так же считала и Кристиансен [24, s. 17]. Но поскольку они вообще игнорировали оглушение *mediae* как предпосылку «ослабления» *tenues*, т. е. как бы не отличали второе из этих явлений от первого, они датировали, в сущности, не «ослабление» *tenues* (которое датируется по его письменным отражениям значительно более поздней эпохой), а именно оглушение *mediae*, и такая датировка этого явления всего лучше вяжется с фактами распространения глухих *mediae* в Скандинавии.

Прямых свидетельств того, что глухие *mediae* были исконны в Исландии, нет. Однако есть свидетельства древности в Исландии некоторых явлений, которые должны были иметь своей предпосылкой оглушение *mediae*. Такими явлениями были переходы /rn/ > /dn/, /nn/ > /dn/, /ll/ > /dl/ и /fl/ > /dl/, поскольку все эти переходы подразумевают задержку в артикуляции, сопровождающей смычку, аналогичную задержке в действии голосовых связок, подразумеваемой глухими *mediae* и сильно придыхательными *tenues*. Вместе с тем наличие преаспирации в исландском подразумевает уже осуществившиеся переходы /rn/ > /dn/ и /ll/ > /dl/, поскольку сочетания /dn dl/, появившиеся в результате этих переходов, не слились с сочетаниями /hdn hdl/, которые были результатом появления преаспирации<sup>16</sup>.

Оглушение *mediae* было не только важнейшим этапом скандинавского передвижения согласных, но и древнейшей диалектальной чертой, развивавшейся на скандинавском ареале. Марстрандер ошибался, конечно, считая такой древнейшей чертой «ослабление» *tenues* [91, s. 289]. «Ослабление» *tenues*, которое протекало по-разному в разных диалектах, привело к дальнейшему диалектальному дроблению скандинавского ареала и было последним этапом скандинавского передвижения согласных. И то, что «ослабление» *tenues* протекало по-разному на скандинавском ареале, подтверждает, как справедливо было замечено [96], параллельность развития и исключает возможность объяснения этого развития влиянием адстрата. Уже поэтому возникновение глухих *mediae* в Скандинавии под немецким влиянием (ср. приведенные выше предположения Сторма и Хаугена) представляется исключенным.

На юге и западе Исландии «ослабление» *tenues* заключалось в том, что после гласных и сонорных они стали слабыми, оставшись глухими и непридыхательными. На востоке и севере Исландии *tenues* в этом положении стали придыхательными, оставшись глухими и сильными, т. е. «ослабления» поствокальных смычных там не произошло. Между тем долгие *tenues* всюду в Исландии стали преаспирированными краткими. Ни одно из этих изменений не нашло отражения в орфографии.

Кое-где на юго-западе Норвегии (в западной части «мягкой береговой полосы») *tenues* изменились точно так же, как на юге и западе Исландии, и это, конечно, невозможно объяснить иначе, чем параллельным развитием с общих исходных позиций [94]. Но кое-где на юго-западе Норвегии (на восточной окраине «мягкой береговой полосы») и на всем юге Швеции в поствокальном положении, — хотя и *mediae*, но звонкие, а не глухие. Всего вероятнее, что они результат озвончения, позднейшего по сравнению с «ослаблением» смычных: глухие *mediae*, появившиеся в поствокальном положении в результате «ослабления» смычных, были вытеснены звонкими *mediae*, характерными для остальной Швеции и Норвегии и обычными в шведском и норвежском языках.

Самые крупные изменения претерпели поствокальные *tenues* в Дании, и эти изменения начали находить отражение в письменности еще в XIII в. Возможно, что поствокальные *tenues* здесь сначала стали слабыми, оставаясь глухими непридыхательными смычными, как в Исландии и других

<sup>16</sup> Подробнее об этом см. [94], где доказывается, что все эти явления были результатом не норвежского влияния (как утверждал Чепмен [29]), а параллельного развития с тех же исходных позиций.

районах «ослабления» *tenues*. Вокализация старых звонких щелевых, их превращение в сонанты [w] и [j] или полное исчезновение сделали возможным появление звонких щелевых аллофонов у поствокальных слабых смычных, т. е. дальнейшее «ослабление» этих смычных. Таким образом, щелевость снова стала характерна для поствокальных *mediae*. В разных диалектах это «ослабление» произошло по-разному. На месте губного смычного появились [b], [w] [v] или [f], на месте переднеязычного — [ð], [r], [j] или [γ], на месте заднеязычного — [ɣ], [w], [j] или [χ]. В некоторых случаях поствокальный *media* совсем исчез (например, переднеязычный в фюнском диалекте).

Этапом скандинавского передвижения согласных следует считать и то, что в результате крупных количественных сдвигов, происшедших во всей Скандинавии (всего раньше в Дании, в основном — в XIII в. [71, с. 235—238], всего позднее в Исландии, в основном — в XVI в. [97]), долгота перестала быть свойством отдельных смычных фонем и стала свойством слога, поскольку длинные смычные (или геминаты) стали возможны только после кратких гласных, а краткие — только после долгих гласных. Но в Дании это положение вещей не сохранилось: по-видимому, параллельно с «ослаблением» смычных там произошло сокращение всех долгих смычных, как *tenues*, так и *mediae*, и бывшие долгие *tenues*, как правило, стали такими же слабыми глухими непридыхательными, как и бывшие долгие *mediae*. Таким образом, смычные снова появились в поствокальном положении. Как уже было сказано выше, хотя речь идет о смычных непридыхательных и слабых, они все же, по-видимому, представляют собой реализации *tenues*, тогда как звонкие щелевые — реализации *mediae*. Вместе с тем, в начальном положении у одного из *tenues* (переднеязычного) развилась аффрицированность.

Таким образом, нигде в Скандинавии передвижение согласных, т. е. фронтальное изменение *tenues* и *mediae*, не привело к возникновению нового ряда фонем. Но на его последнем этапе, «ослаблении» смычных в поствокальном положении, *mediae* стали на место *tenues* в этом положении. Всюду, однако, сохранилась общая структура различия между *tenues* и *mediae*: в начале ударного слога это различие не такое, как в других положениях, и оно всегда — сочетание из нескольких недискретных элементов. Передвижение смычных состояло в том, что менялось соотношение между этими элементами, причем в разных положениях — по-разному.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Elert Cl.-Chr.* Bidrag till en fonematisk beskrivning av svenska.— Arkiv för nordisk filologi, 1957, b. 72, s. 52.
2. *Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М.* Введение в анализ речи.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 2. Л., 1962.
3. *Moulton W. G.* Opportunities in dialectology.— In: *The Nordic languages and modern linguistics.* Reykjavík, 1970.
4. *Варонькова Г. В., Стеблин-Каменский М. И.* Фонема — пучок РП? — ВЯ, 1970, № 6.
5. *Dannel G.* Svensk ljudlära. Stockholm, 1966.
6. *Wessén E.* Våra folkmål. Malmö, 1958.
7. *Malmberg B.* Svensk fonetik. Lund, 1956.
8. *Lagman H.* Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de estlandssvenska dialekterna. Stockholm, 1971.
9. *Dannel G.* Nuckömmålet. 1. Inledning och ljudlära. Stockholm, 1905.
10. *Andersen P.* Dansk fonetik.— In: *Nordisk lærebog for talepædagoger.* København, 1961.
11. *Noreen A.* Vårt språk. B. 1. Lund, 1903—1907, s. 402.
12. *Lyttkens I. A., Wulff F. A.* Svenska språkets ljudlära och beteckningslära. Lund, 1885, s. 267.
13. *Lundell J. A.* Det svenska landsmålsalfabetet tillika en öfversikt af språkljudens förekomst inom svenska mål.— Nyare bidrag till kännedom om svenska landsmål och svenskt folkliv. B. I. 1879.
14. *Vanvik A.* Norsk fonetikk. Oslo, 1979, s. 23—32.

15. *Popperwell R. G.* The pronunciation of Norwegian. Cambridge — Oslo, 1963, p. 44—50.
16. *Borgstrøm C. Hj.* Innføring i spogvidenskap. Oslo, 1958, s. 22, 27.
17. *Broch O., Selmer E. W.* Håndbok i elementær fonetikk. Oslo, 1930, s. 77—78, 87, 32—33.
18. *Storm G.* Englische Philologie. Bd. 1. Leipzig, 1892, S. 116.
19. *Storm G.* Norsk Lydskrift med Omrids af Fonetiken.— Norvegia, b. 1. Kristiania, 1884.
20. *Western A.* Kurze Darstellung des norwegischen Lautsystems.— In: Phonetische Studien. Bd. 2. Marburg, 1889, S. 268.
21. *Benson S.* Südschwedischer Sprachatlas. Bd. 2. Lund, 1967, S. 5.
22. *Brøndum-Nielsen J.* Dialekter og dialektforskning. København, 1951.
23. *Ariste P.* Smärre estlandssvenske bidrag.— In: Akad. rootsieesti seltsi aastaraamatust, 1935, s. 39—40.
24. *Christiansen H.* Folkeekspansjonen fra Sørvest-Norge til Nord-Norge i prehistorisk tid.— Norsk tidsskrift for sprogvidenskap, 1967, b. 21.
25. *Christiansen H.* Norske dialekter. B. 2. Oslo, 1948, s. 182.
26. *Ross H.* Norske bygdemål.— Skrifter udg. af videnskabselskabet i Christiania, 1905, 2 kl., b. 2. Christiania, 1906, s. 17—18.
27. *Larsen A. B.* Oversigtskort over visse dialektfænomeners udbredelse i Kristianssands stift.— Forhandlinger i det norske videnskabs-selskabet i Christiania, 1892, b. 9, Christiania, 1893, s. 7.
28. *Larsen A. B.* Oversigt over de norske bygdemål. Oslo, 1948, s. 63, 68.
29. *Chapman K. G.* Icelandic-Norwegian linguistic relationships. Oslo, 1962.
30. *Rikshheim V.* Ljodvoksteren i Vefsnmålet (Ner-Vefsn). Kristiania, 1921, s. 42, 45, 56.
31. *Larsen A. B.* Selbumålets lydære.— Norvegia, b. 2. Kristiania, 1908, s. 83.
32. *Oftedal M.* Jærskje okklusiver.— Norsk tidsskrift for sprogvidenskap, 1947, b. 14.
33. *Selmer E. W.* Om Stavangermålets «hårde» og «bløte» klusiler.— Opuscula phonetica Instituti Phonetici Universitatis Regiae Fredericianae. V. 5. Kristiania, 1924.
34. *Berntsen M., Larsen A. B.* Stavanger bymål. Oslo, 1925, s. 176.
35. *Larsen A. B.* Sognemålene, I. Kristiania, 1922, s. III, 59.
36. *Larsen A. B.* Om «bløde» og «hårde» konsonanter in norsk.— In: Sproglige og historiske Afhandlinger viede S. Bugges Minde. Kristiania, 1908.
37. *Pétursson M.* Drög að almennri og íslenskri hljóðfræði. Reykjavík, 1976, bls. 33—35.
38. *Böðvarsson A.* Hljóðfræði. Reykjavík, 1953.
39. *Einarsson S.* Icelandic. Baltimore, 1949.
40. *Kress B.* Die Laute des modernen Isländischen. Leipzig, 1937.
41. *Pétursson M.* Drög að hljóðkerfisfræði. Reykjavík, 1978, bls. 72—73.
42. *Стеблян-Каменицкий М. И.* Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1979, с. 90—107.
43. *Malone K.* Studies in heroic legend and current speech. Copenhagen, 1959, p. 268—282.
44. *Haugen E.* The phonemics of modern Icelandic.— Language, 1958, v. 34, p. 55—88.
45. *Haugen E.* On the consonant pattern of Modern Icelandic.— Acta linguistica, 1941, v. 2, № 2.
46. *Bothorel-Witz A., Pétursson M.* La nature des traits de tension, de sonorité et d'aspiration dans le système des occlusives de l'allemand et de l'islandais.— Travaux de l'Institut de phonétique de Strasbourg, 1972, № 4.
47. *Einarsson S.* Beiträge zur Phonetik der isländischen Sprache. Oslo, 1927.
48. *Guðfinnsson B.* Mállyzkur, I. Reykjavík, 1946.
49. *Rischel J.* Om retskrivningen og udtalen i moderne færøsk.— In: *Jacobsen M. A., Matras Chr.* Føroysk-donsk orðabók. Tórshavn, 1961, s. XIII—XXXVI.
50. *Lockwood W. B.* An introduction to modern Faroese. København, 1955.
51. *Werner O.* Erforschung der färingischen Sprache. Ein Bericht über Stand und Aufgaben.— Orbis, 1964, № 2.
52. *Skårup P.* Om analysen af det færøske udtrykssystem.— Acta philologica Scandinavica, 1960, b. 25, № 1.
53. *Bjerrum M.* Fosøg til en analyse af det færøske udtrykssystem.— Acta philologica Scandinavica, 1960, b. 25, № 1.
54. *Скорун П.* Состав согласных фарерского языка.— Вестник ЛГУ, 1959, вып. 1, № 2.
55. *Bjerrum M.* An outline of the Faroic vowel system.— Travaux du Cercle linguistique de Copenhagen, 1959, v. 5.
56. *Jacobsen J.* Det norrøne sprog på Shetland. København, 1897, s. 137—139.
57. *Fischer-Jørgensen E.* Les occlusives françaises et danoises d'un sujet bilingue.— Word, 1968, v. 24.
58. *Fischer-Jørgensen E.* Acoustic analysis of stop consonants.— In: Readings in acoustic phonetics. Cambridge (Mass.) — London, 1967.
59. *Hjelmstev L.* Almindelig fonetik.— In: Nordisk lærebog for talepædagoger. København, 1961, s. 249—260.
60. *Andersen P.* Dansk fonetik.— In: Nordisk lærebog for talepædagoger. København, 1961.

61. *Jespersen O.* Modersmålets fonetik. København, 1961, s. 71—74.
62. *Martinet A.* La phonologie du mot en danois.— BSLP, 1937, v. 38, № 2.
63. *Uldall H. J.* The phonematics of Danish.— In: Proceedings of the 2-nd International congress of phonetic sciences, London, 1935. Cambridge, 1936, p. 54.
64. *Bennike V., Kristensen M.* Kort over danske folkemål med forklaringer. København, 1898—1912.
65. *Moulton W. G.* The stops and spirants of early Germanic.— Language, 1954, v. 30, № 1.
66. *Noreen A.* Altisländische und altnorwegische Grammatik. Halle, 1923, S. 168.
67. *Skard V.* Norsk språkhistorie. B. 1. Oslo, 1967, s. 40.
68. *Trnka B.* Phonological remarks concerning the Scandinavian runic writing.— TCLP, 1939, v. 8, p. 3—7.
69. *Haugen E.* On the parsimony of the younger futhark.— In: Festschrift für K. Reichardt. Bern und München, 1969, p. 51—58.
70. *Brøndum-Nielsen J.* Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling. B. 2. København, 1957, s. 76—96.
71. *Skautrup P.* Det danske sprogs historie. B. 1. København, 1944.
72. *Petersen N. M.* Det danske, norske og svenske Sprogs Historie. B. 1. København, 1829, s. 227.
73. *Bredsdorff J. H.* Udvalgte Afhandlinger. København, 1833, s. 36.
74. *Kock A.* Sprakhistoriska undersökningar om svensk akcent. B. 1. Lund, 1872, s. 117—121.
75. *Seip D. A.* Studier i norsk språkhistorie. Oslo, 1934, s. 186—191.
76. *Storm J.* Om Nabosprog og Grænsedialekter.— Skrifter utg. av Videnskaps-selskapet i Kristiania, 2 kl., 1911, b. 4, Kristiania, 1912.
77. *Diderichsen P.* Probleme der altdänischen Orthographie.— Acta philologica Scandinavica, 1937—1938, b. 12.
78. *Стеблин-Каменский М. И.* Исландское передвижение согласных.— Скандинавский сборник, т. 2, 1957.
79. *Стеблин-Каменский М. И.* Сушность германских передвижений согласных.— Вестник ЛГУ, 1961, № 20, сер. истории, языка и литературы, вып. 4.
80. *Трубейской Н. С.* Основы фонологии. М., 1960, с. 90.
81. *Kuryłowicz J.* Le sens des mutations consonantiques.— Lingua, 1947, № 1, p. 77—85.
82. *Buysens E.* L s mutations consonantiques vues par Kuryłowicz.— Lingua, 1958, № 4, p. 421—427.
83. *Seip D. A.* Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo, 1955, s. 297.
84. *Hægstad M.* Vestnorske maalføre fyre 1350, 2, 1.— Skrifter utg. av videnskaps-selskapet i Kristiania, 1914, 2 kl. Kristiania, 1915, s. 58.
85. *Sørli M.* Færøysk tradisjon i norrønt mål.— Avhandlinger utg. av et Norske videnskaps-akademi i Oslo, 1936, 2 kl., b. 1., Oslo, 1937, s. 82.
86. *Hægstad M.* Vestnorske maalføre fyre 1350, 2, 2, 1.— Skrifter utg. av videnskaps-selskapet i Kristiania, 1915, 2 kl., b. 3, Kristiania, 1916, s. 128.
87. *Hægstad M.* Vestnorske målføre fyre 1350, 2, 2, 3.— Skrifter utg. av det Norske videnskaps-akademi i Oslo, 1941, 2 kl., b. 1, Oslo, 1942, s. 110.
88. *Abrahams H.* Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques. Aarhus, 1949.
89. *Scherer W.* Geschichte der deutschen Sprache. Berlin, 1868, S. 65—66.
90. *Lindroth Hj.* Några anmärkningar om tenues i urgermanskan.— In: Festschrift til Hj. Falk. Oslo, 1927.
91. *Marstrander K. J.* Okklusiver og substrater.— Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 1932, b. 5.
92. *Sommerfelt A.* Sur le système consonantique du celtique.— In: Mélanges linguistiques offerts à M. J. Vendryès. Paris, 1925, p. 343—344.
93. *Раевский М. В.* Верхненемецкое передвижение согласных в его причинно-следственных связях: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л. 1969, с. 3.
94. *Стеблин-Каменский М. И.* Исландско-норвежские изменения согласных.— В кн.: Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966, с. 115—125.
95. *Benediktsson Hr.* Islandsk språk.— In: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. B. 7. Malmö, 1962, s. 491.
96. *Skomedal T.* Diachronische Phonologie und Abstrat.— In: The Nordic languages and modern linguistics. Reykjavík, 1970.
97. *[Þórólfsson B. K.]* Kvantitetssomvæltningen i islandisk.— Arkiv för nordisk filologi, b. 45, 1929.

ДЕГТЯРЕВ В. И.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕН PLURALIA TANTUM  
В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ(К определению семантических механизмов  
лексикализации форм мн. ч.)

Процессы образования имен *pluralia tantum* в древнейшем строе славянских языков не были предметом сравнительно-исторического изучения, а в описательных исследованиях вопрос о происхождении плюративов обычно решается на основе определенных современных представлений о денотате. Так, нередко утверждается, что формы мн. ч. типа русск. *сани*, *часы*, *мости*, *перила*, *обои*, *хоромы* и т. п. выражают сложную структуру, множество частей, сложное устройство обозначаемых предметов. Против этого можно было бы и не возражать, поскольку конкретно-предметные имена *pluralia tantum* действительно обозначают обычно сложные устройства, орудия, механизмы, но таким объяснением невозможно удовлетвориться, так как оно не имеет лингвистической ценности. Известно, что не всякий сложный предмет обозначается именем существительным в форме мн. ч. Для этого может быть избрана в зависимости от словообразовательной структуры обозначающего имени как форма ед., так и форма мн. ч. Ср. русск. мн. ч. *часы*, чеш. и словац. мн. ч. *hodiny* «то же» и ст.-русск. *часъникъ*, *часомѣръж*, серб.-хорв. *часовник*, укр. *годинник* — в аналогичных значениях. Происхождение русск. мн. ч. *часы* связано не с характером или структурой денотата, а с собственно языковыми, внутривидовыми особенностями номинации — метонимическим переносом формы мн. ч. *часы* в значении «время, часы» на прибор, предназначенный для его измерения. Лексикализация мн. ч. *часы* в новом, предметном значении стала следствием метонимического изменения смысла. По аналогии с ним образовано мн. ч. *ходики*. Ср. ед. ч. *будильник*, у которого действию аналогии препятствует словообразовательная структура формы ед. ч. Значительные различия наблюдаются при сопоставлении фактов разных языков. Например, русскому мн. ч. *сливки* в литовском языке соответствует ед. ч. *grietinėlė*, в буквальном переводе означающее «сметанка» (ср. чеш. *sladká smetana* и *smetánka* в том же значении). Различие форм объясняется только способом номинации, а именно происхождением, словообразовательной структурой слов. Следовательно, плюрализация, т. е. лексикализация формы мн. ч. в номинативном значении, — это внутривидовое, структурное явление грамматического строя. Задача состоит в выявлении собственно языковых причин плюрализации путем реконструкции значения мн. ч., в определении условий смыслового разобщения форм ед. и мн. ч. Для этого должна быть восстановлена внутренняя форма слова — способ представления предмета, раскрывающий характер первоначального видения и мыслительного обобщения, и определен способ его номинации.

Образование имен *pluralia tantum* — это номинативный процесс, опирающийся на грамматические формы мн. ч. А. А. Потемня убедительно показал, что мн. ч. имен существительных и местоимений в определенных случаях «является не значением (обозначаемым), а знаком, средством обозначения других значений, отличных от простой множественности, которая является только исходной, а не конечной точкою мысли» [1, с. 1]. К этим значениям он относил 1) множественное гиперболическое, 2) мно-

жественное сложных вещей, 3) множественное делимого вещества, 4) множественное места, 5) множественное времени и 6) множественное состояния. Однако эта классификация типов семантизированных форм мн. ч. отражает в основном не исторический, а синхронический взгляд на языковые факты, определяет типы выражаемых денотативных содержаний, а не грамматическую семантику форм мн. ч. Различие двух подходов — синхронического и диахронического — к оценке языкового факта можно показать на следующем примере: мн. ч. *хоромы* А. А. Потебня относит к типу множественного гиперболического. Но это современное значение слова, тогда как происхождение формы мн. ч., его этимологическое значение совершенно иное: мн. ч. *хоромы* образовано в русском языке XIV—XVI вв. в результате лексикализации грамматической формы мн. ч. от ед. ч. *хором*, которое в древнерусском языке имело обобщающий смысл «всякая постройка, жилое или хозяйственное помещение». Мн. ч. *хоромы* в обобщающе-собирательном значении «комплекс жилых и хозяйственных построек как единое целое, двор, усадьба» в старорусской письменности отмечается в начале XV в. Таким образом, форма мн. ч. мотивирована реальной множественностью предметов, воспринимаемых и мыслимых собирательно, как одно целое, так как для называния комплекса избирается имя единичного предмета.

Тем не менее классификация А. А. Потебня четко определяет круг представлений, в которых множественное число, отступая от исходного значения количественной множественности, становится основой для развития новых значений и образования новых слов. А. А. Потебня одним из первых указал на лексикализацию форм мн. ч. как важнейший источник образования имен *pluralia tantum*.

М. Браун в своем историко-семасиологическом опыте об именах *pluralia tantum* в русском языке [2] сосредоточил внимание на непосредственно наблюдаемых явлениях плюрализации. Поскольку образование имен множественных является живым, совершающимся процессом в развитии лексико-грамматической системы языка, ему действительно удалось без обращения к данным этимологии или исторической семантики наметить основные пути плюрализации: 1) лексикализацию форм мн. ч., нарушающую их корреляцию с формами ед. ч.; 2) плюрализацию на основе большей частотности в употреблении формы мн. ч., ведущей к привычному, преимущественному или обычному употреблению слова во мн. ч.; например, мн. ч. *стружки* от ед. ч. *стружка* отличается большей частотностью в речи и в текстах, а ед. ч. *стружка* в значении единичности употребляется практически редко; 3) образование имени множественного по аналогии, например, от ед. ч. *пролетка* образовано мн. ч. *пролетки* рядом с мн. ч. *дрожки*. Семантическую основу плюрализации, по мысли М. Брауна, составляет собирательное значение мн. ч. Однако М. Браун не обосновал глубинные семантические связи между значениями собирательности и множественности, так как он отверг этимологический анализ, объявив его (разумеется, без всяких оснований) субъективным, и предпочел сравнительно-историческому исследованию собственный метод семантического описания непосредственно наблюдаемых явлений. Этот метод не применим к тем формам мн. ч., которые исторически утратили ясные словообразовательные связи и первичное значение. Относительно этих форм суждения Брауна совершенно произвольны. Так, не считаясь с показаниями сравнительно-исторического анализа, он возводит плюративы типа *уста*, *врата*, *двери* к исконным формам дв. ч. Игнорируя данные сравнительно-исторической грамматики славянских языков, Браун высказывает совершенно произвольные, явно ошибочные суждения о происхождении типов имен собирательных в славянских языках. Так, считая собирательность видом языковой абстракции, Браун утверждает, что словообразовательные типы собирательности в славянских языках сформировались лишь в эпоху появления письменности, т. е. в древнеславянских перево-

дах христианских богослужебных книг, чтобы можно было удовлетворить потребность к выражению «неожиданно ставших необходимыми абстрактных представлений». Несостоятельность этого очевидна: не требуется доказывать, что основные, древнейшие типы имен собирательных являются праславянскими по своему происхождению и имеют индоевропейские соответствия. Однако описательный метод Брауна позволил ему в ряде случаев высказать тонкие суждения о совершающихся в речи процессах лексикализации форм мн. ч. В. В. Виноградов, ссылаясь на исследование М. Брауна, писал: «Разные оттенки собирательного значения множественного числа являются живой опорой образования новых *pluralia tantum*» [3]. Семасиологические наблюдения М. Брауна получили подтверждение и развитие в содержательной статье А. Фидлеровой, посвященной историко-семантическому исследованию имен *pluralia tantum* в чешском языке [4]. Вслед за Брауном Фидлерова указывает на значение совокупности-собирательности, исторически мотивирующее формы мн. ч. у некоторых типов имен *pluralia tantum*, отмечает бесспорно существующие точки соприкосновения между ними и именами собирательными, но вместе с тем подчеркивает их различие. Вместе с тем Фидлерова называет и иные признаки лексической плюральности — сложность и составность (орудия, устройства, инструменты), сборность и комплексность (одежда, снаряжение), неисчислимость частиц (вещества). Нетрудно заметить, что выявленные Фидлеровой признаки лексикализованных значений мн. ч. связаны с воспринимаемым денотатом и отражают скорее современную, чем историческую точку зрения. Впрочем, Фидлерова и не ставила своей целью реконструкцию значений мн. ч., ее занимало, как об этом она говорит, прежде всего исходное старочешское состояние и его дальнейшее развитие.

По-прежнему актуальная проблема происхождения имен *pluralia tantum* выдвигает в качестве важнейшей и первоочередной задачу реконструкции значений форм мн. ч., выявления собственно языковых, семантических механизмов лексикализации этих форм на основе этимологического анализа. Особенность состоит в том, что этимологическому анализу подвергаются не слова или корни слов, а грамматические, но лексикализованные формы.

Лексикализация является главным, живым источником образования имен *pluralia tantum*. Действительный фактор, определяющий этот процесс, — коллективная практическая деятельность людей, творчески преобразующих природу, изобретающих орудия труда, механизмы, инструменты, приспособления, аппараты, формирующих новые понятия на основе предшествующего опыта и накопленных знаний. Коммуникативно-мыслительная деятельность в процессе труда совершается в языковых формах. Если для номинации новых предметов, выражения новых понятий избираются сложившиеся в языке грамматические формы, поскольку новообразования опираются на функционирующую систему языка, эти формы, наполняясь новым смыслом и содержанием, преобразуются семантически и структурно. Лексикализация означает не только нарушение первоначальной корреляции форм, но и ломку, преобразование исконных семантических связей, разрушение лексического единства или тождества слова. Однако это разрушение совершается ради созидания нового и является прогрессом, основанным на внутренних возможностях языковой системы. Глубинные процессы лексикализации происходят во взаимодействии определенных мыслительных операций, в частности, обобщения, с грамматическими значениями форм мн. ч. Мыслительно-логическим основанием лексикализации форм мн. ч. является осмысление простого множества в единстве, совокупной целостности, представляющей качественно новый предмет или новое понятие. Простое множество предметов, освещенное творческой мыслью, конструктивно преобразованное, в совокупности дает новое материальное качество, осознается как новый самостоя-

тельный предмет, т. е. уже не как множество, а как единица — только более высокого качества. Таким образом, лексикализация — это собственно языковой, номинационный процесс, выражающий творческую деятельность мышления. Изучение механизмов лексикализации должно показать содержание взаимодействия языковых и мыслительных категорий, раскрыть способ познания действительности, обобщения и абстрагирования понятий, совершающихся в языковых формах. Лексикализуемая множественное число является внутренней формой слова, т. е. способом первоначального представления и способом называния предмета.

Категория числа сформировала универсальный характер облигаторной грамматической категории, типичный для языков развитого флективно-синтетического строя, уже в праиндоевропейском языковом состоянии. Морфология древних славянских языков отличается четким, флективно выраженным противопоставлением парадигм ед., мн. и дв. числа. Чувство связи, соотносительности и противопоставленности форм ед. и мн. ч. по значению единичности и множественности, определяющему природу категории числа, в древнем строе славянских языков настолько сильно, что в определенных синтагматических связях имена *pluralia tantum* восстанавливают форму ед. ч. в соответствии со значением единичности. Так, в старославянском языке существительное *дъври* имело словарную форму мн. ч., но в конструкции *Азъ късмъ дъвьрь* (Ио. X, Сав. кн., л. 125) употребительно только ед. ч. Наряду с обычным мн. ч. *оуста* в славяно-сербском источнике — Вукановом ев. отмечено ед. ч. *оусто* — во фразе: *ѣзык оусто късть имь* (л. 158а. 15—18). Это свидетельствует о живой связи имен *pluralia tantum* и соответствующих первообразных форм ед. ч. в древних языках и показывает, что значение количественности, исконное для категории числа, в древнем строе славянских языков ощущалось как важнейшее значение числа. Вместе с тем, как уже отмечено, формы числа исконно используются в словообразовании как номинационные модели, по которым образуются имена *pluralia tantum*. Это довольно древние образования: важнейшие семантические типы лексикализированных форм мн. ч. — «орудия труда», «средства передвижения», «оружие», «сложные обрядовые действия», «вещества как продукты производственных процессов» и др. — отмечаются в древних индоевропейских языках — древнегреческом, древнеиндийском, латинском [5, с. 147—171; 6, 7]. Поэтому следует решительно отвергнуть попытки отнести происхождение имен *pluralia tantum* в славянских языках к позднему периоду развития (например, связывающие это с перестройкой парадигм после падения двойственного числа).

Исследование показало, что семантические процессы образования имен *pluralia tantum* основываются на глубинных мыслительно-логических значениях множественности, которые в соответствии с характером денотативных содержаний могут быть сведены к четырем основным типам: 1) собирательности, 2) обобщенности, 3) неопределенности и 4) интенсивности. Самостоятельно, но чаще — в комплексе, определенным образом взаимодействуя, эти значения нейтрализуют собственно количественное значение мн. ч. и вызывают переосмысление грамматических форм множественности, за которыми закрепляются новые лексические значения и которые, таким образом, становятся самостоятельными словами. Семантические процессы плюрализации имеют свои особенности в разных типах предметно-логического содержания имен *pluralia tantum* — конкретно-предметных, обобщающих, обобщенно-собираательных, вещественных и отвлеченных.

Логико-семантическую основу плюрализации конкретно-предметных имен существительных, ведущей к образованию предметных, вещественных и собираательных имен *pluralia tantum*, составляет идея собираательности множества однородных, одноименных предметов<sup>1</sup>. По мере того, как опре-

<sup>1</sup> Собираательность как логико-семантическая категория исконно противопоставляется, с одной стороны, единичности, а с другой — раздельной множественности.

деленное предметное множество, практически применяемое в совокупности, как система взаимодействующих, функционально связанных элементов целого, осознается как новый предмет, форма мн. ч. существительного, обозначающая данное множество, лексикализуется в качестве названия этого предмета. Совокупность и неотделимость, т. е. невозможность самостоятельно функционировать в прежнем качестве, характеризует предметы, ставшие деталями целостной системы и передавшие ей свое наименование в форме мн. ч. Простая количественная множественность предметов преобразуется в качественно новую, собирательную множественность. Сформировавшееся на такой основе новое понятие выражается формой мн. ч., потому что представляет собой переосмысленную идею простой множественности, а форма мн. ч. оказывается семантически изолированной, обособленной от формы ед. ч. и лексикализуется в новом значении.

Для большинства общеславянских конкретно-предметных имен *plurality tantum* (названий орудий труда, средств передвижения и связи, инструментов, сооружений, конструкций, произведений, органов тела и т. п.) при сравнительном анализе удается обнаружить исконную форму ед. ч., от которой они образованы.

Собирательное значение лежит в основе праслав. лексикализованной формы мн. ч. ср. р. *\*kola* «повозка», «колесница», «воз», «телега» (от ед. ч. *\*kolo* «колесо»). Заметим, что лексикализуемая собирательная форма мн. ч. образована от корня слова (без согласного детерминанта основы). На собирательный характер значения мн. ч. указывает сочетаемость с собирательной формой числительного: ст.-слав. *четверокола* и ст.-чеш. *čtyverokola* «квадрига». Аналогии находим в балтийских языках: литов. мн. ч. *rātai* «телега» (ед. ч. *rātas* «колесо»), латыш. мн. ч. *rati* (ед. ч. *rats*) в тех же значениях.

Праслав. мн. ч. жен. р. *\*gpsli* образовано от ед. ч. *\*gpslb* «звенящая (струна)» и лексикализовано в значении «скрипка, гусли». Форма ед. ч. в метафорических значениях отмечена в славяно-русских текстах, например: *богозвонная гоусль* Стихир. XII в. (Срезневский III, стлб. 21). Смысловую основу лексикализации составляет собирательное значение мн. ч.: «струны» ∞ в совокупности, как целое: «гусли», «скрипка». По тому же принципу образовано праслав. мн. ч. *\*jasli* «кормушки» от ед. ч. *\*jaslb* «кормушка»: чеш. морав. ед. ч. жен. р. *jasel*, серб.-хорв. ед. ч. ср. р. *jaslo* (в Словаре Вранчича 1595 г.).

Формы мн. ч. существительных *ножьница* и *ножьна* лексикализованы в значении «ножны», «футляр для ножа». В старославянских источниках отмечены обе формы с общим значением, например, ед. ч.: *въньзи ножь въ ножьницуж* Ио. XVIII. 11 Ас. ев., л. 1006, то же — в ср.-болг. Добромировом евангелии (л. 1736) и др.-сербском Вукановом евангелии (л. 168г, 22—23), но в других старославянских источниках (Мар., Зогр., Остр., Сав.) — мн. ч. *въ ножьница* (ср. чеш. мн. ч. *požnice*). В старосербской книжности обычна форма ед. ч. *ножьница*, но в современном сербохорватском языке известны обе формы: ед. ч. *ножьница* и мн. ч. *ножьнице*, в словенском — ед. ч. *požnica* и мн. ч. *požnice*, в болгарском и македон-

---

Ее развитие зависит от характера этого соотношения. В древних славянских языках собирательные понятия выражались формами ед. и мн. ч. Следовательно, формы мн. ч. применялись не только для обозначения дистрибутивного, но также и собирательного множества. Абстрагирование количественных понятий вело к преобразованию формативов собирательности в грамматические показатели простого мн. ч. Это основной путь исторического развития категории собирательности в языках разных типов (грамматикализация). Но наряду с этим формы мн. ч., выражавшие собирательные понятия, использовались для номинации новых предметов, когда собирательное множество преобразовывалось в единицу.

В данной статье рассматривается только этот исторический процесс, тогда как иные аспекты взаимодействия собирательности и категории числа составляют предмет специального исследования.

ском — ед. ч. *ножица*. Русск. мн. ч. *ножны*, ст.-чеш. *požny*, польск. *pożny* образованы от ед. ч.: ст.-русск. *ножна* (Берында, с. 210), ст.-польск. *pożna* (Linde III, с. 363), ст.-чеш. *požna* (Jung. II, с. 739). Ср. также словен. ед. ч. *požna* в том же значении, что и ед. ч. *požnica*. В сербо-лужицких — мн. ч. *póžnje* (Pfuhl, с. 437). Заметим, что в верхнелужицком языке есть и ед. ч. *póžnik* «футляр для ножа», убедительно показывающее, что форма языкового выражения понятия определяется способом словообразования, типом номинации и, следовательно, лишь опосредованно связана с внутренней структурой денотата, а потому может и не отражать ее в форме числа.

Др.-русск. мн. ч. *вилы*, ст.-чеш. мн. ч. *vidly*, совр. чеш. *vidle*, словац. мн. ч. *vidly*, ст.-польск. мн. ч. *widly*, серб.-луж. мн. ч. *widly*, серб.-хорв. мн. ч. *вѣле*, словен. *vile* «вилы» образованы от формы ед. ч.: вост.- и южн.-слав. *вила* и зап.-слав. \**vidla* «витое, разветвленное, с развилкой (дерево)». Ср. русск. ср.-уральск. мн. ч. *вилы* «развилка ветвей», сибирск. ед. ч. *вилка* «ветка с раздвоенным концом (для ворошения соломы)». В.-луж. мн. ч. *widly* имеет два значения: 1) вилы и 2) разветвленные ветви. В среднеболгарском языке, по данным влахо-славянских грамот г. Брашова, употреблялось ед. ч. ср. р. *вило*.

Праслав. мн. ч. \**grabjě/-lje* ж. р. «грабли», отраженное в современных славянских языках, образовано от ед. ч. \**grablja*, заключающего в себе основу итератива *grabati/grabiti*. Форма ед. ч. известна в ряде славянских языков: ст.-русск. *грабля*, болг. *грабла* «то же», макед. *грабула* «грабли, лопата, гребло», серб.-хорв. *грѣбуља* (и чаще употребляемое мн. ч. *грѣбуље*) «грабли», словен. *greblja* «кочерга» (образованы от основы глагола \**grebti*). Мн. число принято и в балтийских языках: литов. *grebliys* и латыш. *greblis*.

Собирательное значение мн. ч. (понятие совокупности одноименных предметов, осмысленной как единое целое и как новый предмет) определяет происхождение имен *pluralia tantum*, обозначающих «вымощенный пол», «настил», «дно», «помост», «покрытие», «пристройки», «комплекс строений» и т. п. Праслав. \**tĭlo* (\**tĭlo*) первоначально обозначало отдельную доску, половицу (в дне лодки, настила), см. Machek, с. 530. Об этом свидетельствуют соответствия в других индоевропейских языках: литов. мн. ч. *tĭlės* «доски на дне лодки», др.-в.-нем. *dilla* «доска», «половица», др.-англ. *þille* «дощатый пол» и др. В ряде языков в значении «пол», «настил», «основание» употребляется лексикализованная форма мн. ч. этого слова: ст.-слав. ед. ч. *тъло* и мн. ч. *тъла*, др.-русск. мн. ч. *тъла* «пол», «почва», например: *Мнози мѣстѣтеле сѣдоша на тълѣхъ* [Панд. Ант. XI в., л. 104 (Срезневский II, стлб. 383)]; серб.-хорв. мн. ч. *тлѣ* (и ед. ч. *тлѣд*) «то же», словен. мн. ч. *tlà*, *na tlèch* «на полу», обл. ед. ч. *na tlo*, н.-луж. мн. ч. *tla* «почва; ток». Аналогично образовано чехо-моравское мн. ч. *deliny* «дощатый пол в конюшне», форма ед. ч. *delina* «половая доска» образована с помощью суффикса единичности *-in(a)* от корня, заимствованного из нем. *dēle* в том же значении (Machek, с. 83). Ср. также польск. силезск. *delina* «пол», «настил» и мн. ч. *deliny* «то же». Аналогично по происхождению русск. мн. ч. *мости* «пол» и *мостики* «дощатая мостовая», «настил», в калининских говорах — «сени». В. Махек связывает слово *most* с др.-в.-нем. *mast* «жердь; мачта» (Machek, с. 306). Этому соответствует первоначальное значение слова.

Собирательная множественность с обобщающим оттенком составляет смысловую основу форм мн. ч., лексикализованных в значениях «внутренние органы, внутренности» (кишечник, почки, печень). Праслав. \**kĕrvo* > *črĕvo* «кишка» в ряде славянских языков во мн. ч. выражает целостное понятие «кишечник»: др.-русск. *черева*, *чрѣва* и *чревеса*, ст.-чеш. мн. ч. *sřeva* «живот; кишечник» (ед. ч. *sřevo* «кишка»), ст.-польск. мн. ч. *czerewa* «внутренности; живот» (ед. ч. *czerewo* «кишка»), в.-луж. мн. ч. *črjewo* «кишечник» (ед. ч. *črjewo* «кишка»), н.-луж. мн. ч. *сrowa*

(ед. ч. *ślowo*), словен. мн. ч. *čreva* (ед. ч. *črevo*), болг. мн. ч. *чръвата* (в Люблянской рукописи XVII в.) и ед. ч. *чръво* и др. — в том же соотношении значений. Обобщающий характер значения мн. ч. выражен в ст.-польск.: *we czrzewyech moych* — лат. *in visceribus* (Puł. (50. 11); ср. совр. польск. мн. ч. *trzewia* «внутренности»). Аналогией этому составляет в древнегреческом то, что слово *ἔντερον* «кишка» обычно употребляется во мн. ч. в лексикализованных значениях «чрево», «внутренности», «матка», «ядро», «сердцевина». Этимологически связанное с ним праслав. \**ętro* «внутренний орган; печень» закрепились в современных славянских языках во мн. ч. Лексикализованные формы мн. ч. утвердились уже в старший письменный период: др.-русск. *ятра* ср. р., ст.-чеш. *játry* ж. р., совр. мн. ч. *játra* ср. р., словен. *jétra* ср. р., в.-луж. *jatra*, полаб. *jōtra* и др. По тому же образцу вместо ед. ч. *ложесно* *мѣтра* (праслав. \**log-es-n-o* с тем же корнем, что и в др.-русск. *ложе* «бедро; верхняя часть лядвеи»), отмечаемого в славяно-русской письменности XI—XII вв., образовано мн. ч. *ложесна*; например: *гш сѣъ се ксть, играя въ ложеснѣхъ моихъ* Златоуструй XII в.

В форме мн. ч. предметное значение слова несколько ослабевает, так как оказывается менее актуальным, поскольку форма мн. ч. паделена на выражение идеи количественности. Это создает возможность семантического сдвига и переносного словоупотребления. Форма мн. ч. отклоняет значение слова от номинативного и лексикализуется в новом предметно-логическом содержании. При этом собирательность, составляющая смысловую основу лексикализации формы мн. ч., осложняется дополнительными оттенками значения обобщенности и неопределенности. Это особенно характерно для тех имен существительных, которые в ед. ч. многозначны. Так, праслав. \**ędro* (\**adro*) «внутренность», ср. др.-русск. *ядро*, *ѣдро*, *нѣдро* «внутреннее», обобщает множество связанных значений: «лоно», «глубина», «вместилище», «грудь», «пазуха», «живот», «утроба», «впадина» и в древнейших славянских текстах употребляется преимущественно во мн. ч. Форма мн. ч. лексикализуется в обобщенно-собирательном значении «глубины земли», «недра». Ст.-слав. *нѣдра* и *ѣдра* последовательно употребляются во мн. ч. в соответствии с греч. мн. ч. *κόπος*. Форма ед. ч. возможна, но по условиям смысла почти не употребляется. Лексикализации мн. ч. способствует метафорическое изменение смысла в значениях «отеческий кров», «родительская забота», отмеченных в переводах с греческого, в славяно-русской, среднеболгарской и древнесербской книжности. В среднеболгарском языке XII—XIV вв. мн. ч. *нѣдра*, *нядра* имеет значения «пазуха», «сердце», «недра», «глубины», «подземелья». В старопольском языке мн. ч. *padra* «пазуха», «грудь» употреблялось наряду с ед. ч. *padro* в тех же значениях. Обе формы отмечены и в других древних славянских языках: ст.-чеш. мн. ч. *ňadra* «пазуха; грудь» и ед. ч. *ňadro*, словац. мн. ч. *ňadrá* и ед. ч. *ňadro*, н.-луж. *padra* «пазуха; лоно; живот» и ед. ч. *padro* «грудь женщины» и т. п. Ср. серб. в песнях, собранных Вуком Караджичем: мн. ч. *нѣдра* «грудь», ед. ч. уменьш. *нѣдарце*, например: *Јако сунце нѣдра твоја* (Пјесме I, № 541, с. 407).

Не имея возможности полнее представить собранный нами материал, надеемся, что и приведенных фактов достаточно для того, чтобы убедиться, что в старший период развития славянских языков имена *pluralia tantum* образовывались главным образом в результате исторической лексикализации первоначальных простых, грамматических форм мн. ч., соотносительных с формами ед. ч., и что логико-семантическим механизмом образования лексикализованных форм мн. ч. является мыслительная идея собирательности, объединяющая множество предметов в единое целое. При этом для наименования этого целого избирается имя предмета, который в совокупности с другими, одноименными предметами, составляет основу нового устройства, орудия и т. п. В языковом выражении собирательная множественность как смысловая основа нового понятия определяет и мотивирует выбор формы мн. ч. для его номинации. Соби-

рательное осмысление реального множества вытесняет раздельно-множественное значение формы мн. ч., когда оказывается актуальной идея единства множества предметов как целого. Это означает качественное восприятие множества, которому в действительности соответствует переход количества в качество (как в случае мн. ч. *кола* «колеса» ~ «повозка; экипаж»). Таким образом, простая, количественная множественность, преобразованная в собирательность, становится признаком нового понятия. Собирательное значение мн. ч. получает словообразовательную функцию как смысловой механизм лексикализации формы мн. ч., семантического обособления ее от формы ед. ч. и превращения в новое слово. Объективным показателем собирательной множественности, мотивирующей словообразовательную форму мн. ч., является сочетаемость имен *pluralia tantum* с собирательными формами числительных; например: *трое дверей, двое вил* и т. п. Уже в древних славянских языках эти сочетания выражают количественность. Однако исконно, по-видимому, они выражали внутреннее множество, т. е. количество предметов, соединенных в одно целое и составляющих совокупность частей нового предмета, например, др.-русск. *пѣтеры кѣнигы* (Изб. 1073 г., л. 252) «пятикнижие», ст.-слав. *веригы двои* (Супр. р., 114) «двойная цепь»; ср. отмеченное в калининских говорах Осташковского р-она *двоякола* «одноколка». Имена собирательные ед. ч. в древних славянских языках, функционировавшие как средство выражения мн. ч., тоже сочетались с собирательными числительными, например: ст.-слав. *четверо братья*, др.-русск. *осьмеро челяди* и т. п. Таким образом, собирательность в формах ед. ч. и множественность в именах *pluralia tantum* имеют единое логическое основание, только в одном случае это множественность, выраженная формой ед. ч., а в другом — формой мн. ч.

Известно суждение, что имена множественные, обозначающие двухчастные предметы типа *ворота, двери, сани*, являются исконными формами дв. ч., исторически переосмысленными в формы множественного. А. А. Потебня, не углубляясь в проблему, осторожно заметил, что если такая замена форм дв. ч. формами мн. ч. и произошла, то в очень отдаленное время, «задолго до исчезновения двойственного числа» [1, с. 17]. Б. Дельбрюк [5, с. 160] прямо высказал удивление по поводу того, что ст.-слав. *уста* и *истеса* являются формами мн., а не дв.ч., хотя и обозначают двухчастные предметы. А. Мейе путем [сравнения с балтийскими соответствиями установил, что слав. *врата, двери, уста, ноздри* являются исконными формами мн. ч. [8, с. 176—177], однако не дал этому семасиологического обоснования. А. Белич решительно выступил против позиции А. Мейе и высказал предположение, что формы дв. ч. восходят к именам собирательным: древнейшим типом дв. ч. в самые ранние эпохи праиндоевропейского языка-основы, как полагал А. Белич, было «свободное двойственное, которое представляло некую разновидность собирательного единственного числа» [9, с. 1], а образцом этой первичной собирательной двойственности в славянских языках являются существительные мн. ч. типа *врата, двери, уста*. По мнению А. Белича, имена *pluralia tantum*, обозначающие двухчастные предметы, являются исконными формами дв. ч. Имея в виду слово *уста*, он писал: «У меня нет никакого сомнения, что в основе этого существительного лежит двойственное число от существительного \**oustrъ*» [9, с. 14]. Однако эта единственная реконструкция (иных А. Белич не приводит) должна быть отвергнута как не подтверждаемая действительными данными сравнительно-исторического анализа.

В древних славянских языках формами дв. ч. выражались такие соединения двух предметов, в которых они сохраняли функциональную самостоятельность и отдельность. В то же время соединение двух предметов, образующее новый самостоятельный предмет, обозначалось формами мн., а не дв. ч. Любое множество, включая и двоичное, составляющее в совокупности и единстве новый предмет, в славянском, как и вообще в

индоевропейских языках, выражалось формой мн. ч. (а также и ед., но не дв. ч.), поскольку именно мн. ч. служило формой выражения собирательности, а собирательность представляет множество как определенное качественное состояние, т. е. как качественное количество, и идея совокупности нейтральна в отношении количественной мощи совокупного множества. Действительные исторические факты индоевропейских, и в первую очередь славянских языков, показывают, что двойственное число собирательного значения не имело. Ср. др.-русск. дв. ч. *дѣва римлянина* и мн. ч. *двоѣ римлянъ*. В первом сочетании форма дв. ч. существительного выражает два самостоятельных лица и эту форму принимает сингулятив, во втором — форма мн. ч. существительного выражает собирательное понятие, на что прямо указывает собирательное числительное. В первом случае выражена расчлененность, во втором — собирательность.

Этимологический анализ славянских данных подтверждает мысль А. Мейе, что «... множественное должно рассматриваться как правильное с точки зрения индоевропейского языка повсюду, где два предмета объединяются, чтобы образовать одно целое» [8, с. 177].

Праслав. *\*vorta* является исконной формой мн. ч. от ед. ч. *\*vorto* ср. р., отраженного в чеш. диал. ед. ч. *vrato* «половинка ворот», «воротина» (Jung. V, с. 175), ср. также белорусск. фольклорное ед. ч.: *наша варѳто* — *срѣбро-злото* (С. Малевич, Белорусские народные песни, с. 94) — наряду с обычным мн. ч. *варѳты*. На исконную форму мн. ч. ср. р. указывают соответствия в балтийских языках: ст.-прусск. мн. ч. ср. р. *warto*, литов. мн. ч. *vařtai*, латыш. мн. ч. *varti*.

Слав. мн. ч. *\*dvъri*, отраженное в форме мн. ч. во всех славянских языках, восходит к праслав. мн. ч. с согласной основой *\*d(h)ъer-es*. На исконный характер формы мн. ч. указывают индоевропейские соответствия: др.-греч. мн. ч. ж. р. *θύραι* «двустворчатая дверь» — ед. ч. *θύρα* «дверь; калитка», лат. мн. ч. *forēs* «двери» и ед. ч. *foris* «ворота», литов. мн. ч. *dūrys* и *dūrės*, латыш. мн. ч. *dūrvīs* «дверь», др.-инд. мн. ч. *dvārah* и др.

Праслав. мн. ч. ср. р. *\*ousta* «рот» образовано от формы ед. ч. ср. р. *\*ousto*, которая употреблялась еще в древнесербской речи и отражена в письменности сербохорватского языка. Так, в одном старосербском лечебнике XV в. отмечаем формы ед. и мн. ч. в одинаковом значении: *дръжи въ оустѣ* и *дръжи въ оустѣхъ*. Ср. чеш. ед. ч. *ústo* (Jung. IV, с. 791—792). Слав. мн. ч. *уста* соответствует ст.-прусск. мн. ч. ср. р. *austo*.

В истории славянских языков вообще нет никаких следов преобразования форм дв. ч. в имена *pluralia tantum*, хотя, как известно, двойственность исторически растворяется во множественности. Дело в том, что двойственность функционировала только в связи и соотношении с единичностью, семантическое обособление форм дв. ч. в самостоятельной номинативной функции было невозможно.

Имена вещественные выражают обобщенные понятия веществ как измеряемых (а не считаемых) субстанций и в своих номинативных формах не изменяются по числам, а распределяются между группами имен *singularia* и *pluralia tantum* в соответствии с морфологической структурой и способом словообразования. Действительная природа вещества, его материальная структура, особенности производства решающим образом влияют на его восприятие и осмысление. Но способ языкового выражения определяется все же системой языка — характером производящей основы, наличными словообразовательными средствами, включенностью каждой словообразовательной модели в сложную систему парадигматических и синтагматических отношений, а также некоторыми историческими тенденциями развития языковых средств выражения понятий.

Этимологический анализ вещественных *pluralia tantum* в славянских языках показывает, что смысловую основу лексикализации форм мн. ч. составляет обобщающее значение собирательности-совокупности. От фор-

мы ед. ч. в самостоятельном значении единицы образуется обычная форма мн. ч., выражающая логическое множество однородных и одноименных единиц. На основе идеи однородности и совокупности это множество осознается как масса вещества. Понятие массы, основанное на представлении о совокупном множестве однородных частиц, получает, таким образом, выражение в лексикализованных формах мн. ч. Праслав. мн. ч. ср. р. \**drūca* образовано от ед. ч. *drūco* «дерево; бревно; полено» и лексикализовано в вещественно-собирательном значении «дрова». Видимо, еще в ранний праславянский период это была собирательная форма (\**drūcā* < < \**drū-ā*)<sup>2</sup>, преобразованная затем в форму мн. ч. Ср. собирательное по происхождению лит. *dervā* «смолистая сосновая щепка, смолье». Показательно, что плюральная форма здесь, как и в слове *кола*, образована от корня без согласного детерминанта — именно в собирательном значении, ср. мн. ч. *дрѣва* и *дрѣвеса*, *кола* и *колеса*, что, по-видимому, свидетельствует о том, что окончание мн. ч. ср. р. -а само прежде служило суффиксом, выражавшим, как известно, собирательность. Праслав. мн. ч. \**drūcā* — ед. ч. \**drūco* (из собир. \**drū-ā* от корня \**drū-*) представляет собой иную огласовку корня \**der-* (ед. ч. \**dervo* — мн. ч. \**derva* «дерево») на ступени редукции гласной. Форма ед. ч. *drvo* «растущее дерево» ~ «срубленное дерево» ~ «полено» отмечена в ряде древних славянских языков: ст.-серб. *дрво*, собир. *дрвие*, ср. совр. серб.-хорв. *дрѐво* — мн. ч. *дрѐта* «растущее дерево» и *дрѐво* — мн. ч. *дрѐва* «дрова», ст.-серб. мн. ч. *дрѣва* «растущие деревья» и «дрова»; болг. (в источнике XVII в.) *едно дрѣво*, ср. совр. *дрѣво* «дерево» и «полено», от которого тоже образуются разные формы мн. ч.: *дрѣва* «дрова» и *дрѣвета* «деревья», ср. макед. *дрво* «дерево» — мн. ч. *дрѣја*, *дрѣје* и *дрво* «полено; бревно» — мн. ч. *дрва* «дрова». В старочешском языке различались по значению *drěvo* «растущее дерево» и *drvo* (lignum), хотя вместе с тем ед. ч. *drvo* отмечено в письменности и в значении «дерево», а в старопольской Флорианской псалтыри отмечено мн. ч. *drwa* в значении «деревья», например: *drwa lassow* (95.12); *drwa owoczna* (148.9). Таким образом, несомненно материальное значение «дрова» развилось на основе понятия совокупности из предметного значения: «деревья» ~ «поленья» > > «дрова». Равным образом мн. ч. \**jьkry*, лексикализованное в чешском и словацком в вещественном значении «икра», образовано от ед. ч. *jьkra* в значении «икринка», как и в балтийских языках, ср. литов. мн. ч. *ikrai* «икра» — ед. ч. *ikras* «икринка» и латыш. мн. ч. *ikri* — ед. ч. *ikra* в тех же значениях. Ст.-русск. мн. ч. *крупы*, ст.-чеш. *krupy* «крупка; град», ст.-польск. *kripy* «то же» производны от ед. ч. *krupa* в значении «крупинка; крошка»; ср. литов. *kriopà* «то же». Имена вещественные мн. ч. типа русск. *выжарки*, *высевки*, *вытопки*, *сливки* и т. п. представляют типичную для славянских языков словообразовательную модель мн. ч. с глагольной основой и суффиксом -ък(ъ). Формы ед. ч. восстанавливаются при сравнении с данными других славянских языков: чеш. (по данным словаря Юнгманна, см. т. V) *výsevek*, *výškvarek*, *výtopek*, *vývarek*, *výčesek* и т. п. Некоторые формы ед. ч. сохранились в народных говорах: яросл. *охлопок* «отход льна при чесании», соликам.-пермск. *сливок* «сливки» и т. п.

Лексикализация форм мн. ч. может быть основана на глубинном семантическом взаимодействии собирательной множественности с обобщаю-

<sup>2</sup> Как показал И. Шмидт [10], формы им. п. мн. ч. ср. р. на \**ā* восходят к праиндоевропейским именам собирательным ж. р. ед. ч. на \*-*ā*. Вместе с тем есть основания полагать, что происхождение собирательных на \*-*ā* как словообразовательного типа относится к более древнему праиндоевропейскому состоянию, предшествовавшему грамматически оформленной дифференциации значений ед. и мн. ч. по крайней мере в рамках неодоушевленного (пассивного) класса имен. По-видимому, первоначально они выражали идею общего числа, т. е. в единой форме выражения совмещали значения единичности и множественности. Лексически выраженная множественность имела собирательный характер. Но этот вопрос заслуживает особого, специального обсуждения.

щим значением мн. ч. Обобщающе-собираательные имена *pluralia tantum* продуктивны в выражении понятий «одежда», «мебель», «деньги», «овощи» и др. Др.-русск. мн. ч. *порты* «одежда» образовано от ед. ч. *пъртъ* «кусочек льняной или холщевой ткани; холст; полотно». Ср. чеш. мн. ч. *šaty* «одежда; платье» и ст.-чеш. ед. ч. *šata* «покрывало; платок». Ст.-слав. и др.-русск. *цѣта* «мелкая монета» (гот. *kintus* «то же») в старших текстах соответствует греч. *κοδράντης, δηναριον, κέρμα, λεπτα* или синонимично слав. *сребръникъ* и образует формы мн. и дв. ч. Но вместе с тем это слово рано получает обобщающее значение «монета», а форма мн. ч. *цѣты* лексикализуется в обобщающе-собираательном значении «деньги». В русском языке, по данным письменности, примерно с начала XV в. в обобщающе-собираательном значении утвердилось мн. ч. *деньги*, хотя ед. ч. *денга* еще в первой половине XVIII в. обозначало медную монету определенного достоинства.

Логическое преобразование простой множественности в качественно-собираательную составляет смысловую основу лексикализации форм мн. ч. также в значениях отвлеченности. В каждом типе отвлеченного значения собираательная множественность вступает во взаимодействие с определенным типом денотативного содержания. Обычно это или неоднородность и сложность действий и свойств, или активность, повторяемость, регулярность, множественность однородных действий, интенсивное проявление свойства. В первом случае формы мн. ч. выполняют обобщающую роль, а во втором — имеют интенсифицирующий смысл.

Наиболее архаичную группу отвлеченных имен *pluralia tantum* составляют во всех индоевропейских языках наименования ритуальных действий, торжеств, знаменательных событий, празднеств. Исследователи справедливо отмечают интенсивно-количественный и действительный характер множественности у имен этого типа — длительность, сложность, цикличность и т. д. Но этимологизация по крайней мере некоторых из них вскрывает первоначальное значение совокупности одноименных отрезков времени (дней, вечеров), от названий которых образуются формы мн. ч. Так, мн. ч. *святки* производно от др.-русск. *сѣмтѣкъ* «праздник» (переносно — «именины»), ж. р. *сѣмтка*, см. Берында, с. 256. Исконное значение мн. ч. — «святочные, т. е. праздничные, дни (вечера)». В западно-славянских языках форма ед. ч. сохранилась, но и здесь формы мн. ч. семантически обособились в обобщающем, целостном значении. Ср. чеш. ед. ч. *svátek* «праздник» и мн. ч. *svátky*, например: *vánočné svátky* (наряду с мн. ч. *vánoce*) «рождество»; польск. ед. ч. *świętek* «праздник» и мн. ч. *świętki*, например: *zielone świętki* «троица», в.-луж. ед. ч. *swjatk* «праздник» и мн. ч. *swjatki* «троица», н.-луж. ед. ч. *suětk* и мн. ч. *suětki* в тех же значениях. От ед. ч. \**godъ* в ряде славянских языков образованы лексикализованные формы мн. ч. Ср. серб.-хорв. ед. ч. *god* «праздник; торжество», словен. *god* «праздник; годовщина; день рождения» и чеш. мн. ч. *hody* «свадьба; праздник», польск. мн. ч. *gody* «то же», в.-луж. мн. ч. *hody* «рождество», н.-луж. мн. ч. *gódy* «то же». Собираательно-множественное значение «дни поста» мотивирует форму мн. ч. *великия масопоуща* (Изб. 1073 г., 194), ст.-русск. мн. ч. *филипповки* «филиппов пост», др.-русск. мн. ч. *госпожинки* (*оспожинки, спожинки*) «дни успенского поста». Ср. словацк. мн. ч. *kantry* и *kantrové dni* — то же, что и чеш. *suché dni* «четыре „сухих“ дня» (пост.). Значение «совокупное множество дней (как цикл)» мотивирует формы мн. ч., обозначающие дни поминовения: *третиньы, девятиньы, сороковиньы* (и *сорочиньы*), *годиньы* и т. п., известные в славянских языках.

По мере лексикализации формы мн. ч. ослабляют количественное значение множественности и осознаются в интенсифицирующем значении обрядовых действий. Поэтому активно плюрализируются имена отглагольного образования типа др.-русск. *заговѣньы, постригы, проводы*.

Лексикализация сопровождается обычно ослаблением и утратой реального значения множественности и переосмыслением слова. Формы мн. ч.

могут служить основой для различных метонимических преобразований лексических значений. Метонимия является важным фактором лексикализации форм мн. ч. Однако этот вопрос заслуживает особого рассмотрения. Здесь только отметим, что лексикализация форм мн. ч. в переносных значениях стала активным источником образования имен *pluralia tantum* в таких тематических группах лексики, как названия стран, земель, населенных пунктов, топографических объектов и т. п.<sup>3</sup>, названия периодов времени, связанных с трудовыми процессами, названия праздников, названия игр, названия болезней по определенным внешним признакам, народные названия трав, цветов и т. п.

Поскольку имена множественные образуются в результате взаимодействия грамматического значения мн. ч. с определенным типом предметно-логического содержания слова, собирательное значение осложняется или дополняется иными значениями мн. ч. — обобщенностью, интенсивностью, неопределенностью, которые во взаимодействии составляют логико-семантическую основу плюрализации. Собирательность, обобщенность, неопределенность, единство противоположностей, интенсивность — этимологические значения лексикализованных форм мн. ч., объясняющие происхождение имен *pluralia tantum*.

Семантические изменения в формах мн. ч. (абстрагирование и обобщение предметно-логического содержания и утрата внутренней формы слова) исторически преобразуют, ослабляют или утрачивают смысловые оттенки множественности, вызывающие лексикализацию, а форма мн. ч. сохраняется лишь как внешняя черта, формальная примета слова, соответствующая принятому в языковой системе способу выражения определенного типа денотатов. Поэтому независимо от семантических оснований мн. ч. имена *pluralia tantum* в современных славянских языках подразделяются по характеру предметно-логического содержания на те же группы, что и имена существительные, изменяющиеся по числам или употребляемые только в ед. ч., а именно — на конкретно-предметные, вещественные, обобщающе-собирательные, отвлеченные. Таким образом, предметность, собирательность, вещественность и отвлеченность могут выражаться формами как ед., так и мн. ч. У имен *pluralia tantum* формы мн. ч. выполняют словообразовательную функцию номинации, но не выражают количественных отношений. Конкретно-предметные имена *pluralia tantum* в номинативной форме мн. ч. выражают и единичность, и множественность. Но важно подчеркнуть, что как факты грамматики они имеют только одно грамматическое значение — значение мн. ч., которое по существу является структурной функцией грамматической формы.

История имен *pluralia tantum* показывает, что категория числа в славянских языках имеет характер универсальной грамматической категории словоизменения и что именно на этой структурно-типологической основе формы мн. ч. активно используются в качестве средства номинации, т. е. включаются в систему средств словообразования.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

### Источники

- Ас. ев. I — Ассеманьево евангелие: *Evangelii Assemanii. Codex Vatikanski 3. slovanski. Dil II. Vydal J. Kurz. Praha, 1955.*  
Зогр. — Зографское евангелие: *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitani. Ed. V. Jagić. Berolini, 1879.*  
Изб. 1073 г. — Изборник в кн. Святослава Ярославича 1073 г. СПб., 1880.  
Мар. — Марийское четвероевангелие. Труд И. В. Ягича. Изд. ОРЯС АН. СПб., 1883.

<sup>3</sup> В индоевропейских языках формы мн. ч. исконно и весьма продуктивно используются для образования топонимов. На материале славянских языков этот вопрос обстоятельно исследован уже Ф. Миклошичем [11]. Об этом же см. [12, 13].

- Остр.— Остромирово евангелие (1056—57). СПб., 1883.  
 Сав. кн.— Саввина книга. Труд В. Щепкина. Изд. ОРЯС АН. СПб., 1903.  
 Супр. р.— Супрасльская рукопись. Труд С. Северьянова. Т. I. Изд. ОРЯС АН. СПб., 1904.  
 Puł.— Psalterz Puławski. Opracował S. Słoński. Warszawa, 1916.  
 В. Караџић. Пјесме.— В. Ст. Караџић. Српске народне пјесме. Књ. I—IV. 2-е изд. Београд, 1891—1896.  
 С. Малевич. Белорусские народные песни. Сб. ОРЯС АН, 1907, т. LXXXII, № 5.

### С л о в а р и

- Берында — Лексикон словеноруский Памви Берынды. Київ, 1961.  
 Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I—III. М., 1958.  
 Jung.— J. Jungmann. Slovník česko-německý. Т. I—V. Praha, 1835—1839.  
 Linde — S. B. Linde. Słownik języka polskiego, Т. I—VI. Wyd. 2. Lwów, 1854—1860.  
 Machek — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.  
 Pfuhl — Lužiski serbski słownik. Wydał Dr. Pfuhl. W Budyšinje, 1866. ¶

### ЛИТЕРАТУРА

1. Потемня А. А. Значения множественного числа в русском языке.— Отд. оттиск из «Филологических записок». Воронеж, 1888.
2. Braun M. Das Kollektivum und das Plurale tantum im Russischen. Leipzig, 1930.
3. Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М.—Л., 1947, с. 164.
4. Fiedlerová A. Nástin vývoje pomnožných jmen v češtině.— SaS, 1975, č. 4.
5. Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. I Th. Strassburg, 1893.
6. Neue Fr. Formenlehre der lateinischen Sprache. Bd. I. Das Substantivum. 3 Aufl. Leipzig, 1902, S. 579—625.
7. Saas Fr. W. Pluralia tantum. Bijdrage tot de Kennis van het Gebruik van de indoeuropese Numeri, in het bijzonder het Grieks. Assen, 1965.
8. Meillet A. Etudes l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. Première partie, Paris 1902.
9. Белош А. О двојини у словенским језицима. Београд, 1932.
10. Schmidt J. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.
11. Miklosich F. Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Manulneudruck aus Denkschriften der Akademie der Wissenschaften Philosoph.-histor. Klasse (Wien, 1860—1874). Heidelberg, 1927.
12. Селищев А. М. Из старой и новой топонимии.— В кн.: Селищев А. М. Избранные труды. М., 1968. с. 45—96.
13. Шпербер В. Функция множественного числа при образовании серболужицких названий местностей (Резюме доклада).— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М. 1962.

РОГОЖНИКОВА Р. П.

## РЕДКИЕ СЛОВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АВТОРОВ XIX В.

1. Произведения авторов XIX в. близки нашим современникам по языку, поскольку общепринято, что современный русский язык — это язык от Пушкина до наших дней. В. В. Виноградов писал: «В языке Пушкина вся предшествующая культура русской литературной речи нашла решительное преобразование. Язык Пушкина, осуществив всесторонний синтез русской национально-языковой культуры, стал высшим воплощением национально-языковой нормы в области художественного слова» [1]. В произведениях Пушкина и других писателей XIX в. воплощен русский литературный язык, используемый и в настоящее время. Конечно, со времен Пушкина в язык вошло много таких слов, которых он не знал, да и не мог знать. Появляются новые реалии и понятия, а это вызывает к жизни новые слова или развитие у старых слов новых значений. Вспомним хотя бы слово *спутник*.

Произведения классической литературы XIX в. представляют собой золотой фонд русской литературы, без них невозможно изучение современного русского языка. Литература XIX в. является неотъемлемым достоянием современной культуры и науки, ее изучают в школе, ее читают широкие слои нашей многонациональной Родины, на ее образцах учатся русскому языку не только у нас, но и за рубежом.

Толковые словари русского языка, создаваемые в наше время, в отборе слов, разработке значений основываются как на произведениях русской классической литературы XIX в., так и современной литературы. Опора на надежные литературные источники дает возможность решать вопросы, связанные с нормой и ее изменением в современном языке, с употребительностью того или иного слова и т. п.

Однако пока еще не учтен весь лексический состав источников XIX в., а также современных. Это отражается и на отборе слов для толковых словарей. Ф. П. Филин пишет: «Если бы можно было провести фундаментальную проверку наших словарей по произведениям литературы XIX—XX вв., то субъективизм и пестрота в отборе слов получились бы разительными» [2, с. 184].

В настоящее время лишь немногие произведения обработаны полностью, т. е. таким образом, что учтен весь наличный лексический состав одного или ряда произведений. Можно назвать опубликованные словари [3—5]. Кроме того, существуют картотеки, словники и словоуказатели к отдельным произведениям или собраниям сочинений авторов XIX в., в которых представлен весь лексический состав произведений. Можно назвать картотеку к произведениям Н. А. Некрасова, хранящуюся в Москве в ИРЯ, по которой под руководством А. Д. Григорьевой составлен словник (рукопись), Словник Боратынского, сост. Е. П. Ходакова, В. В. Пчелкина (Москва, ИРЯ, рукопись), словоуказатель к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», сост. З. А. Потиха (Ленинград, ЛОИЯ, рукопись).

Дело в том, что составление полного словника, словоуказателя, картотеки и на ее основе — словаря писателя, — дело достаточно трудоемкое. Сейчас, когда появилась возможность использовать ЭВМ для получения словоуказателей, полная обработка текстов, представление целиком их лексического состава стало реальным делом [6, 7]. Появились благоприят-

ные условия для учета всего лексического состава литературных произведений. Стало вполне возможным представить весь лексический состав одного или ряда произведений в виде словника или словоуказателя, где все лексические единицы текста расположены в алфавитном порядке, имеются указания на страницу и строку, а также количественные показатели, дающие представление о том, сколько раз та или иная единица текста (обычно словоформа) встретилась в нем. Словоуказатель (или словник) позволяет производить сопоставления со словарями, выявлять отсутствующие в словарях слова, он дает возможность производить и другие работы с лексикой.

2. Как известно, в каждом произведении слова употребляются с разной частотой. Одни являются широкоупотребительными, встречаются часто, другие малоупотребительны по разным причинам. Редкими словами мы будем называть лексемы, не вошедшие в современные толковые словари русского языка, хотя они могут встречаться в словарях XIX в., а также в некоторых специальных словарях (например, в «Словаре русских народных говоров»). Язык произведений XIX в., его лексика, таким образом, рассматривается на фоне современного языка, на фоне современной лексики, зафиксированной в словарях. Эти слова сравниваются с материалами картотеки Словарного сектора Института русского языка (Ленинград). Такой подход позволяет установить, какие слова из произведений авторов XIX в. пропущены в словарях случайно (а это вполне возможно при выборочной обработке текстов, принятой в картотеках), какие из них не должны входить в современные толковые словари. Естественно, что в современные словари не включены многие слова, поскольку при отборе слов имеются определенные ограничения. Так, например, В. И. Чернышев при подготовке Академического словаря современного русского литературного языка писал: «Вносимые нами в Словарь слова получают значение общепринятых, необходимых, рекомендованных к употреблению, не внесенные — остаются на положении слов устарелых или редких, употребляемых в специальных нуждах, в особых стилях речи, не относящихся к общему широкому словарному обороту» [8].

До настоящего времени, пока нет полной фиксации лексических единиц, встречающихся в произведениях авторов XIX в. и современных, вопрос о критериях широкой употребительности слова является весьма неопределенным [2, с. 183]. В связи с этим встает также вопрос об окказиональных словах, индивидуально-авторских образованиях. На индивидуально-авторские образования обращают внимание обычно при изучении современного языка [9—11]. При исследовании словарного состава предшествующих эпох они рассматриваются в связи со словообразовательными процессами и новообразованиями того времени [12—15].

Следует отметить, что при рассмотрении редких слов в произведениях авторов XIX в. необходимо учитывать их фиксацию в более ранних словарях, использование их в языке современных авторов, а также возможность развития у них других значений.

3. В данной статье представлены некоторые результаты работы по анализу материалов полных словарей авторов XIX в., словников и словоуказателей к произведениям, сопоставленных с современными толковыми словарями. Были проанализированы: [3—5], Словник Некрасова, Словник Боратынского, Словоуказатель к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Кроме того, с помощью ЭВМ были получены словоуказатели к повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», к книге П. А. Вяземского «Лирика», к статье В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», к повести В. Г. Короленко «В дурном обществе». Эти разные по объему, по временной принадлежности произведения объединяются тем, что они представляют русскую литературу XIX в., русский литературный язык того времени. Все эти словари, словники, словоуказатели сверены со Сводным словником словарей современного русского языка,

составленным в Словарном секторе<sup>1</sup>. Это позволило выявить лексику, не зафиксированную в современных словарях. Таких слов оказалось не так мало. На первые три буквы алфавита (А, Б, В) их 340, по всем буквам — более 2000.

Слова, не зафиксированные современными словарями (на основе которых составлен Сводный словник словарей), были сопоставлены со словарями XIX в. [25—30], включая и «Словарь русских народных говоров» [29]. В результате такого сопоставления выделились две группы: слова, зафиксированные в вышеуказанных словарях, и слова, отсутствующие в словарях. Из 340 слов (на буквы А, Б, В), не вошедших в современные словари, 127 слов зафиксированы в словарях XIX в., а также в «Словаре русских народных говоров». Большая же часть — 213 слов — не вошло ни в какие из обследованных словарей (XIX в. или современные).

4. В языке XIX в. очень активно шли процессы суффиксального словообразования [12], особенно среди имен существительных и прилагательных. Из числа редких слов можно выделить различные по образованию лексические единицы, представленные иногда целыми группами, а чаще — отдельными словами, поскольку многие из подобных слов вошли в словари. Можно выделить имена существительные отвлеченные с суффиксами *-ость*, *-ие*, *-ние*, *-ство*, образованные от разных основ: *амбиционность*, *благоговейность*, *водевильность* (Чернышевский), *безнравие*, *безнравствие*, *братование*, *возпоможение* (Пушкин), *безъязычие* (Некрасов), *бессильность*, *возвратность* (Л. Толстой), *беспределье*, *вихревращение* (Боратынский), *безмыслие* (Боратынский, Некрасов), *вальсирование* (Чернышевский), *балаганство*, *баладенство* (Некрасов). Некоторые из таких слов включены в словари XIX в.: *безыменность* (Белинский [26]), *вкусность* (Чернышевский, [25, 26, 28]), *благоприличие* (Пушкин, [26, 28]), *буесловие* (Некрасов, [25, 26, 28]), *болтовство* (Боратынский, [26, 28]) *воспитывание*, *вставление* (Л. Толстой, [25, 26, 28]).

Интересна судьба слова *вкусность* (Чернышевский). Образованное с отклонением от словообразовательной модели [9, с. 181], оно тем не менее зафиксировано словарями XIX в. [25, 26, 28]. В современном языке оно встречается у ряда авторов и употребляется как отвлеченное существительное со значением «свойств вкусного». При этом иногда оно закрывается в кавычки. Это свидетельствует о том, что слово не вошло во всеобщее употребление, ощущается его необычность. В других случаях оно встречается без кавычек. Вот пример: «Не знаю, можно ли говорить об особенной вкусности сырых грибов — дело любительское. Рыжики-то мы едим — они вкусны» (В. А. Солоухин, Третья охота). Ср. переносное употребление: «/Дольников/ не понял всю политическую вкусность порученной ему работы» (А. Фадеев, Повесть о нашей юности).

Слово *вкусность* употребляется в современном языке и в другом значении: «что-либо вкусное». В этом случае оно имеет форму множественного числа, возможно, по аналогии со словом *сладости*: «Моя Сима, как и дочка Анны Михайловны, тоже любила возиться на кухне, любила похвастаться „разными вкусностями“ собственноручного изготовления» (Е. Карпов, Не родись счастливым); «У меня в доме не звучат ни магнитофон, ни радиола, нет ни особых гостей, ни особых вкусностей, а есть труд, режим, доверие друг к другу, и еще дисциплина» (Лит. газета, 1977, 17 авг.).

В картотеке Словарного сектора находим примеры употребления и некоторых других редких слов этого типа (из числа выявленных нами) в произведениях авторов XIX в., например: *балаганство* (Некрасов, ср. также у Добролюбова: «„Современник“ сам имеет при себе „Свисток“

<sup>1</sup> Сводный словник словарей представляет собой перечень слов, включенных в словари современного русского языка, с указанием при каждом слове, в каком из словарей оно имеется. Сводный словник составлен на основе 9 наиболее значительных словарей [16—24].

следовательно, не может скандализоваться свистом Кудряша и вообще должен быть наклонен ко всякому балаганству» (Добролюбов, Луч света в темном царстве); *благоприличие* (Пушкин, ср. также у Гоголя: «Полный недоверия, он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное» (Гоголь, Мертвые души); *вставление* (Л. Толстой).

Имена прилагательные на *-ный, -ский* представлены небольшим количеством слов: *арнаутский, ассессорский, благовецный* (Пушкин), *аскетичный* (Чернышевский), *барщинский* (Л. Толстой), *безгербовный* (Белинский), *благовестительный* (Вяземский), из них лишь *ассессорский* (Пушкин), *барщинский* (Л. Толстой) зафиксированы в словарях; *ассессорский* — [25, 26, 28], *барщинский* [28, 29].

Прилагательные с суффиксом *-енн-*: *басменный* (Мамин-Сибиряк, [26, 28]), *битвенный* (Гоголь [25, 26, 28]) представлены в словарях XIX в. Слово *басменный* не является широкоупотребительным. Оно используется в произведениях, где речь идет о древнерусском искусстве. Басменные изделия — это древнерусские изделия с оттиснутыми изображениями или фигурками, главным образом золотые или серебряные для украшения церковных книг, икон, крестов. Это слово употребляется в современной специальной литературе, связанной с описанием таких изделий, а также в специальных словарях и энциклопедиях. Именно это и явилось причиной его отсутствия в толковых словарях.

Немногочисленна группа притяжательных прилагательных, которые почти все зафиксированы в словарях XIX в.: *баронов* (Пушкин [26, 28]), *бесов* (Пушкин [25, 26, 28, 29]), *богородицын* (Пушкин [25, 26, 28]). Лишь слово *вакхов* (Вяземский, Боратынский) не вошло ни в словари XIX в., ни в современные.

Более многочисленную группу прилагательных на *-ный* представляют собой слова с приставкой *без-, бес-*: *безгербовный* (Белинский), *беззнойный* (Вяземский), *безмундирный, бестемпераментный* (Пушкин), *безужинный* (Боратынский), *безмесячный* (Пушкин, Некрасов), *бескаретный, бесшапочный* (Некрасов), *бессумрачный, бесшоссейный* (Л. Толстой). В словарях XIX в. имеются: *безженный* (Гоголь [25, 26, 28]), *безнаградный, бесчиловый* (Боратынский, [28]), *бесплемянный* (Некрасов, [28]), *беспонятный* (Пушкин [28, 29]).

Одни прилагательные употребляются в прямом значении, ср.: *беззнойный* у Н. А. Вяземского: «Я Петербург люблю, с его красною стройной, С блестящим поясом роскошных островов, С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной, И с свежей зеленью молодых его садов» («Разговор 7 апреля 1832 г.»). Другие слова употребляются образно — переносно, например, у Белинского — *безгербовный* «не имеющий герба, а потому незнатный»: «Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль, но за нее-то и нападает на литературу безгербовная аристократия» («Взгляд на русскую литературу 1847 г.»).

Довольно большую группу среди рассматриваемых слов составляют глаголы разных типов образования. Одни из них не зафиксированы ни в словарях XIX в., ни в современных, например: *арендатарствоовать* (Гоголь), *аристократичествоовать, байроничать* (Пушкин), *воздорожать* (Чернышевский), *воскорбить, восстонать* (Боратынский), *воссмеяться, всеукрашать* (Некрасов) и др. Другие слова имеются в словарях XIX в., *басурманить* (Мамин-Сибиряк [28, 29]), *блзнить* (Пушкин [25, 26 — с пометой церк., 27, 28, 29]), *возлежать* (Некрасов, 26), *врюжаться* (Чернышевский [27, 28, 29]), *вспылать* (Боратынский, Пушкин — [25, 26, 28]), *взбуровиться* (Л. Толстой [28]), *восхвалиться* (Л. Толстой [26, 28]) и др.

Значительную группу составляют наречия на *-о, -ски* и других типов образования. Среди них лишь *благодатно* (Некрасов, Боратынский), *буклично* (Чернышевский), *возбудительно* (Л. Толстой), *вдиковинку, вдобобие, воперечь* (Некрасов, Л. Толстой) не отмечены в словарях XIX в., большая же часть зафиксирована словарями XIX в.: *апостольски* (Некра-

сов [26]), *аристократически* (Пушкин [26]), *безотходно* (Л. Толстой [25, 26]), *благоправно* (Боратынский — [25, 26]), *благообразно* (Л. Толстой [25, 26]), *благочестиво* (Мамин-Сибиряк [25, 26]), *блудно* (Пушкин [25, 26]), *богобоязливо* (Мамин-Сибиряк [26]), *богобоязненно* (Л. Толстой [25, 26]), *богомольно* (Пушкин [26]), *боязненно* (Пушкин [25, 26, 29]), *бурливо* (Пушкин, [25, 26]), *впереди* (Пушкин [26 — церк., 28]), *этай* (Некрасов [25, 26, 28, 29]).

Среди редких слов имеются устарелые служебные слова, все они зафиксированы словарями XIX в.: *абие* (Некрасов — [25, 26 — церк.]), *аже* (Пушкин, [26 — стар.], [28 — стар.]), *бо* — (Пушкин, Л. Толстой [25, 26, 28, 29, 30]).

В наших материалах довольно большую группу составляют сложные слова разных типов образования.

а) Сложные прилагательные и наречия с опорным компонентом, равным самостоятельному слову. Обычно они имеют дефисные написания. Это группа прилагательных с сочинительным и подчинительным отношением основ: *ангельски-незлобный*, *благородно-открытый*, *болезненно-бледный* (Некрасов), *бессознательно-радостный* (Л. Толстой), *алмазно-блестящий*, *беззаботно-усталый* (Л. Толстой), *беспечно-задорный*, *беспокойно-внимательный* (Короленко), *бесстыдно-бледный*, *вольно-вдохновенный* (Пушкин), *внимательно-тревожный* (Мамин-Сибиряк), *благородно-открытый* (Боратынский), *величественно-мрачный* (Вяземский, Чернышевский) и др.

Этот способ образования прилагательных широко распространен в русском языке, особенно в художественной литературе [31]. Возможности сочетания первой части прилагательного с другими прилагательными чрезвычайно разнообразны и зависят не только от определенного способа образования в языке, но и от авторской индивидуальности, от манеры того или иного автора. Так, можно привести много примеров прилагательных с первой частью: *ангельски-*, *беспечно-*, *беспокойно-*, *величественно-*. В картотеке Словарного сектора зафиксированы, например: *ангельски-преданный* (Терпигорев), *ангельски-прекрасный* (М. Горький), *беспечно-преданный* (Салтыков-Щедрин), *беспечно-перебегающий* (Гончаров), *беспечно-спокойный* (Гоголь), *беспечно-веселый* (Потапенко); *величественно-угрюмый* (Л. Андреев), *величественно-тихий* (Жуковский), *величественно-ступенная идея* (Гоголь), *величественно-прекрасный эпос* (Луначарский), *величественно-милый* (Вяземский), *величественно-наглый лакей* (Куприн), *величественно-крутой подъем* (Сергеев-Ценский), *величественно-декоративный вид* (Арсеньев), *величественно-горный* (Бабаевский).

Думается, что это не исчерпывающий перечень. По-видимому, есть определенные закономерности сочетания первой и второй части прилагательного, и они связаны с семантикой той и другой части слова. Если прилагательные с первой частью слова *ангельски-* можно истолковать как «преданный, красивый как ангел», то некоторые другие прилагательные не всегда поддаются определению. В «Словаре языка Пушкина», например, такие слова в ряде случаев даются без толкования, ср.: *бесстыдно-бледный*, *бесчувственно-покорный*.

В современных толковых словарях русского языка подобные образования включаются в словарную статью на первую часть сложного слова [17] или не включаются вообще [16, 18, 24]. Некоторые из них в современном языке пишутся раздельно. Эта группа слов дает большое количество индивидуально-авторских образований.

б) Значительную группу слов составляют сложные слова с первой частью *анти-*, *бело-*, *благо-*, *бледно-*, *бурно-*, *быстро-*, *велико-*, *все-*, *высоко-*. Это имена существительные и прилагательные: *анти-драматический* (Пушкин), *антипоэтический* (Белинский), *антифранцузский* (Л. Толстой), *античеловечный* (Некрасов), *белобочка*, *белоглавый*, *белоглазый* (Пушкин), *белокудрый* (Некрасов), *белорусый* (Мамин-Сибиряк), *бледно-*

листый (Некрасов), бурнополодный (Боратынский), быстро-окий (Пушкин), быстро-приятный (Л. Толстой), всеозаряющий (Боратынский), высокомогучий (Гоголь), высокоочуеный (Белинский), высокоподнятый, высокоподжнутый (Л. Толстой).

В современных толковых словарях, как правило, первые части таких слов помещаются самостоятельной словарной статьей, указывается значение этой части слова. Некоторые наиболее употребительные слова выделяются в самостоятельную словарную статью. Естественно, что многие сложные слова в современные словари не входят, особенно такие, которые представляют собой индивидуально-авторские образования. Иногда в словарях помещается исходное слово и производное, образованное непосредственно от этого исходного слова. Слово же, которое дает начало образованию других, иногда в словарях отсутствует. Ср., например, *белобокий* [16, 17, 18, 21, 22], *белобочка* [20, 22, 23]. Естественно предположить, что существует слово *белобочка*, хотя в словарях его нет. Оно действительно существует, являясь постоянным эпитетом сороки. Ср. у Пушкина: «Стрелкотунья белобочка Под калиткою моей Скачет пестрая сорока и Пророчит мне гостей».

5. Как видим, среди редких слов представлены слова разных лексикограмматических разрядов. В их числе много устарелых слов, старославянизмов и древнерусизмов.

Современному читателю многие из этих слов непонятны; но поскольку в словарях их нет, а словари XIX в. стали библиографической редкостью, при издании книг классиков XIX в., особенно предназначенных для детей, не всегда находим комментарии к таким словам.

Некоторые устаревшие слова, не отмеченные в словарях, используются в языке XIX в. в поэзии, придавая ей возвышенность, например: *великосердый* (Пушкин), *возлеять* (Некрасов), *вспылать* (Боратынский, Пушкин) и др., причем употребляются иногда не в одном, а в нескольких значениях. Многозначным словом оказалось *вспылать*, оно употребляется в нескольких значениях<sup>2</sup>. Слово *вспылать* обозначает «загореться, запылать»: «И был отец он Ганнибала, Пред ним средь чесменских пучин Громада кораблей вспылала, И пал впервые Наварин» (Пушкин, *Моя родословная*); «/Дворецкий:/ В твою опочивальню Проникла с треском молния — и разом Дворец вспылал» (А. К. Толстой, *Смерть Иоанна Грозного*).

Слово *вспылать* употребляется переносно, в значении «прийти в возбужденное состояние от чего-нибудь, вспыхнуть»; например «Руслан вспылал, вздрогнул от гнева» (Пушкин, *Руслан и Людмила*). В этом значении в произведениях авторов XIX в. оно употреблялось с управлением: *вспылать* (чем). Вот пример: «Какой-то недобрый дух качал колыбель ее /красавицы/: Оделася тьмой она, вспылала причудю, закралоса в сердце к ней Лукавство лукавого» (Боратынский, *Лазурные очи*).

Еще одно значение слова *вспылать* «начать светиться (от восхода солнца)», например: «Восток вспылал... Она склонилась, Блестящая поникла выя — И по младенческим ланитам Струились капли огневые» (Тютчев, *Восток белел... Ладыя катилась*).

Некоторые устаревшие слова встречаются не в той форме, в какой они помещены в современных словарях. Так, у П. А. Вяземского имеется слово *дуломан*. В современных толковых словарях оно дается только в форме *долман*. В повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» находим слово *габа*, зафиксированное в [17, 25] в форме *аба* «турецкое белое сукно».

Среди редких слов довольно большую группу составляют областные слова. Известно, что русские писатели XIX в. часто использовали лексику народной речи. У каждого из авторов находим немало областных слов, передающих колорит народной речи. Некоторые из них зафиксированы

<sup>2</sup> Кроме цитат Пушкина и Боратынского, используются также материалы карто- теки Словарного сектора.

в [27, 29, 30] в тех значениях, в которых они употреблены у писателей XIX в. Так, например, у Н. А. Некрасова находим — *баенка*, *беседушка* (также у Л. Толстого), *богатель*, *богатина*, *богомоллица*, *бородуля*, *важесватый*, *вдиво* ([29] — *вдиве*), *вповал*, у Д. Н. Мамина-Сибиряка — *апайка*, *бачка*, *болесть*, *бритоус*, *бус* «мучная пыль», у Н. В. Гоголя — *байрак*, *бейбас* (в [29] — *бейбус*), *броварь*, *будяк*, *вытребеньки*, у В. Г. Короленко — *бутарь*, у Пушкина — *братоваться*, *верюшка*, *выдрочить*, у Чернышевского — *врюхаться*, у Л. Толстого — *болезновать*, *бурдастый*, *взбуровиться* и др.

Как правило, эти слова используются в стилистических целях, но иногда и в нейтральном контексте. Так, слово *бутарь* употреблено трижды В. Г. Короленко в повести «В дурном обществе». Слово *бутарь*, обозначающее «будочник, полицейский, наблюдавший за порядком на улице у караульной будки», употреблялось наряду с *будочник*. Встречаем его у Помяловского, М. Горького, а в форме *бутырь* — у Писемского. Вот примеры: «/Поречна/ составляла квартал города, имела полицейского офицера, городского, хожалых и бутарей» (Помяловский, Поречане); «/Маленький замызганный солдатик/ посоветовал приложить к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне: „Я бутаря пришлю — он расстарается, это его дело!“» (М. Горький, Зрители); «Нагрянули к нам квартальный и человек десять бутырей» (Писемский, Масоны).

Есть в картотеке и областные материалы, подтверждающие употребление этого слова в говорах. Все это свидетельствует о том, что слово *бутарь* было на границе просторечия и диалектной речи. Ни в одном из словарей — современных или XIX в. — оно не зафиксировано.

6. Как можно видеть, слова, не зафиксированные в современных словарях, но употребляемые в произведениях русской классической литературы XIX в., являются очень разными. Причины, по которым они не вошли в словари современного русского языка, тоже различны. Так, например, слово *аробщик*, отмеченное у А. С. Пушкина, может быть употреблено лишь при описании тех мест, где используется арба как вид транспорта. Вот примеры современных авторов: «Арбы остановились около дома Маргариты. Аробщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар» (Паустовский, Бросок на юг); «Его окликнул аробщик, тому не терпелось скорее уехать» (Холопов, Гренада).

В [28] отмечены образования с другими суффиксами: *арбовщик*, *арбишник*, но примеров употребления их нет ни в языке XIX в., ни в современном.

Как литературоведческий термин используется в современном языке слово *библейзм* (Пушкин). Вот пример современного автора: «Исаака Бабеля часто упрекали в красивости, в романтичности и в библейзме» (В. Шкловский, Друзья и встречи. О Бабеле).

Редко употребляются слова с суффиксами субъективной оценки, например, *бакенбардочки* (Л. Толстой), *богомолочка* (Некрасов), *вакханочка* (Пушкин), *взятчонка* (Некрасов), поскольку все они стилистически не нейтральны и употребление их оправдано в стилистически мотивированной речи.

Не являются индивидуально-авторскими образованиями и такие слова, как *арнаутский* (Пушкин), *восьмидесятитысячный* (Л. Толстой), *восьмипудовый* (Мамин-Сибиряк), *вакхов* (Вяземский, Боратынский), *благодатно* (Боратынский, Некрасов), *буколически* (Чернышевский). Все они образованы по моделям, существовавшим в XIX в., имеющимся и в современном языке, а редкое их употребление связано с разными причинами, которые необходимо рассматривать в связи с каждым отдельным словом.

Одной из основных причин того, что редкие слова не вошли в современные словари, является отсутствие полной обработки текстов. Подавляющее большинство из них употреблено в текстах по одному разу. Нередко

контекст, в котором встречается такое слово, не представляется достаточно удобным для выборки, поэтому зачастую оно не попадает в картотеку. Это не позволяет учесть всю лексику произведений и установить объективные критерии включения или исключения тех или иных слов в словарь. В настоящее время в связи с использованием ЭВМ появилась возможность производить полную обработку текстов. На основе уже имеющихся словарей, словников, словоуказателей представляется целесообразным составить словарь, в который войдут слова из произведений русской классической литературы, не учтенные современными толковыми словарями. Необходимость такого словаря диктуется следующими причинами:

1) Значимостью произведений русской классической литературы и необходимостью учета всего лексического состава классических произведений авторов XIX в.

2) Необходимостью комментирования довольно большого количества устаревших слов при издании классической литературы, особенно для учащихся средней школы, поскольку пока еще нет словаря языка XIX в. и в ближайшее время появления его трудно ожидать. Словарей языка отдельных авторов, кроме «Словаря языка Пушкина», тоже нет.

3) Не учтенные в классических произведениях русской литературы XIX в. слова представляют собой резерв, из которого может черпаться лексика при новых изданиях толковых словарей русского языка.

4) Словарь редких слов даст материалы для того, чтобы отделить узусальное от индивидуально-авторского в лексике, даст больше материалов для оценки всех редкоупотребительных слов [32].

5) Этот словарь может быть использован в качестве материалов к словарю языка XIX в. Словари редких слов могут составляться по мере накопления словоуказателей, получаемых с помощью ЭВМ.

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость полной обработки текстов наиболее значительных произведений русской классической литературы XIX в.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* Основные этапы истории русского языка.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 53.
2. *Филин Ф. П.* О новом толковом словаре русского языка.— ИАН ОЛЯ, 1963, № 3.
3. Словарь языка Пушкина. Т. I—IV. М., 1956—1961.
4. *Генкель М. А.* Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Пермь, 1974.
5. Частотный словарь романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Тула, 1978.
6. *Вертель В. А., Вертель Е. В., Рогожникова Р. П.* К вопросу об автоматизации лексикографических работ.— ВЯ, 1978, № 2.
7. *Рогожникова Р. П., Чернышева Л. В.* Об автоматизации в лексикографии.— Алгоритмы и системы автоматизации исследований и проектирования. М., 1980.
8. *Чернышев В. И.* Принципы построения Академического словаря современного русского литературного языка.— В кн.: *Чернышев В. И.* Избранные труды. Т. I. М., 1970, с. 345.
9. *Фельдман Н. И.* Окказиональные слова и лексикография.— ВЯ, 1957, № 4.
10. *Лыков А. Г.* Окказиональные слова как лексическая единица речи.— ФН, 1971, № 5.
11. *Чиркова Е. К.* О критериях ограничения окказиональных слов от новых слов литературного языка.— В кн.: Современная русская лексикография. Л., 1975, с. 91—100.
12. *Хохлачева В. Н.* Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX в. (Имена существительные).— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. V. М., 1962, с. 166—182.
13. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. М., 1964.
14. *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972.
15. *Мальцева И. М., Молотков А. И., Петрова З. М.* Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975.

16. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. I—IV. М., 1935—1940.
17. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.—Л., 1950—1965.
18. Словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1957—1961.
19. Словарь иностранных слов. М., 1964.
20. Новые слова и значения. Под ред. Котеловой Н. З., Сорокина Ю. С. М., 1971.
21. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 11-е изд. М., 1975.
22. Орфографический словарь русского языка. М., 1974.
23. БСЭ. Т. 1—30. М., 1969—1978.
24. Словарь иностранных слов. 7-е изд. М., 1979.
25. Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. Ч. 1—6. СПб., 1806—1822.
26. Словарь церковно-славянского и русского языка. Т. 1—4. СПб., 1847.
27. Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
28. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. Т. I—IV. СПб., 1904.
29. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—16. М.—Л., 1965 и сл. (продолжающееся издание).
30. Дополнение к Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1858.
31. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 318—319.
32. Костинский Ю. М. К оценке и возможной активизации лексического потенциала языка (о его сосредоточении и использовании главным образом в экспрессивно-художественных целях).— В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977, с. 124—125.

ЧАНТУРИШВИЛИ Д. С.

## СИСТЕМА ПАДЕЖЕЙ, ДОМИНАЦИЯ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ И ДИСТРИБУЦИЯ ВИНТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(с типологическими экскурсами в грузинский язык)

Вопрос о системе падежей решается в зависимости от того, какое количество и какие падежи признаются в языке, точнее — в той или иной грамматической концепции. В этом смысле в русском языке друг другу можно противопоставить традиционную шестипадежную систему, принятую в настоящей работе (ибо она выдержала испытание временем и оказалась достаточной для описания «внешнего строения словоформ» русского языка [1, с. 54]), и системы падежей, представленные в грамматической литературе прошлого и нынешнего столетий. «Сколько именно... падежей в современном русском или другом языке, — писал А. А. Потебня, — это вопрос не из тех, которые можно предлагать детям в школе, так как и сами ученые в этом между собою не согласны» [2, с. 64].

Грузинский язык не составляет исключения: одно направление, признающее и звательный, и послеложные падежи, насчитывает десять падежей [3, с. 44—46, 73—76]; другое отказывает звательной форме в статусе падежа, считает, что послеложные падежи не могут быть рассмотрены наравне с беспослеложными, и насчитывает шесть падежей [4, с. 035—037; 5, с. 135, 158—159, 162].

Система падежей — это принятая в языке исторически сложившаяся определенная последовательность определенного количества падежей. В русском эта последовательность восходит к греко-латинской традиции и, будучи устойчивой, не является обязательной. В грузинском им., повеств. и дат. падежи предшествуют остальным, во-первых, потому, что это — падежи подлежащего, а во-вторых, в этих падежах основа не сжимается. Не сжимается она и в так называемом звательном падеже, но традиционно замыкает перечень падежей, возглавляемый во всех языках исходным именительным падежом, которым имя существительное представлено в словарях как лексема.

Система падежей — основа парадигмы, однако парадигму образует не сама система падежей (которой, разумеется, не существует без парадигмы), а определенная система падежных окончаний (флексий), которые в своей совокупности составляют комплексную морфему [6, с. 399] и представляют парадигму данного слова, причем отдельные элементы (морфы) комплексной морфемы или вся она могут быть нулевыми.

Система падежей относится к парадигме, как модель к ее наполнению. Система падежей — величина постоянная, постоянная не только в синхронном плане, но и на диахронической оси (разве только морфологический местный падеж стал «неморфологическим» предложным, а звательная форма свою функцию передала именительному падежу), а парадигма, материально выражающая систему падежей, — величина переменная, и комплексные морфемы исторически претерпели серьезные изменения.

Специфику русской (и вообще индоевропейской) системы падежей составляет вин. падеж, грузинской (и вообще иберийско-кавказской) —

повеств. падеж, одноименность же других (не всех) падежей — явление чисто номинальное, ибо это — две существенно разные системы.

Комплексная морфема репрезентирует систему падежей в виде «парадигматического столбца падежей» [7], однако система падежей и парадигматический столбец падежей не одно и то же: в системе падежей имеем нерасчлененный вин. падеж, в парадигматическом же столбце — ту или иную разновидность этого падежа. В связи с этим уместно вспомнить мнение В. М. Солнцева о том, что морфологическая парадигма — это «отношение замещения», когда разные формы слова замещают друг друга «в условиях дополнительной дистрибуции» [8]. В нашем понимании парадигматический столбец падежей — это падежная система, то есть система падежей с расчлененным вин. падежом.

Разница между системой падежей и парадигмой, между прочем, заключается и в том, что парадигма может быть ущербной, дефектной и может быть представлена одной словоформой, тогда как понятия ущербной или дефектной системы падежей не существует, как не существует понятия нулевой системы падежей при наличии нулевой парадигмы, нулевого склонения.

Комплексная морфема конструирует парадигматику, группируя слова в те или иные типы склонения в зависимости от структуры основы и характера выражения падежных показателей в сочетании с явлениями на «длине парадигмы»: альтернативой, супплетивизмом основ и корней и таким важным морфонологическим средством, как ударение, роль которого в грузинской парадигматике, к стати сказать, равняется нулю. Именно от выражения комплексной морфемы зависит наличие форм ед. и мн. числа, уникальных, омонимичных и нулевых окончаний и т. д.

Таким образом, комплексная морфема является фундаментальным понятием парадигматики. В связи с этим особо важное значение приобретает четкая дефиниция и однозначное понимание терминов «флексия» и «окончание». В. А. Богородицкий [9], Г. О. Винокур [6, с. 399], а в наше время — В. И. Кодухов [10], Г. Мачавариани и Г. Небиеридзе [11, с. 192—193] и др. в термин «флексия» вкладывают отличное от термина «окончание» содержание. Современные наиболее фундаментальные грамматики [12, с. 16; 13, с. 32; 14, с. 125] и справочная литература [15—17] ставят знак равенства между этими терминами. Назначение флексии состоит в том, что «...форма одного слова указывает на его непосредственную зависимость от формы другого слова (или от слова в целом) либо сама обуславливает форму другого слова...» [14, с. 457]. Следовательно, флексия (или, что то же, окончание) — строго лингвистический термин и указывает либо на падеж, либо на лицо, либо на род слов, которые и з м е н я ю т с я по этим категориям<sup>1</sup>. Поэтому, когда порой даже весьма авторитетные источники квалифицируют показатель инфинитива как флексийный морф или конечные *ь, й, ий, ей* в словах типа *тень, сарай, линий, лисий, статей* именуют окончаниями, то это только дезориентирует и не может быть оправдано никакими, хотя бы графическими или орфографическими, соображениями. Невзыскательное отношение к флексийному морфу может привести к неправильному членению словоформы при соблазнительном сходстве финали, скажем, в словах типа *мужей* (с окончанием *-ей*) от *мужи* и *мужей* (с нулевым окончанием) от *мужья* при общем им. п. ед. ч. *муж*.

Все многообразие парадигм русских существительных пользуется 15 различными флексиями в морфофонематической записи. Омонимия же (внутричисловая, межчисловая, межпарадигматическая) падежных флексий (как нулевых, так и материально выраженных) «...делает систему па-

<sup>1</sup> Г. О. Винокур в словах, лишенных флексивной гибкости, типа *зимой, торшо, шутя*, усматривает о к о н ч а н и я (а не суффиксы), которые «как бы вынуты из тех комплексов, к которым они принадлежат», и относит их к словам с изолированной комплексной морфемой» [6, с. 412].

дежных форм в целом, с одной стороны, очень экономной, а с другой — недостаточной...» [14, с. 475]. Недостаточной, во-первых, в чисто методическом плане, создавая трудности определения падежа при грамматическом разборе, а во-вторых, делая вообще невозможным определение падежа в случаях типа *Видно село* (ср. *Видна река*) и *Видно село* (ср. *Видно реку*) [18].

То, что ни одна парадигма не различает всех шести падежей — это признак, характеризующий русские именные парадигмы и давший основание Р. О. Якобсону представить пяти-, четырех-, трех- и двенадцатые системы с разновидностями, по которым можно распределить все имена и местоимения русского языка [19]. Речь идет именно о падежных системах, т. е. о парадигмах, а не о системе падежей, которая во всех случаях остается постоянной величиной.

Лингвистическую сущность комплексной морфемы определяет морфологический тип языка. Поэтому комплексная морфема рисует принципиально разную картину в русском языке с фузийным характером аффиксации в нем, когда основа, как правило, меняется, аффикс (и прежде всего — флексия) «сплавлен» с корнем, когда он (аффикс) нестандартен, на письме нередко завуалирован и может быть представлен в виде нулевого морфа, и в грузинском языке с агглютинативным характером аффиксации в нем, с его стандартным и однозначным аффиксом и с явлениями сжатия и усекновения основы. Следствием этих особенностей является большое разнообразие парадигм склонения в русском языке и наличие в сущности одной системы склонения для всех имен в грузинском. Отсюда высокая продуктивность в грузинском языке так называемой монофлексии — явления, когда падежный показатель имеет не каждый компонент словосочетания, а только доминанта, тогда как в отдельном употреблении каждый компонент склоняется нормально, например, *supia otaxi* «чистая комната» [20]. Таким образом, в грузинском языке может склоняться и, следовательно, иметь комплексную морфему не только слово, но также и словосочетание и целое предложение. Это — особенность не только грузинского, но и вообще иберийско-кавказских языков, в которых «согласование между определяющим и определяемым ограничено иногда в большей степени, иногда — в меньшей, а иногда определяющее слово остается без изменения, то есть вовсе не видно синтаксической зависимости» [5, с. 189; перевод наш. — Ч. Д.]. Монофлексию находим и в русском языке, однако не столько на уровне нормы, как в грузинском, сколько в разговорной стихии, и, скорее всего, как результат действия закона экономии речевых усилий. Имеются в виду сочетания типа *товарищ Ивановой*, где «оба компонента... как бы сливаются в едином комплексе: слово „товарищ“ здесь не склоняется и окончание *-ой* относится, таким образом, ко всему комплексу». Так же в оборотах типа с *князь Иваном* [21, с. 127].

Комплексная морфема различает либо систему падежей субстантивов и адъективов, либо систему родовых форм, либо систему личных форм финитной формы глагола. Системы эти создают определенную иерархию с точки зрения доминации (т. е. господства/подчиненности). Господствующую систему назовем «системой-доминантой», зависимую — «системой-депендентом» и тогда получим: система падежей субстантивов является депендентом по отношению к формам, требующим падежных форм субстантивов, и доминантой по отношению к формам, которые требует субстантив. При этом в позиции доминанты или депендента выступает не система падежей как таковая, а падежная система, которую комплексная морфема представляет как парадигму конкретного слова, или, что то же самое, система падежей с дистрибуцией вин. падежа. Вот эту бинарную систему, где система падежей (или, точнее, падежная система) занимает позицию доминанты или депендента в зависимости от характера партнерства между компонентами бинарной системы, будем называть с е к т о р о м р е а-

л и з а ц и и п а д е ж е й <sup>2</sup>. Именно в секторе реализации падежей, воплощающем синтагматические отношения, реализуется главная — коммуникативная — функция языка. Именно здесь мы постоянно имеем дело со словоформой, в которой перекрещиваются парадигматическая и синтагматическая оси лексемы [22, с. 20]. Это те синтагматические единства, которые являются «результатом двоякого рода сближений — ассоциативных и синтагматических», та совокупность, которая «составляет язык и определяет его функционирование» [23]. С сектором реализации падежей связано то, что И. И. Ревзин именует падежеобразующим контекстом [24], в сущности идея сектора реализации падежей лежит в основе «согласовательных классов» А. А. Зализняка [1, с. 62—82].

Нетрудно видеть, что представленная выше иерархия систем падежей зиждется на способности категории падежа в имени выступать как управляющей, так и управляемой категорией. На этом основании О. Г. Ревзина допускает возможность выделения единой суперкатегории, включающей класс управления глагола и падеж имени. «Эта категория по своему устройству была бы аналогична категории рода в том отношении, что для глагола она была бы классифицирующей, имеющей показатель в управляемом слове, а для имени — словоизменяющей, указывающей на класс управления глагола точно так же, как простая категория рода в прилагательном указывает на род существительного» [25].

В секторе реализации падежей получает свою реальность так называемое нулевое склонение, когда «все... „падежи“ звучат одинаково» и когда «синтаксическое тождество» между словами типа *кенгуру* и *село* «...приобретает свое действительное значение только после указания на то, что это синтаксическое тождество в данном случае имеет под собой морфологически дифференцированную основу» [6, с. 416]. В этой же системе реализуется такое важное синтаксическое явление, как субстантивация.

От нулевой флексии и нулевого склонения, т. е. от значимого отсутствия формальных показателей, надо отличать случаи, когда в «наборе клеток», как иногда называют парадигматический столбец падежей, пустует одна клетка и более: *мга*, *пыльца*, *казна*, *полюмя*, *щец*, *дровец* и др. Понимание падежной словоформы позволяет здесь признать парадигму, хотя и ущербную.

В грузинском нет и не может быть несклоняемых существительных, но есть дефект-парадигма, представленная словом *γvtis* в выражениях типа *γvtis gulisatu is* «бога ради», *γvtis cgalobit* «божьей милостью», где это слово, восходящее к титлованному в древней письменности слову *γmert* «бог», вполне отчетливо сознается как форма род. пад., но не имеет никаких других форм, если не учитывать диалектного *γvtit dakluli* «без ножа, без крови мертвый», букв. «богом заколотый» и наречия *γvtit* «божьей милостью», где в обоих случаях имеем форму твор. пад.

Шестипадежная система не отражает всего многообразия форм русских имен. В нее, например, не укладываются формы так называемых второго родительного и второго предложного, не говоря уже о таком употреблении вин. пад., как *Чин ч и н а почитай, сапог — с а п о г а, забрали в с о л д а т ы* и т. д. В отличие от вариантов типа *весной — весной*, эти формы не находят отражения в нормальных парадигмах, однако они есть, и с этим нельзя не считаться. Действительно, язык хотя и система, но в нем, как в особого рода системе, «...системность диалектически сочетается с антисистемностью, правила с исключениями. Не было бы в языковой системе противоречий, она была бы мертвой и застывшей схемой, не способной к развитию и прогрессу» [26].

<sup>2</sup> Может создаться впечатление, что система падежей адъективов является абсолютным деппендентом, не способным подчинять себе другие формы. Между тем сочетания типа *достойный кого-чего-н.*, *подвластный кому-чему-н.*, *гордый кем-чем-н.* свидетельствуют о наличии у адъективов этой способности, однако в предлагаемой иерархии падежных систем этот факт не мог найти отражения по той причине, что здесь связь слова с формами другого слова осуществляется не во всей системе его форм.

В отличие от указанных выше форм, нерегулярных или окказиональных, в именных парадигмах вин. падеж представлен тремя разновидностями, имеющими строго системный характер: каждая разновидность (обозначим их символами В, В-И и В-Р) имеет свой сектор реализации падежей, входит в свою падежную систему, они не взаимозамещаемы, а если та или другая лексема может иметь и В-И, и В-Р (*бактерия, микроб, кукуля* и под.), то это говорит не о взаимозамещаемости этих разновидностей, а об отнесенности слова к разным парадигмам. Таким образом, в парадигмах субстантивов вин. пад. ед. числа представлен следующими падежными системами: И, Р, Д, В, Т, П, или И, Р, Д, В-И, Т, П., или И, Р, Д, В-Р, Т, П; мн. числа: И, Р, Д, В-И, Т, П или И, Р, Д, В-Р, Т, П. В парадигмах адъективов вин. пад. ед. числа представлен всеми тремя разновидностями: И, Р, Д, В, В-И, В-Р, Т, П, мн. числа — двумя: И, Р, Д, В-И, Т, П или И, Р, Д, В-Р, Т, П. «Грамматический словарь» А. А. Зализняка (и только он!) дает основание для выделения еще одной четвертой разновидности вин. пад., предлагаемая слова типа *дом* и *на* (м. р.) в вин. (и только в этом!) падеже записывать с флексией *-о* [27, с. 74]. Нам такое решение вопроса представляется разумным, однако от этой разновидности вин. пад. пришлось отказаться ввиду того, что здесь литературной нормой признают форму на *-у* независимо от рода, вследствие чего и *эта домина*, и *этот домина* в вин. пад. имеют форму *эту домину* [14, с. 490].

Одна и та же падежная система может быть представлена разными комплексными морфемами: *дом, дерево, время, путь*. Более того, к этой же падежной системе отнесется, скажем, существительное *приданое*, имеющее субстантивную парадигму, но адъективное склонение.

Система-доминанта и система-депендент составляют макросектор реализации падежей, тогда как каждый сектор этих двух систем, являющийся не чем иным, как словосочетанием, представляет собой микросектор реализации падежа.

Дифференциация вин. пад. дает возможность выделить 20 секторов реализации падежей [без учета двух секторов, которые можно было бы выделить для 13 слов типа *домина* (м.р.) по А. А. Зализняку, обозначив эту разновидность символом Вин.1, мыслимых нами как бинарные системы, как некие модели, в которых реализуются все формы субстантивного и адъективного склонений в бесконечном множестве словосочетаний.

Ниже даются все 20 секторов сплошной нумерацией. При этом первые 8 секторов представлены в виде только систем падежей субстантивного склонения, ибо формы доминанты (глаголы и другие лексемы) здесь не могли быть отражены, в остальных же секторах слева от знака тире — система-доминанта, справа — система-депендент. Во всех случаях падежная система представлена только разновидностями вин. пад. Сектора распределяются следующим образом: 5 секторов для субстантивов с числовой корреляцией: 1. ед. В, мн. В-И: *стена, столовая*; 2. ед. В, мн. В-Р: *мужчина, девочка, больная*; 3. ед. В-И, мн. В-И: *дом, дерево, здание, санаторий, море, ливень, день, ружье, время, час, шаг, приданное*; 4. ед. В-Р, мн. В-Р: *мальчик, брат, сторож, зверь, герой, гений, подмастерье, он (она, оно), я, ты, больной*; 5. ед. В-И, мн. В-Р: *дитя, насекомое*; 3 сектора для субстантивов без числовой корреляции: 6. В: *листва, Алена, Вова, падучая*; 7. В-И: *свет, белье, ворота, бывшее*; 8. В-Р; *Алик, родители, родные, себя* (без И); 6 секторов для адъективов с числовой корреляцией: 9. ед. В—В, мн. В-И — В-И: *высокая стена, высокая столовая*; 10. ед. В—В, мн. В-Р—В-Р: *высокая девочка, эта больная*; 11. ед. В — В-Р, мн. В-Р — В-Р: *высокий мужчина*; 12. ед. В-И — В-И, мн. В-И — В-И: *высокий дом, высокое дерево, твердый согласный, богатое приданое*; 13. ед. В-И — В-И, мн. В-Р — В-Р: *высокое дитя, вредное насекомое*; 14. ед. В-Р — В-Р, мн. В-Р — В-Р: *высокий мальчик, этот больной*; 4 сектора для адъективов без числовой корреляции: 15. В — В: *зеленая*

листва; 16. В — В-Р: *маленький Вова*; 17. В-И — В-И: *дневной свет, свежее белье, высокие ворота*; 18. В-Р — В-Р: *маленький Алик, строгие родители*; 2 сектора для количественно-именных сочетаний (систему-доминанту возглавляет Р, а систему-депедент — И): 19. В-Р — В-И: *два часа, шарá, шагá; два, оба стола, дерева; две, обе тетради; пять столов, братьев; несколько, много студентов*, 20. В-Р — В-Р: *два, оба брата; две, обе сестры, несколько, много, пятеро студентов*.

Как видим, единая шестипадежная система русского языка предстает как система модифицированная, а вин. пад. с его разновидностями — как модификатор этой системы, что имеет принципиально важное значение для репрезентации русской именной парадигматики: в то время как в парадигме конкретного субстантива может быть представлена лишь одна разновидность вин. пад., в парадигме слов адъективного склонения будут представлены все разновидности этого падежа, что делает совершенно понятным, какая именно форма адъективного склонения относится к какой именно форме субстантивного склонения.

Слова типа *микроб* и сочетания типа *несколько студентов* могут попасть в разные сектора реализации падежей. В секторах без числовой корреляции не учитывается потенциальная возможность образования форм мн. числа, которое «...при необходимости все же может быть построено и будет правильно понято» [27, с. 5]. Акцентуационный тип *часá, шарá* может быть только в 19-м секторе, но стоит включиться в количественно-именное сочетание определению (*два первых часа, шара*) или стоит взять их в виде отдельных лексем, как они попадут в 3-й сектор.

Свою реальность так называемое «нулевое склонение» получает исключительно в секторе реализации падежей. Это своего рода субституция, в результате которой мы получаем не морфологическую форму падежа, а синтаксическую функцию слова: в сочетании *купил пальто пальто* может быть В-И ед. числа, если это идентично сочетанию *купил шубу*, и может быть В-И мн. числа, если это идентично сочетанию *купил шубы*, но если *пальто* попадает в 12-й сектор (*купил новое пальто*), то тогда *пальто* может быть только В-И ед. числа.

Едва ли не самой острой является проблема сущности доминанции между компонентами сектора реализации падежей. Здесь два кардинальных вопроса: во-первых, вопрос о доминанции в микросекторе с им. пад., т. е. в предикативном центре со структурной схемой  $N_1 - V_1$ , а во-вторых, вопрос о доминанции в остальных случаях, т. е. в словосочетании, причем обязательно бинарном. Второй вопрос решается в пользу признания здесь согласования и управления (примыкания мы не касаемся), причем в связи с последним возникает вопрос о том, что чем управляет: словоформа-доминанта (*хозяин*) словоформой-депедентом (*слугой*), если управление признается не только формальной, но и смысловой связью, или флексия-доминанта флексией-депедентом, если управление — исключительно формальная связь. Иными словами, как представить связь между *читаю* и *книгу*: в виде *чита-ю + книг-у* или *-ю + -у* [28]. Выдвинутая Б. Н. Головиным идея «морфологической синтагматики не мирится с пониманием структуры словосочетания как явления только синтаксического». Словосочетание «по своей языковой природе... в первую очередь морфологично, так как строится в результате реализации синтагматических свойств частей речи и их морфологических категорий»... «Морфологическая, а не синтаксическая сочетаемость слов лежит в основе грамматической структуры словосочетания, в основе его грамматической организации» [29]. То же мнение выражает «Русская грамматика» [30, с. 14].

Вопрос о доминанции в предикативном центре решается по-разному. 1) По традиционным представлениям им. пад. в функции подлежащего является формой господствующей, а сказуемое согласуется с ним в числе и лице и, стало быть, зависит от него. В свете этой концепции им. пад. субстантива является доминантой; 2) Согласование в лице между сказуе-

мым и подлежащим отрицается на том основании, что «существительное не имеет категории лица», однако связь между компонентами никак не квалифицируется [31]; 3) «Представление о „подчиненном“ падеже естественно распространить и на именительный падеж, хотя соответствующие словоформы обычно считаются ничему не подчиненными (заметим, впрочем, что в современных синтаксических описаниях широко распространён взгляд, согласно которому подлежащее подчинено сказуемому)» [1, с. 37, примеч. 3]. Мнение о второстепенности подлежащего не ново: оно было высказано 100 лет тому назад А. А. Дмитриевским [32] в темпераментном споре с Г. А. Миловидовым [33]. В свете такого понимания доминанции в предикативном центре им. пад. субстантива является депендентом; 4) Предикативная связь «не относится к числу подчинительных связей» [34], ни одна из форм предикативного центра не является ни господствующей, ни зависимой [13, с. 548, 30, с. 94]. Здесь мы имеем не субординацию, а координацию.

Но что такое координация? Одни считают, что это взаимообусловленная зависимость между сказуемым и подлежащим, но формально они друг от друга не зависят [35], другие понимают координацию как взаимосогласование в случаях (и только!) типа *я читаю, ты читаешь...* [36, 15], причем «трудно сказать, что с чем согласуется в подобных случаях — форма глагола с местоимением или наоборот» [37]. Наконец, третьи координацией именуют формальное уподобление, однако ограничиваются указанием на то, что между компонентами предикативной бинармы типа *Весна наступает* имеем координацию в формах числа, умалчивая о лице [13, с. 548; 30, с. 242].

Если управление не ограничивать исключительно требованием косвенного падежа субстантива и понимать его как такую связь, когда доминанта требует от депендента такой формы, какой она не имеет либо вообще (спрягаемая форма глагола, не имея падежа, требует его), либо в данном случае (субстантив в форме одного падежа требует субстантива в форме другого падежа), и если согласование и управление допустить и в предикативном центре, то можно утверждать, что финитная форма глагола *с о г л а с у е т с я* в числе с подлежащим (ибо по этой категории изменяются оба компонента), а последнее *у п р а в л я е т* лицом глагола (ибо по этой категории изменяется только глагол). Тогда координация предстает как такая синтаксическая связь, когда каждый из компонентов предикативного центра является и доминантой и депендентом одновременно, что снимает вопрос об абсолютно господствующем члене предложения. Следует заметить, что управление лицом признавал В. А. Малаховский [38], а идея управления подлежащим сказуемого не была чужда А. А. Шахматову [39], так и не уточнившему, в чем же подлежащее управляет сказуемым.

А. С. Чикобава понимает координацию как самоуправление. В его концепции, изложенной еще в 1928 г., сказуемое — центр координации, основная координата, и устанавливаются понятия большой, малой и наименьшей координат, являющиеся понятиями интердепенденции, в противоположность понятиям «подлежащее», «сказуемое», «прямое дополнение», являющимися понятиями односторонней зависимости [40]<sup>3</sup>. Г. Мачавариани и Г. Небиеридзе весь механизм простого предложения рассматривают в терминах непосредственно-составляющих, создающих субординационные конструкции, включая предикативный центр, на который также распространяется управление. Что же касается координации, то авторы ее усматривают лишь между однородными членами предложения [11,

<sup>3</sup> М. Л. Квачадзе говорит о взаимозависимости компонентов предикативного центра в том смысле, что подлежащее согласует с собой глагольное сказуемое в числе, а само управляется сказуемым в падеже [41]. О взаимодействии категории падежа с глагольными категориями в грузинском языке см. [42, 49].

с. 216—226]. Типичный случай «эффекта несоизмеримости», когда при описании одной и той же языковой реальности «применен различный терминологический аппарат» [43].

Достаточно сложен и вопрос о доминации в предложном и вообще в припредложных падежах. Их включение в систему падежей с внутренней необходимостью создает «эффект несоизмеримости» и ставит вопрос о статусе такого падежа, ибо с системой форм лексемы объединяется синтаксема, т. е. в одной системе оказываются элементарные единицы «разных уровней языка: лексемы не могут быть выражены предложно-именными сочетаниями, как не могут они быть выражены и сочетаниями имени с глаголом-связкой или сочетанием инфинитива с модальным глаголом, тогда как вариантами синтаксем могут быть и первые, и вторые. В синтаксемном анализе лексемы учитываются лишь со стороны конкретной лексической наполняемости вариантов синтаксем, а также со стороны их непосредственного лексического окружения» [44]. В. В. Виноградов на примере предлогов *о* и *по* склонен был видеть тенденцию превращения предлога в падежный префикс, «...но с возможностью раздвижения для вставки имени прилагательного или определяющего местоимения...» [45]. Между тем предлог вовсе не «пустая» лексема и несет вполне определенную смысловую нагрузку, что и заставило А. А. Потебню заметить, что «каждое особое значение предлога дает новый падеж» [2, с. 64]. К этому следует добавить и то, что предложно-падежные сочетания проявляют довольно высокую степень самостоятельности в позиции, скажем, заглавия («На дне», «В людях», «Без языка» и мн. др.) или так называемого детерминанта [13, с. 624; 30, с. 149]. Е. Курилович считает управление самостоятельных слов «правильной дихотомией», а предложное управление — «ошибочной дихотомией», ибо «самостоятельное слово ... определяется предлогом... точно так же и в том же смысле, в каком основа или корень определяются флективным окончанием или словообразующим суффиксом, то есть несамостоятельной („синсемантической“) морфемой» [46, с. 176], «предлог не является у п р а в л я ю щ и м падежной формы, а представляет собой субморфему...», состоящую из предлога и падежного окончания. «Предлог управляет или, точнее, имплицитирует только падежное окончание, как таковое, а не падеж (то есть не падежную форму)» [46, с. 180]. Видимо, здесь важны результаты извечной борьбы между лексической и грамматической тенденциями, которая нередко завершается полной победой грамматики или находится на этом пути. Думается в связи с этим, что грамматическая практика, традиционно представляющая в парадигматическом столбце падежей предложный падеж с предлогом *о*, практически решила вопрос о единственной ф о р м е предложного падежа с этим полностью грамматизированным предлогом, с которым употребляются все без исключения субстантивы, ср.: *о поле* (настил), *но на полу* при невозможности *на поле* в том же значении.

В грузинском аналогичную трудность создает послелог, который, будучи в известном смысле эквивалентом русского предлога, в отличие от последнего занимает позицию морфа в слове и вместе с тем осуществляет управление падежом. В типологическом плане представляет интерес тот факт, что наибольшей синтаксической независимостью характеризуется повесть падеж, который единственный не принимает послелога и, следовательно, не управляется им. Что же касается им. пад., то он, конечно, является исходным падежом (хотя исторически ему предшествовал так называемый неоформленный падеж) и представляет лексему в словарях, однако, во-первых, может находиться за пределами предикативного центра, во-вторых, вызывает спор в связи с тем, управляется или нет одним единственным послелогом *vit*: А. Г. Шанидзе [3, с. 619—620], И. В. Имнаишвили [47] и др. считают, что этот послелог управляет и им. падежом: *ƙacivit* «как человек»; А. С. Чикобава [4, с. 042], Т. С. Шарадзенидзе [48] и др. полагают, что в формах типа *ƙacivit* нет им. падежа,

ибо в противном случае должны были бы иметь не *im kacivit*, а *is kacivit*. Однако в 4-м томе того же Толкового словаря, являющегося по своему назначению нормативным, *vit* — послелог, управляющий и им. падежом.

Наконец, несколько слов о 19-м и 20-м секторах для количественно-именных сочетаний. Как известно, А. А. Зализняк, вслед за В. В. Виноградовым, квалифицирует счетную форму как счетный падеж, однако, в отличие от В. В. Виноградова, который не вводил эту форму в официальный перечень падежей, А. А. Зализняк признал ее полноправным компонентом установленной им 14-падежной системы [1, с. 46—48, 52—55]. А. А. Шахматов сочетания типа *два мальчика* признавал синтаксически неразложимыми в результате исчезновения двойственного числа и утраты числительными адъективного склонения. Таким образом, говоря о доминанции в этих секторах, мы должны либо согласиться с А. А. Шахматовым, что в сочетаниях типа *два стола* вовсе нет никакой синтаксической связи, и тогда отпадает сам вопрос о доминанции, либо согласиться с мнением, согласно которому бывшая форма им. пад. двойств. числа переосмыслена в форму род. пад. ед. числа, а числительное управляет им, и тогда мы будем иметь дело со случаем, когда в системе-доминанте имеется элемент-депендент, а в системе-депенденте — элемент-доминанта. В связи с этим (и другими фактами языка) уместно вспомнить слова А. А. Потебни о том, что «прежде созданное в языке двойко служит основанием новому: частью оно перестраивается заново при других условиях и по другому началу, частью же изменяет свой вид и значения в целом единственно от присутствия нового» [2, с. 131].

В грузинском любая лексема, в том числе и числительное, в позиции определяющего функционирует совершенно одинаково (с учетом упомянутой выше монофлексии в синтагме из определяющего и определяемого).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
2. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
3. Шанидзе А. Г. Основы грузинской грамматики. I (на груз. яз.). Тбилиси, 1953.
4. Чикобава А. С. Общая характеристика грузинского языка.— Толковый словарь грузинского языка. Т. I. Тбилиси, 1950.
5. Чикобава А. С. Введение в иберийско-кавказское языкознание (на груз. яз.). Тбилиси, 1979.
6. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
7. Степанов Ю. С. Проблема классификации падежей (совмещение классификаций и его следствия).— ВЯ, 1968, № 6, с. 37.
8. Солнцева В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977, с. 175.
9. Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.— Л., 1935, с. 93, примеч.
10. Кодухов В. И. Введение в языкознание. М., 1979, с. 238, примеч.
11. Вопросы введения в языкознание (на груз. яз.). Тбилиси, 1972.
12. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1960.
13. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
14. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
15. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
16. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976.
17. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
18. Дмитриевский А. Практические заметки по русскому синтаксису. V. Дополнение. Филологические записки. Вып. II. Воронеж, 1878, с. 63.
19. Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением (состав русских падежных форм).— American contributions to the IV-th International congress of slavists. 's-Gravenhage, 1958.
20. Джанашиа С. Н. Согласование определяющего с определяемым.— В кн.: К истории склонения имен в картвельских языках. Тбилиси, 1956.
21. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959.
22. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1957.
23. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 160.
24. Резвин И. И. Метод моделирования и типология славянских языков. М., 1967, с. 139.
25. Резвина О. Г. Общая теория грамматических категорий.— В кн.: Структурно-типологическое исследование в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 11.

26. *Филин Ф. П.* Об актуальных задачах советского языковедения.— ВЯ, 1981, № 1, с. 5.
27. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
28. *Сова В. З.* Аналитическая лингвистика. М., 1970, с. 43, примеч. 28.
29. *Березин Ф. М., Головин Б. Н.* Общее языковедение. М., 1979, с. 211.
30. Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
31. Современный русский язык. Ч. II. Морфология. Синтаксис. М., 1964, с. 269.
32. *Дмитревский А.* Практические заметки о русском синтаксисе. III—IV.— Филологические записки. Вып. I. Воронеж, 1878.
33. *Миловидов Г. А.* Второстепенный ли член предложения подлежащее? (Заметка на Заметки г. Дмитревского).— Филологические записки. Вып. V. Воронеж, 1878.
34. Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. М., 1966, с. 134.
35. *Кротевич Е. В.* О связях слов в словосочетании и предложении. — РЯШ, 1958, № 6, с. 20.
36. *Гильченко Т. Х.* Несогласуемое сказуемое в современном русском языке и характер его связи с подлежащим. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1964, с. 4.
37. Грамматика русского языка. Т. II. Ч. 1. М., 1960, с. 23.
38. *Малаховский В. А.* Новая грамматика русского языка: Опыт пособия для учителей и педагогических техникумов. Л., 1925, с. 50.
39. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Вып. I. Л., 1925, с. 145.
40. *Чикобава А. С.* Проблема простого предложения в грузинском языке. I. (на груз. яз.). Тбилиси, 1968, с. 218—219, 243—245.
41. *Квачадзе Л. М.* Синтаксис грузинского языка (на груз. яз.). Тбилиси, 1958, с. 13.
42. *Ревзина О. Г., Чанишвили Н. В.* Об одном виде взаимодействия категории падежа с глагольными категориями.— В кн.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.
43. *Солнцев В. М.* О соизмеримости языков.— В кн.: Принципы описания языков мира. М., 1976, с. 105.
44. *Мухин А. М.* Лингвистический анализ. Теоретические и методологические проблемы. Л., 1976, с. 223.
45. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.— Л., 1947, с. 172.
46. *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
47. *Имначивили И. В.* Еще о послелого *vit*.— Цискари, 1974, № 11.
48. *Шарадзенидзе Т. С.* Послелог *vit* в грузинском.— Тр. ТГУ, 1936, т. X.
49. *Чанишвили Н. В.* Падеж и глагольные категории в грузинском предложении. М., 1981.

ЦАКАЛИДИ Т. Г.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД НЕГАТИВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  
В ДРЕВНЕЙШЕМ СЛАВЯНСКОМ ПАМЯТНИКЕ  
ТРАДИЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ

Проблемы, связанные с отрицанием, давно привлекают внимание исследователей. На материале русского и других славянских языков в связи с их историей наряду с вопросами частного и общего отрицания, употребления родительного и винительного падежей со значением объекта при отрицании и другими значительное внимание уделялось и уделяется проблеме двойного и одиночного отрицания<sup>1</sup>.

Для решения названной проблемы привлекались и данные древнеславянских переводов Нового завета. В истории славянских языков среди памятников традиционного содержания Евангелие занимает особое место. Многочисленные списки его представляют большой интерес с лингвистической точки зрения, так как дают представление сразу о двух языковых системах — языке оригинала и переводящем языке, а также позволяют судить о лексических, грамматических особенностях древнеславянского языка<sup>2</sup>, о его синтаксическом строе.

Специальных работ по синтаксису евангельских текстов, посвященных отрицательным конструкциям, нет. Однако ряд ценных наблюдений содержат труды Г. А. Воскресенского [3], В. Вондрака [4], Н. Горалка [5], Н. А. Мещерского [6] и других ученых-славистов. На них мы и опирались в своих изысканиях. Значительную помощь нам оказали труды Л. П. Жуковской [7] и Е. М. Верещагина [8], в которых Евангелие анализируется с точки зрения текстологических особенностей и собственно языковых закономерностей, определяемых как следствие техники древних переводов.

Общеизвестно, что отличительной особенностью современных славянских языков является полинегативность. Значительное же своеобразие прошлого представляют монологативные построения. В нашу задачу и входит рассмотрение общеотрицательных предложений монологативного и полинегативного типов, извлеченных методом сплошной выборки из древнейших славянских списков Евангелия.

Под монологативными конструкциями мы понимаем предложения такого типа, в которых отрицание при сказуемом отсутствует, а общее отрицательное значение выражается отрицательными местоимениями и наречиями, частицей *ни*, союзом *ни...ни*. Например: *Никѣтоже възьметъ ея отъ мене...* (Зогр., Ио. X, 18); *...ни мене вѣсте ни ѿца моего* (Зогр., Ио. VIII, 19)<sup>3</sup>. По отношению к этому языковому явлению в лингвистической литературе применяются термины «одиночное отрицание», «оборот с одним или одиноком отрицанием».

Термином *полинегативные* конструкции мы называем такие предложения, в которых, кроме указанных элементов отрицания, имеется и отрицание при сказуемом. Например: *Ба никѣтоже не видѣ николиже*

<sup>1</sup> См. работы Ф. И. Буслаева, Ф. Миклошича, В. И. Чернышева, Л. А. Булаховского, В. И. Борковского и др.

<sup>2</sup> В понимании термина «древнеславянский» мы следуем за Н. И. Толстым [1] и Н. А. Мещерским [2].

<sup>3</sup> Орфография приводимых здесь и далее примеров упрощается, т. к. не имеет существенного значения в работе синтаксического характера.

(Зогр., Ио. I, 18). По отношению к этому языковому явлению широко распространены такие термины, как «двойное отрицание», «удвоение отрицания», «дополнительное отрицание»<sup>4</sup>.

Эти структуры достаточно полно представлены в текстах Нового завета. Для анализа избраны списки первой и второй редакций славянского перевода Евангелия<sup>5</sup>: Галицкое ев. 1144 г., Остромирово ев. 1056—1057 гг. и все старославянские списки (I редакция — «древнейшая югославянская») [9—14]; Мстиславова ев. начала XII в., Добрилово ев. 1164 г., Милятино ев. XII в. и рукопись ГБЛ из собрания Румянцева № 104 XII в. (II редакция — «древняя русская») <sup>6</sup>. Именно списки этих двух редакций содержат наиболее ценный материал для изучения древнейшего периода истории славянских языков.

В настоящей статье мы хотели бы поделиться некоторыми наблюдениями над средствами выражения общего отрицательного значения в евангельских текстах и результатами сопоставления списков названных редакций между собой и с греческим текстом [15].

Сплошная выборка общеотрицательных конструкций дала довольно обширный материал, который в статье не может быть представлен в полном объеме. Для анализа избираем чтения евангелия от Матфея и Марка, представленные в апракосах в цикле от пятидесятницы до нового лета. Это даст возможность сопоставить отдельно чтения на субботы и воскресенья, которые, по мнению ученых, занимающихся проблемами первых переводов, восходят, видимо, к первому переводу Константина-Кирилла Философа, и чтения на остальные дни недели, отсутствовавшие в первоначальном кратком апракосе<sup>7</sup>.

Среди разнообразных книг, обладающих специфическим набором текстов Евангелия, Л. П. Жуковская выделяет полный апракос, в котором особенности кирилловского перевода краткоапракосных чтений сочетаются с более поздними по происхождению особенностями полноапракосных чтений и многочисленными наслоениями последующих переводов и редакций [17]. Именно поэтому за основной текст при сопоставлении мы приняли полный апракос и примеры приводим по Мстиславова евангелию, тем более, что материал древнерусских апракосов при решении вопросов, связанных с отрицанием, до сих пор не использовался.

В чтениях на субботы и воскресенья в цикле от пятидесятницы до нового лета мы выделили 14 общеотрицательных конструкций мононегативного и полинегативного типов. Рассмотрим отдельно каждый тип.

#### И. М о н о н е г а т и в н ы е к о н с т р у к ц и и.

Мф. XIX, 17:... *никтоже* бла҃гъ тѣмко еди́нь бѣ (Мст., л. 56, вс. 12 по пд.). Общее отрицательное значение выражено отрицательным местоимением, которое и является в предложении обобщающим отрицательным компонентом. Структура соответствует греческой:... οὐδείς ἀγαθός ἐστι μὴ εἶς ὁ θεός. Мф. IX, 33: *николиже* тако квиса въ издраили (Мст., л. 43об, вс. 7 по пд.). Конструкция с обобщающим отрицательным наречием, тождественная греческой: Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰδραήλ. Мф. VI, 29:... *ни соломонъ* въ всеи славѣ своѣи облѣчеся. кѣко еди́нь от сихъ (Мст., л. 34, вс. 3 по пд.). В этом предложении проявилось яркое отрицательное и усилительное значение частицы *ни*, негативной силы которой оказалось достаточно для того, чтобы вся синтаксическая структура

<sup>4</sup> В отрицательном предложении может быть более двух элементов отрицания, поэтому считаем наиболее приемлемым термин «полинегативные конструкции». К тому же термин «двойное отрицание» двусмыслен, так как некоторые исследователи называют им и явление «отрицание отрицания».

<sup>5</sup> О редакциях славянского перевода Евангелия см. [3; 7, с. 112—128].

<sup>6</sup> Работа проводилась по фотографиям Мстиславова ев., Добрилово ев. и рукописи из собр. Румянцева № 104, а также по микрофильму Милятино ев.

<sup>7</sup> О последовательности переводов евангельских текстов на славянский язык см. [16; 8, с. 14—16].

с ее предикативным отношением воспринималась с отрицательным знаком. Сочетание *ни* с существительным в роли подлежащего представляет собой своеобразный обобщающий отрицательный компонент. В греческом тексте находим ту же монологативную структуру:... οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δεξιῇ αὐτοῦ περιβάλετο ὡς ἐν τοῦτων. Мф. VIII, 10:... *ни въ израили* толики вѣры обрѣтохомъ (Мст., л. 36об, вс. 4 по пд.). В роли своеобразного обобщающего компонента с отрицательным значением выступает сочетание *ни* с существительным, являющимся в предложении обстоятельством места. В Зогр. и Марн. представлено полинегативное построение с отрицанием при сказуемом — *не обрѣтъ*, в остальных текстах предложение с одним отрицанием, как и в греческом тексте:... οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εἶρον. Мф. VI, 24: *никыи же рабъ* может двѣма господинома работати... (Мст., л. 34, вс. 3 по пд.). В Асс. и Зогр. представлена полинегативная модель. В греческом тексте читаем: Οὐδεὶς δύναται διὰ τοῦτο χεῖρας δουλεύειν... Отрицательное местоимение οὐδεὶς при переводе заменяется сочетанием отрицательного местоимения *никыи* с существительным *рабъ*, являющимся также обобщающим по своему значению компонентом. Перед нами пример дополнения источника, введения поясняющего слова<sup>8</sup>. Приведем для сравнения это же чтение по рукописи Константинопольского ев. 1383 г. — *никтоже* бо можетъ двѣма господинома работати... (л. 14об). Как видим, пояснения нет, полное соответствие греческому источнику. Введение поясняющего слова, однако, не изменяет организации отрицательного предложения, оно остается монологативным. Мф. XXI, 42 — пример разлочтения по спискам. Во всех полных апракосах представлена монологативная конструкция с обобщающим отрицательным наречием — *николиже* почитаете въ писании... (Мст., л. 58, вс. 13 по пд.), тождественная греческому предложению: Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς... В Асс., Остр. и в тетрах встречаем конструкцию с отрицанием и при сказуемом — *нѣсте* ли чьли *николиже* въ кѣнигахъ... (Остр., л. 79). В Сав. — только прилагательное отрицание: *нѣсте* ли чьли въ кѣнигахъ... (л. 46об).

Анализируя примеры монологативного типа, нетрудно заметить, что отрицание при сказуемом отсутствует в том случае, если сказуемое находится в позиции по отношению к обобщающему отрицательному компоненту. Славянские моноструктуры тождественны греческим.

## II. Полинегативные построения.

Мф. VIII, 4: *вижъ никому же не повѣжъ*... (Мст., л. 34, сб. 3 по пд.). — 'Ορα μηδεὶν εἰπεῖν... Подобные предложения с отрицательным местоимением и отрицанием при сказуемом содержат следующие чтения: Мф. IX, 30 (Мст., л. 43об, вс. 7 по пд.), Мф. XXIV, 4 (Мст., л. 63об, сб. 15 по пд.) и Мф. XXIV, 36 (Мст., л. 66, сб. 16 по пд.). Все эти конструкции являются переделкой греческих монологативных предложений. Мф. VIII, 28:... *яко не можааше никтоже* минути поутѣмъ тѣмъ (Мст., л. 38об, вс. 5 по пд.). В греческом тексте находим предложение с прилагательным отрицанием и неопределенным местоимением: ... ὅστε μὴ ἰσχύειν τινὲς παρελθεῖν διὰ τῆς ὀδοῦ ἐκεῖνης. Такие конструкции характерны для греческого языка, в славянском им обычно соответствуют предложения с отрицательными местоимениями. Однако встретилось и такое предложение, в котором в славянском тексте употреблено неопределенное местоимение *кто* в соответствии с греческим τῖς. Интересно, что оно представляет собой вторую часть сложного синтаксического целого с двумя негативными частями. В то время как первая часть является переделкой греческой монологативной структуры, вторая полностью соответствует греческому тексту: Мф. XXII, 46: *и никтоже не можааше* юмоу отъвѣщати словесе. *ни смѣъ, кто* отъ дни того. въпросити юго к тому (Мст., л. 64, вс. 15

<sup>8</sup> Е. М. Верещагин подобные элементы переведенного текста называет персональными, т. к. варьирование нельзя возвести ни к роли исходного текста, ни к влиянию переводящего языка (варьирование в плане содержания) [см. 18].

по пд.) — Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐδέ τι. Такое чтение Мф. XXII, 46 проходит через все славянские списки. Только в Сав. представлена в значительной степени отличная конструкция: и *никтоже* емоу можаше отъвѣщати слово. и *ни* съмѣшаше *никтоже* отъ того дне. въпросити его *никогдаже* (л. 47об). Первая часть — мононегативная структура, соответствующая греческой, а вторая — полинегативная с двумя обобщающими отрицаниями, что в значительной степени усиливает общее отрицательное значение. Введение дополнительного отрицательного наречия с обобщенно-временным значением исключаящего характера скорее всего можно объяснить творческим осмыслением переводимого текста.

Остановимся еще на одном интересном примере — Мф. XVII, 21. В рукописях Мил., Рум.-104 и Сав. находим предложение полинегативного типа с обобщающим отрицательным местоимением: ... родъ же съ *ничимъ* же *не* исходить. тъкъмо млтвоу и постъмъ (Мил., л. 47, вс. 10 по пд.). Остальные же славянские списки Евангелия дают конструкцию только с приглагольным отрицанием: ... родъ же съ *не* исходить... (Мст., л. 50об, вс. 10 по пд.), что находит соответствие в греческом тексте (изменен порядок слов): ... τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται... .

Подобное разночтение, на наш взгляд, может быть объяснено либо активным отношением переводчиков к греческому тексту, либо возможными разночтениями в греческих списках. В использованных нами изданиях греческого кодекса разночтения не отражены<sup>9</sup>. Но мы имеем примеры, когда варьирование отрицательных конструкций в славянских списках обусловлено различиями в греческих текстах. Приведем один из них — Лк. XVIII, 4. В Сав., Зогр., Марн. и Галц. читаем: аще и *ба* не боъ са. и *члкъ* не срамаъ са... (Сав., л. 64об). В Асс. и Остр. — аще и *ба* не боъса. *ни* члвкъ срамлѣкса... (Асс., л. 66d; Остр., л. 114об). Интересно, что в критическом издании К. Аланда и др. приводится только один вариант чтения: Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβούμεθα οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι... . Вариант же, соответствующий чтению Сав., находим у Амфилохия и в использованном нами некритическом издании греческого текста.

Во всех приведенных предложениях полинегативного типа обобщающее отрицание находится в препозиции по отношению к сказуемому. В греческом языке в этом случае возможна только моноструктура. Однако полинегативный тип отрицательных предложений был свойственен и греческому языку. В языке греческого Евангелия он довольно распространен. Правда, употребление полинегативных моделей ограничено позицией глагольного и обобщающего отрицаний: они возможны только в случае, если простое отрицание стоит впереди, а обобщающее следует за ним<sup>10</sup>. Например: Мф. XXII, 16: ... и *не* радиши *ни* о коемъ же... (Мст., л. 57об, сб. 13 по пд.) В греческом та же полинегативная конструкция: ...καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός... .

Рассмотрев даже ограниченную часть примеров, мы могли убедиться в том, что в новозаветных текстах употребительны как полинегативные, так и мононегативные конструкции. Выделим основные мононегативные модели, представленные в приведенных примерах<sup>11</sup>. I модель — конструкции с обобщающим отрицательным компонентом, выраженным отрицательными местоимениями и наречиями; II модель — конструкции со своеобразным обобщающим отрицательным компонентом, выраженным словосочетаниями частицы *ни* со словами, при которых она употреблена, и союзом *ни...ни* с однородными членами. Из полинегативных моделей в наших примерах представлена только I, соотносительная с мононегативной, имеющая отрицание и при сказуемом.

<sup>9</sup> Текст сверялся также с греческим кодексом 835 г., использованным Амфилохием при издании Галицкого ев., и некритическим изданием Нового завета [19].

<sup>10</sup> Об особенностях построения греческих отрицательных предложений см. [20].

<sup>11</sup> В основу положена классификация Л. В. Савельевой [21].

Текст	Мст.	Дбл.	Мил.	Рум.-104	Асс.	Сав.	Остр.	Зогр.	Марн.	Галц.	Греч.
Мф.											
VI, 24	—	—	—	о	+	—	—	+	—	—	—
VI, 29	—	—	—	о	—	—	—	—	—	—	—
VIII, 4	+	+	+	о	+	+	+	+	+	+	—
VIII, 10	—	—	—	о	—	—	—	—	—	—	—
VIII, 28	+	+	+	о	+	+	+	+	+	+	г
IX, 30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—
IX, 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII, 24	г	г	+	+	г	+	г	о	г	г	г
XIX, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI, 42	—	—	—	—	+	г	—	+	+	+	—
XXII, 46	+/-г	+/-г	+/-г	+/-г	+/-г	-/+	+/-г	+/-г	+/-г	+/-г	+/-г
XXIV, 4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—
XXIV, 36	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—

Для того, чтобы результаты сопоставления славянских списков Евангелия между собой и с греческим текстом представить более наглядно, предлагаю табл. 1, где: полинегативная структура (+); мононегативная (—); г — приглагольное отрицание; +/-, -/+ и т. п. — конструкции в структуре сложного синтаксического целого с негативными частями; о — отсутствие чтения по какой-либо причине.

В таблице учтены только те случаи, когда возможно варьирование типов негативных конструкций, т. е. преимущественно с постпозицией сказуемого. Если же сказуемое предшествует словам с *ни*, отрицание при нем употребляется достаточно регулярно и все славянские тексты дают идентичные полинегативные построения, в большинстве своем соответствующие греческому.

Если учесть, что чтения на субботы и воскресенья восходят к первоначальному краткому апракосу, то можно говорить о том, что уже в первом переводе Евангелия на славянский язык наблюдалось сосуществование обоих типов отрицательных конструкций. Употребляясь в качестве синонимов, они варьируются, что, на наш взгляд, подтверждает предположение Е. М. Верецагина о том, что варьирование конструкций, как и лексическое варьирование, представляет собой свойство переводческой техники первоучителей славян [22].

Итак, на месте греческих предложений с одним отрицанием в славянских текстах употребительны оба типа отрицательных конструкций. Тем интереснее тот факт, что переводчики во многих случаях избирают, а переписчики сохраняют один и тот же способ передачи отрицания в параллельных чтениях. Если мы рассмотрим отдельно списки разных типов Евангелия, то увидим, что из 13 отрицательных предложений в кратких апракосах 9 (69%) совпадают по своей структуре во всех списках (заметим, что Сав. противостоит Асс. и Остр.), в тетрах — 11 идентичных отрицательных конструкций (84%), в полных апракосах — 12 (92%). Как видим, очевидной зависимости в употреблении типа общеприцательных конструкций от извода (например, Зогр. и Марн. не противопоставлены Галц., Асс. — Остр.), класса (имеем в виду полные апракосы) нет. Не ощущается явной зависимости и от редакции рукописей. Если сопоставим списки обеих редакций всех типов Евангелия, то убедимся, что и в этом случае большая часть чтений (8 из 13) представляет тождественные структуры.

В относительном единообразии славянских списков Евангелия в использовании типов негативных конструкций мы склонны видеть проявление определенной традиции, восходящей, вероятно, к протографу,

Текст	Мст.	Дбл.	Мил.	Рум.-104	Зогр.	Марн.	Галц.	Асс.	Сав.	Остр.	Греч.
<b>Мф.</b>											
V, 36	—	—	—	o	—	—	—	o	o	o	—
VII, 23	—	—	—	o	—	—	—	o	o	o	—
IX, 16	+	+	+	o	o	+	+	o	o	o	—
X, 26	+	+	—	o	—	+	+	—	o	—	—
X, 29	г	г	—	o	г	+	+	—	o	+	г
XI, 27	+/-	+/-	+/-	o	+/-	+/-	+/-	-/-	+/-	+/-	-/-
XIII, 34	+	+	+	o	—	—	—	o	o	o	—
XVI, 20	+	+	+	+	—	+	+	o	o	o	—
XX, 7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—
XXI, 19											
a)	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	—
b)	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	—
XXI, 27	—	—	—	—	—	—	—	o	o	o	—
<b>Мк.</b>											
II, 21	+	—	г	+	+	+	+	o	o	o	—
II, 22	+	—	+	+	+	+	+	o	o	o	—
III, 27	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	—*
IV, 22	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	г
V, 3	+	—	+	+	+	+	+	o	o	o	—
V, 26	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V, 43	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	—
VI, 8	+	+	+	—	+	+	+	o	o	—	—

\* Греческая параллель приведена по [9] (соответствует порядку слов в славянских списках, в [15] разночтения не отражены).

в соответствии с которой и сохраняется способ передачи отрицания в одних и тех же чтениях. Абсолютного единообразия и не может быть. Как бы сильна традиция ни была, многовековая судьба памятника не могла не сказаться. Необходимо учитывать многовековое бытование Евангелия на различных территориях, многократные переписки текстов в составе разных книг (краткого апракоса, тетра, полного апракоса), работу сотен писцов. С одной стороны, на выбор типа отрицательного предложения в каждом конкретном чтении влияет традиция (и она ощутима), а с другой — возможность синонимического употребления типов отрицательных конструкций, большая употребительность того или иного способа выражения отрицания в живом разговорном языке ведут к варьированию структур (возможны и случайные пропуски, опiski).

Рассмотрим отрывок Мф. VI. 24, который Л. П. Жуковская приводит по всем доступным рукописям полного апракоса до конца XIV в. и по важнейшим тетрам и кратким апракосам [7, с. 31—60]. Материал демонстрирует многочисленные фонетические, лексические, грамматические расхождения рукописей. На этом фоне ярче проступает относительное единообразие структуры отрицательного предложения: из 144 списков (мы не учитывали данные тетров, написанных в период так называемого второго южнославянского влияния) чтение Мф. VI, 24 в 121 списке представляет собой мононегативную структуру. Представлена мононегативная модель с отрицательным местоимением а) в роли определения — *ни кы й же рабъ можетъ...* и б) в роли подлежащего — *никто же можетъ...* Конструкция с введением дополнительного слова *рабъ* и местоимением в роли определения свойственна древнейшим славянским текстам, она и прослеживается в большинстве списков (77 из 121).

Мы анализировали чтения, восходящие к первоначальному краткому апракосу. Теперь же рассмотрим чтения, восходящие к переводу так называемых комплекторных частей, дополнявших апракос Кирилла до тет-

ра. Они представлены в полных апракосах в цикле от пятидесятницы до нового лета на остальные дни недели (с понедельника по пятницу). Часть из них представлена в месяцеслове краткого апракоса и могла быть переписана непосредственно из краткого апракоса, поэтому для сопоставления привлекаем списки трех типов Евангелия. Не имея возможности описывать каждый пример, предлагаем еще одну табл. с теми же условными обозначениями.

Материал и этой таблицы в целом свидетельствует об относительном единообразии славянских списков Евангелия в использовании типов отрицательных конструкций в параллельных чтениях. Более близки между собой списки одного и того же типа Евангелия: в тетрах из 20 предложений 17 во всех текстах идентичны по своей синтаксической структуре (имеем в виду способ выражения отрицания), в полных апракосах — 13. При сопоставлении списков обоих типов возрастает число различающихся текстов, совпадают по своей структуре во всех списках 11 чтений. Если учесть данные кратких апракосов, то число единообразных чтений сократится до 10. Заметим, однако, что пять чтений имеют различия только в одном списке. Интересно, что в трех чтениях Дбл. (Мк. II, 21—22 и V, 3) находим мононегативные конструкции на месте полинегативных во всех остальных текстах. Приведенные данные еще раз свидетельствуют о том, что как ни сильна традиция, она не может исключить элементов варьирования типов отрицательных конструкций (сказывается своеобразная судьба каждого текста), однако преобладающее влияние традиции очевидно.

Конечно же, предположение о существовании традиции в употреблении типов негативных конструкций нуждается в подкреплении большим количеством примеров. Наиболее «чистым» выводом способствует привлечение максимального количества списков, т. к. с возрастанием числа списков памятника может возрастать и число вариантов. Не располагая таким материалом, мы можем воспользоваться текстом евангелия от Марка, изданным Г. А. Воскресенским с разночтениями из 108 рукописей Евангелия XI—XVI вв. [23]. За основные тексты I и II редакций приняты Галц. и Мст. К ним приводятся разночтения из 95 рукописей. Были проанализированы предложения, в которых возможны оба способа выражения отрицания (по нашим подсчетам их оказалось 39). Результаты совпадают с уже полученными ранее: большинство чтений, а именно 24, по всем спискам дают идентичные отрицательные конструкции. Причем из числа единообразных были исключены даже те чтения, которые только в одном списке имеют иной способ выражения отрицания. Приведенный материал подтверждает наше мнение об относительном единообразии славянских списков Евангелия в использовании негативных конструкций в параллельных чтениях и поддерживает предположение о существовании традиции при их употреблении, восходящей, вероятно, к первому переводу и последующим доработкам (полному переводу или редактированиям) разных типов Евангелия. В этой связи показателен еще один интересный пример. В ев. от Ио. XII, 19 в Асс., Остр. и во всех тетрах (в Сав. текст не представлен) читаем: видите *ѣко никааже* польза есть (Зогр.; в Марн. — ... *никакоже* польза...). Реализована I мононегативная модель. Примечательно, что ею передается греческая полинегативная (!) структура:  $\Theta\alpha\rho\sigma\epsilon\iota\tau\epsilon\ \delta\tau\iota\ \circ\upsilon\kappa\ \omega\phi\epsilon\lambda\epsilon\iota\tau\epsilon\ \circ\upsilon\delta\epsilon\upsilon$ . Глагол  $\omega\phi\epsilon\lambda\epsilon\omega$  означает «помогаю, приношу пользу». Таким образом, содержание греческого предложения передано верно, хотя структура его изменена. Следует отметить, что именно это чтение в дальнейшем закрепляется и в текстах четвертой редакции, как в рукописных (см., например, Конст., л. 245), так и в изданных (например, Московское ев. 1668 г., л. 392об). В Чудовском же Новом завете (XIV в., III редакция), отличающемся стремлением к буквализму, в соответствии с греческим находим полинегативную конструкцию... *ю<sup>к</sup> не оупсѣте ничто<sup>ж</sup>* (л. 48а).

Интересные данные в связи с затрагиваемой проблемой содержат повторяющиеся чтения в полных апракосах. Они требуют специального исследования, что сделать в рамках настоящей статьи не представляется возможным, поэтому ограничимся указанием на важность этого материала.

Факт преобладания полинегативных построений в древнейших славянских списках Евангелия над монологативными отмечается многими исследователями и объясняется тем, что при вообще дословной передаче подлинника соблюдаются требования славянского синтаксиса [см., например, 3, с. 186—188 и 6, с. 89]. Конструкции же с одним отрицанием признаются чуждыми славянскому языку. По мнению многих ученых, они представляют собой кальку греческих монологативных предложений [см. 24, с. 523; 25, с. 17; 26]. Тождество монологативных предложений в греческих и славянских списках Евангелия, действительно, наблюдается регулярно и не может быть объяснено случайностью совпадений. Но имеется немало примеров полинегативных конструкций, свойственных как славянским так и греческим евангельским текстам. Работ, в которых акцентировалось бы внимание на этом явлении, нам не встречалось. По нашим предварительным подсчетам, в Зографском ев. из 128 полинегативных конструкций 43 (33%) соответствуют греческим полинегативным структурам. Следует ли из этого, что и они являются калькой греческих предложений? В этой связи значительный интерес представляют выводы Е. М. Верещагина. Им предпринята попытка найти объяснение факту последовательного совпадения синтаксических структур греческих и славянских фраз. Разительное совпадение структур, по мнению ученого, объясняется «не воздействием одного языка на другой, не синтаксическим калькированием, а тем важным психолингвистическим фактом, согласно которому при двуязычии некоторые языковые модели обеспечивают производство речи на двух языках» [8, с. 160]. Нельзя не согласиться и с таким заключением: «...по отношению к славянским евангельским текстам выявление калек невозможно, ему препятствуют методологические соображения — язык евангельских текстов нельзя сравнить с древнеславянским языком докирилло-мефодиевской эпохи» [8, с. 171]. Итак, судить об исконном или заимствованном характере отрицательных конструкций только по данным славянских списков Евангелия достаточных оснований нет. Однако мы считаем возможным решение проблемы происхождения названных конструкций, но для этого необходимо наряду с данными евангельских текстов использовать показания других памятников древнерусской и старорусской письменности (особенно памятников, отражающих разговорный язык), материалы современных русских говоров, других славянских языков<sup>12</sup>. Но это уже вопрос, требующий специального рассмотрения.

Подведем итог изложенному.

1) Проанализированный материал подтверждает существующее мнение, согласно которому в древнейших славянских списках Евангелия наблюдается сосуществование и борьба двух типов выражения общего отрицательного значения и что полинегативные конструкции преобладают над монологативными. Материал свидетельствует и о том, что предложения с одним отрицанием достаточно употребительны. Разнообразные монологативные модели последовательно и довольно умело используются славянскими переводчиками и переписчиками.

2) Языку греческого Евангелия также свойственны оба способа выражения отрицания. Употребление предложений полинегативного типа ограничивается позицией обобщающего отрицательного члена по отношению к сказуемому, тем не менее они достаточно распространены. В греческих и славянских списках Евангелия употребляются тождественные не только монологативные, но и полинегативные модели.

<sup>12</sup> В связи с проблемой происхождения славянских отрицательных конструкций интерес представляют выводы В. И. Борковского [27, с. 319—323].

3) Анализ общеотрицательных предложений в чтениях на субботу и воскресенье в цикле от пятидесятницы до нового лета, восходящих к первоначальному краткому апракосу, убеждает в том, что уже в первом переводе Евангелия на славянский язык в качестве синонимических использовались оба типа отрицательных конструкций: полинегативный и монологативный. Так как они употреблялись на месте однотипных греческих предложений с одним отрицанием, можно говорить о варьировании отрицательных конструкций как о свойстве переводческой техники первоучителей славян.

4) Результаты сопоставления славянских списков Евангелия свидетельствуют о том, что в одних и тех же чтениях переводчики во многих случаях избирают, а переписчики сохраняют один и тот же способ передачи отрицания, причем не ощущается значительной зависимости от редакции, извода, типа Евангелия. Относительное единообразие славянских евангельских текстов в использовании типов отрицательных конструкций в параллельных чтениях может быть объяснено преобладающим влиянием традиции, восходящей, по-видимому, к первому переводу и последующим доработкам (полному переводу или редактированиям) разных типов Евангелия.

5) Выявление синтаксических калек по отношению к славянским евангельским текстам не представляется возможным. Совпадение же отрицательных структур в греческих и славянских рукописях могло обеспечиваться существованием общих отрицательных моделей в обоих языках.

6) Делать какие-либо решительные выводы о происхождении монологативных конструкций в славянском языке только по данным славянских списков Евангелия достаточных оснований нет. Эта проблема может быть в значительной степени решена, для чего необходимо наряду с данными евангельских текстов учитывать и данные других памятников древнерусской и старорусской письменности, родственных славянских языков, а также данные современных русских говоров.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке славян.— ВЯ, 1961, № 1.
2. Мещерский Н. А. Древнеславянский — общий литературно-письменный язык на раннем этапе культурно-исторического развития всех славянских народов.— Вестник ЛГУ, 1975, № 8.
3. Воскресенский Г. А. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода евангелия от Марка по ста двенадцати рукописям евангелия XI—XVI вв. М., 1896.
4. Вондрак В. Древнецерковнославянский синтаксис. Казань, 1915.
5. Ногалек К. Evangeliaře a čtveroevangelia. Praha, 1954.
6. Мещерский Н. А. О синтаксисе древнеславянских переводных произведений.— В кн.: Теория и критика перевода. Л., 1962, с. 83—103.
7. Жукowska Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
8. Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971.
9. Арх. Амфилохий. Четвероевангелие Галичское 1144 г., исправленное по древним славянским памятникам, согласно греческому подлиннику, с изображениями. Т. I. М., 1882; Т. II. М., 1883.
10. Востоков А. X. Остромирово евангелие 1056—1057 годов с приложением греческого текста евангелия с грамматическими объяснениями. СПб., 1843.
11. Ягич В. Зографское евангелие. Берлин, 1879.
12. Ягич И. В. Марийское четвероевангелие. С примечаниями и приложениями. СПб., 1883.
13. Щепкин В. Н. Памятники старославянского языка. I. Вып. 2. М., 1903.
14. Вайс Й., Курц Й. Ассеманиево евангелие. Т. II. Прага, 1955.
15. The Greek New Testament. Eds. Aland K., Black M., Metzger B., Wikgren A. Stuttgart, 1966.
16. Жукowska Л. П. Об объеме первой славянской книги, переведенной с греческого Кириллом и Мефодием.— В кн.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 7. М., 1963, с. 73—81.
17. Жукowska Л. П. Рукописи полного апракоса милятинского класса.— В кн.: Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. М., 1974, с. 29—61.

18. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972, с. 84—123.
19. Τῆς καινῆς διαθήκης ἀπαντα. Ἐν Ἀθήναις καὶ Κωνσταντινουπόλει, 1896.
20. *Соболевский С. И.* Древнегреческий язык. М., 1948, с. 350—352.
21. *Савельева Л. В.* Мононегативные и полинегативные конструкции в Изборнике 1076 г.— В кн.: История русского языка. Древнерусский период. Л., 1976, с. 146—156.
22. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. К проблеме греческо-славянских флексических и грамматических вариантов в древнейших славянских переводах: Доклад на VII Международном съезде славистов. М., 1972.
23. *Воскресенский Г. А.* Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из 108 рукописей евангелия XI—XVI вв. М., 1894.
24. *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
25. *Чернышев В. И.* Отрицание «не» в русском языке. Материалы для Словаря русского языка. Л., 1927.
26. *Хабургаев Г. А.* Старославянский язык. М., 1974, с. 403.
27. *Борковский В. И.* Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978, с. 319—345.

УРАКСИН З. Г.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  
В ОБЛАСТИ ФРАЗЕОЛОГИИ**

Процессы взаимодействия языков, как правило, носят двусторонний характер, хотя степень воздействия того или иного языка на структуру контактирующего языка (или языков) в разные эпохи может быть весьма различной в зависимости от экстралингвистических — в большей мере и внутрилингвистических факторов — в меньшей мере.

Взаимовлияние языков наиболее рельефно проявляется в области лексики, менее показательно оно в фонетике. Многие языковеды фразеологию склонны считать сугубо национальным явлением, не подвергающимся иноязычному влиянию. Она менее проницаема в сравнении с лексическим составом, однако все же и в этой области языка наблюдается проникновение элементов языков иной системы.

Взаимодействие русского и тюркских языков, начавшееся с весьма отдаленных времен, нашло своеобразное отражение в письменных памятниках, а также в структуре современных литературных и живых народно-разговорных языков.

Безусловно, тюркские лексические заимствования в русском языке появились гораздо раньше, чем фразеологические. Употребление тюркских по происхождению слов в составе русских фразеологизмов является вторичным, более углубленным освоением этих слов уже в образно-переносном значении. Тюркизмы выступают в качестве основных смыслообразующих компонентов целых серий фразеологизмов<sup>1</sup>: *карман — толстый карман, тощий карман, не по карману, бить по карману* и др.; *караул — под караулом, хоть караул кричи; баш, башка — баш на баш, дубовая башка, мякинная башка, пустая башка, вбивать в башку, свернуть башку* и др.; *башмак — быть под башмаком, держать под башмаком*. Активно употребляются в составе русских фразеологизмов и следующие тюркизмы: *алтын, ариш, базар, деньги* и др., есть и единичные образования типа *тришкин кафтан, каланча пожарная, ни бельмеса* и др., которые относятся к сниженному стилистическому пласту.

Большое количество тюркизмов закрепилося во фразеологизмах, встречающихся в русских народных говорах: *стало в карман* «стоило дорого» [2, вып. 13, с. 94]; *ночевать в чем-либо кармане* «знать, что лежит у кого-либо в кармане»; *ноги на дороге, а нос в кармане* «замерзнуть из-за плохой одежды» [2, вып. 13, с. 44]; *карман трещит* «убыточно», *карман отвалился от денег* «очень много денег» [2, вып. 13, с. 94]; *кармана нету* «нет денег» [2, вып. 13, с. 94]; *бить по карманам* «мошенничать» [3; см. подробнее 4].

Естественно, в русских народных говорах состав фразеологизмов с тюркизмами гораздо шире, чем в литературном языке: *идти в камыши, быть в камышах* «участвовать в помочах (коллективной крестьянской работе)» [2, вып. 13, с. 33]; *каблук крыть* «скрывать следы, укрывать кого-либо» [2, вып. 12, с. 285]; *барышом придет* «вернется с прибылью, принесет барыш»; *ни барыша, ни корыша* «никакого толку»; *барыши дергать* «расчесывая шерсть овчин (после ее выделки), выдергивать ее для продажи» [2, вып. 2, с. 125]; *нашим глазам не первый базар* «о бессовестном человеке»

<sup>1</sup> Материалы по русской фразеологии извлечены из «Фразеологического словаря русского языка» [1].

[2, вып. 2, с. 48]; *кончал базар* «о нужном, приятном окончании чего-либо» [2, вып. 14, с. 273] и др.

В составе фразеологизмов, закрепившихся в русских народных говорах, встречаются и дериваты от тюркских слов: *базарная корова* «Бранно. О человеке, постоянно слоняющемся от безделья по чужим избам, дворам»; *базарные глаза* «Бранно. О бессовестном, нахальном человеке» [2, вып. 2, с. 48]; *казанское мыло* «О ловком, изворотливом, плутоватом человеке» [2, вып. 12, с. 310].

Особую группу фразеологических единиц с тюркизмами составляют выражения, встречающиеся в каком-либо жаргоне; *под стук собственных каблучков* (актерский жаргон) «без аплодисментов»; *барабан пробить* (воровской и арестантский жаргон) «совершить ночное воровство»; *брать на бугай* «обокрасть при посредстве подброшенного на улице кошелька» [5, с. 216]. Появляются и новые фразеологизмы с тюркизмами: *просиживать штаны* «длительное время безрезультатно и малопродуктивно заниматься чем-либо» [5, с. 222].

В составе некоторых русских фразеологизмов употребляются названия местностей и личные имена тюркского происхождения. Наиболее активным является имя золотоордынского хана *Мамай*: *мамаево нашествие* «неожиданное появление многочисленных и неприятных гостей, посетителей» и т. п., *мамаево побоище* «крупная ссора, драка; беспорядок, разгром, страшное опустошение» и др.

Состав и структура русских заимствований во фразеологии тюркских языков значительно отличаются от тюркизмов в русской фразеологии. Изменился характер взаимодействия этих языков, в современную эпоху массового национально-русского двуязычия влияние русского языка стало разносторонним.

Для более ранних этапов взаимодействия данных языков характерно употребление русских лексических заимствований в составе фразеологических единиц тюркских языков. В советский период процесс влияния усилился и расширился за счет калькирования выражений, и это стало одним из источников обогащения лексико-фразеологической структуры тюркских литературных языков. Изменяются и сферы заимствования: если раньше заимствование преимущественно происходило через устную разговорную речь, то сейчас этот процесс проявляется в письменной речи, в особенности через периодическую печать, а затем уже захватывает и разговорную речь.

Трудно выделить единый лексический пласт русского языка, который выступал бы во всех тюркских языках, потому что процесс воздействия русского языка на тюркские языки в прошлом был далеко неодинаков во времени и в собственно языковом плане. Лишь в немногих языках обнаруживаются одни и те же лексические элементы, как, например, в башкирском и татарском, в казахском и киргизском, или же — группе сибирских тюркских языков и т. п.

Фонетически освоенные тем или иным тюркским языком лексические элементы типа башк., татар. *бүрәнә* «бревно», башк. *мейес* «печь», *мискә* «бочка» и т. п. выступают в составе фразеологизмов: башк. *бүрәнә Утә бура күреү* «видеть пеня через плетень» (букв. «видеть волка сквозь бревно, бревенчатую стену»); *артык бүрәнә башы* «лишний, ненужный человек» (букв. «лишний обрубок бревна»); татар. *инэнә бүрәнә итү* «делать из мухи слона» (букв. «иголку превратить в бревно») [6, I, с. 402]; *ит мичкәсе* «бочка с мясом» (о непомерно толстом человеке) [6, I, с. 431]; *аракы мичкәсе* «алкоголик» (букв. «винная бочка») [6, I, с. 64]; *бармак чүтү* «счет на пальцах» [6, I, с. 125]; *акчасыз комедия* «бесплатное представление» [6, I, с. 39]; *акчасыз фатир* «бесплатная квартира» (о тюрьме) [6, I, с. 39]. Все приведенные материалы в толковом словаре татарского языка квалифицированы как *нормативные единицы*.

Интернациональное слово *билет*, заимствованное через русский язык,

выступает в качестве смыслообразующего центра ряда фразеологизмов башкирского и татарского языков: башк. *аҗ билет*, татар. *ак билет* [6, I, с. 32] «документ об освобождении от воинской повинности» (букв. «белый билет»), башк. *йәшел билет* «документ об отсрочке воинской службы» (букв. «зеленый билет»). По словам старожилков, до Октябрьской революции действительно выдавались книжечки белого и зеленого цветов, показывающие разное отношение к военной службе.

К той же эпохе относится фразеологизм башк. *кәзә билете*, татар. *кәзә билеты* [6, II, с. 256] «документ, удостоверяющий отсутствие права владельца на поступление в учебные заведения или государственную службу» (букв. «козий билет»), соотв. русск. *волчий билет*.

В башкирском и татарском языках функционирует фразеологизм Эндрай *казнаһы* (татар. *Эндрай казнасы*) «неиссякаемый источник богатства, денег» и т. п. (букв. «казна Андрея»), имеющий неодобрительную оценку и употребляемый по отношению к расточительному человеку. Появление этой фразеологической единицы с русским антропонимом связано, видимо, с именем конкретной исторической личности, затем уже забытой и ставшей чуть ли не нарицательным именем. В начале XVIII в. в течение длительного времени занимал высокую должность в канцелярии Уфимского уезда представитель царской администрации Андрей Жихарев, отличавшийся особым усердием по обложению башкир всякими налогами. При нем число взимаемых податей доходило до 72. Впоследствии на основании челобитных башкир правительствующий Сенат возбудил судебное расследование по делу Андрея Жихарева и его сообщников и осудил их, а за ними осталось прозвище «прибыльщики» [7].

В составе исконных фразеологизмов отдельных тюркских языков функционируют русские слова, в то время как в других тюркских языках те же фразеологические единицы употребляются с собственно тюркскими лексемами. Например: башк. *һуқыр бер тин тормай* «не стоит и ломаного гроша» (букв. «не стоит и слепой копейки»); азерб. *гара гәпшә дәймәз* (букв. «не стоит и почерневшей монеты») [8, с. 156]; узб. *бир тийинга арзимайди* (букв. «не стоит и копейки») [9, с. 64]; башк. *һуқыр тин дә юк* «нет ни одной копейки» (букв. «нет и слепой копейки») [10]; тув. *согур копеек чөк* (букв. «нет и слепой копейки») [11, с. 142].

От исконных фразеологизмов отличаются фразеологические словосочетания, возникшие в тюркских языках на основе образных выражений русского языка путем дословного перевода (кальки), либо с сохранением того или иного лексического компонента (полукальки), причем более поздние заимствования употребляются без фонетических изменений: татар. *аяклы энциклопедия* «ходячая энциклопедия» [6, I, с. 99]; *вак пешка* «мелкая пешка» [6, I, с. 226]; *ирекле казак* «вольный казак» [6, I, с. 407]; чуваш. *строя тӑр* «вставать в строй» [12, с. 24]; *ёсе (строя) кӑр* «вступать в строй» [12, с. 25]; *стройран тух* «выбивать из строя» [12, с. 27]; *кӑвак экран* «голубой экран» [12, с. 34]; узб. *бир винти кале, бир винти этишмайди* «винтиков не хватает, не все дома» [9, с. 38]; казах. *пар келди* «стать равными»; *партия болды* «сгруппироваться» [13, с. 440]. Русский фразеологизм *давать маху* с лексическим элементом *мах* принят во всех трех тюркских языках Урало-Поволжья без семантических сдвигов: чуваш. *махӑ пар* [12, с. 36]; татар., башк. *мах биреу (бирмәу)* «давать (не давать) маху».

Фразеологическая единица *открызывать Америку* вошла как полукалька во многие тюркские языки, сохраняя исконную семантику: башк. *Америка асыу*; татар. *Америка(һы) ачу* [14]; казах. *Америка ашты* [13, с. 40]; чуваш. *Америка ус* [12, с. 111]; узб. *Америка очмоғ* [9, с. 132].

Весьма оригинальная фразеологическая единица образовалась в башкирском языке: *ни ылтара ни пылтара, калган ике уртала* «ни то, ни се; недотепа», исходной основой которой должен быть русский фразеологизм *ни два, ни полтора* (со значением «неизвестно как — ни плохо, ни хоро-

шо») [1, с. 128], откуда заимствовано слово *полтора*, а также сама конструкция оборота и его семантика, добавлена вторая рифмованная часть, несколько дополняющая и раскрывающая семантику первой половины, которая может употребляться и самостоятельно.

В башкирском и татарском языках имеются единичные случаи передачи значения русского слова фразеологическим словосочетанием. Например, татар. *администраторлык иту* «администрировать» [6, I, с. 19], *идән асты* «подполье» [6, с. 364], башк. *дан йырлау* «прославлять», *һалкын канлы* «хладнокровный» [15, с. 921] и др.

Есть примеры и обратного характера, когда русский фразеологизм воспринимается как одно слово. Так, например, в башкирской народно-разговорной речи активно употребляется слово *һайат* «очень хорошее, замечательное», которое восходит к русскому *на ять* в том же значении.

В настоящее время наибольшее распространение в тюркских языках получили калькирование устойчивых, образных словосочетаний русского языка, этот процесс сейчас является односторонним, т. е. в качестве источника выступает преимущественно русский язык, что объясняется все более возрастающей его ролью в жизни народов СССР. Причем воздействие в основном оказывается через средства массовой коммуникации — периодическую печать, радио, телевидение и т. д., т. е. через сферы активного применения литературных языков.

Следует оговориться, что не все дословно совпадающие фразеологические единицы являются калькированными. Они могли возникнуть в сопоставляемых языках параллельно, ввиду общности человеческого восприятия и оценки внешнего мира, его отношений и связей. К числу подобных образований относятся фразеологизмы, образованные от названий частей тела и совпадающие по структуре, значению и образной основе: башк. *теле оҙон* — длинный язык, *баш ватыу* — ломать голову (над чем.-л.), *бармак аша карау* — смотреть сквозь пальцы (на что-л.) и др.

Калькированные с русского языка фразеологические единицы имеются во всех тюркских языках [см. 16—18]; причем, как показывает сопоставление указанных исследований, в большинстве данных языков процесс образования и состав калек в основном сходны.

Дословному переводу подвергаются образно-номинативные единицы, существующие параллельно со словесными их обозначениями: *белое золото* «хлопок» — башк. *аҗ алтын*, татар. *ак алтын* [6, I, с. 31], чуваш. *шура ылтӑн* [12, с. 9]; *черное золото* «нефть» — башк. *кара алтын*, татар. *кара алтын* [6, II, с. 49]; кирг. *кара алтын* «каменный уголь» [19]. Образно-номинативные единицы, относящиеся к сфере духовной культуры, к которым нет однословных синонимов: *лебединая песнь* — башк. *аккош йыры*, татар. *аккыш жыры*, узб. *оққуш кўшиғи* [9, с. 106], чуваш. *акӑш юри* [12, с. 80]; *первая ласточка* — башк. *беренсе карлуғас*, татар. *беренче карлығач* [6, I, с. 152], узб. *биринчи қалдирғоч* [9, с. 135], чуваш. *кёрремёш чекёс* [12, с. 114], азерб. *илк гарангуш* [8, с. 171]; *большое место* — башк. *ауырткан ер* [15, с. 60], татар. *ағырткан жир* [6, I, с. 13], азерб. *ахсајанјер* [8, с. 24], чуваш. *хавнак сырӑн* [12, с. 10] и др.

Употребление подобных образований в тюркских языках ограничивается сферой периодической печати и художественной литературы, они еще не проникли в общенародный язык.

Весьма различный круг понятий охватывают калькированные глагольные фразеологизмы: *плыть по течению* — башк. *ағым ыңғайына йөзөү*, татар. *ағым уңаена йөзү* [6, I, с. 18], узб. *ақимиға қараб сузмоқ* [9, с. 138], азерб. *ағынла кетмәк* [8, с. 174]; *держатъ порох сухомъ* — башк., татар. *дарыны коро топтоу*, азерб. *бараты гуру сохламағ* [8, с. 72]; *братъ пример* — башк., татар. *урнак алыу*, узб. *ўрнак олмақ* [9, с. 36], азерб. *ибрат алмағ* [8, с. 22]; *подать руку помощи* — башк. *ярҙам кулы һузыу*, узб. *ердам қўлини чўзмоқ* [9, с. 66]; *поставить на ноги* — башк. *аякка бастырыу*, азерб. *ајага галдырмағ* [8, с. 189], узб. *сеққа турғизмоқ* [9, с. 124], чуваш. *ура сине*

тәрат [12, с. 159], *придавать значение* — башк. *аһажит биреу*, узб. *аҳажият бермәк* [20, с. 31].

Во многих тюркских языках (башкирский, татарский, узбекский, азербайджанский, киргизский и др.) оказались калькированными следующие фразеологические единицы русского языка: *вставлять палки в колеса*, *выйти сухим из воды*, *бросать слова на ветер*, *видеть своими глазами*, *играть (шутить) с огнем*, *между небом и землей*, *закидывать удочку*, *мелко плавать*, *на каждом шагу*, *мерить на свой аршин* и др.

Глагольные фразеологизмы проникают глубже в структуру заимствующих языков, употребляясь и в народно-разговорном языке, хотя первоначально они также возникают из практики перевода публицистических и художественных текстов на тюркские языки [13, с. 608—609]. Здесь, видимо, играет роль степень прозрачности их семантики и осязаемость образной основы.]

Трудно определить количество калькированных фразеологических единиц в том или ином из тюркских языков, потому что во многих из них еще не создано относительно полных фразеологических словарей, а выпущенные до сих пор двуязычные словари фразеологизмов являются краткими. Имеются и расхождения в оценке нормативности калькированных словосочетаний в этих языках. Так, например, в первый том «Толкового словаря татарского языка» включено более трех десятков фразеологизмов, представляющих собой дословные переводы с русского языка, в том числе: *аю хезмәте күрсәтү* «оказать медвежью услугу», *беренче кулдан* «из первых рук», *иске жыр* «старая песня», *йодрыкта тоту* «держаться в кулаке», *галошка утырту* «посадить в галошу» (азерб. *галоша отуртмаг* [21]), которые башкирские лингвисты не считают кальками и не включают как словарные единицы, а в двуязычных словарях дают их соответствия или перевод значений.

В тувинском языке калькированными с русского считаются: *эринде сүдү кеппээн* «молоко на губах не обсохло», *ийи арынныг* «двуличный», *сугнун ийи дамдызы дег* «как две капли воды», *чырыкче үнер* «выходить в свет» [11, с. 92] и др., в других тюркских языках аналогичные выражения не признаются за кальки, квалифицируются как собственные образования: узб. *оғз(и)дан она сүт(и) кетмаган* [20, с. 193], башк. *ауызында (ауызынан)ана һәтә кипмәгән* (букв. «у него во рту еще материнское молоко») и др.

Исследователи фразеологии ряда тюркских языков отмечали, что отдельные переводчики, журналисты и писатели чрезмерно увлекаются калькированием даже в тех случаях, когда образность дословно переведенного фразеологизма сильно ослаблена и почти не ощущается носителем языка, а в заимствующем языке имеются фразеологические единицы с аналогичным значением [13, с. 608]. В качестве таких примеров можно привести в башк. *себәндән фил аһау* «делать из мухи слона», *мыйыкка урау* «намотать на ус», *алһыу төстә күреу* «видеть в розовом цвете», тогда как в современном башкирском языке имеются фразеологизмы с той же семантикой, но с более высокой степенью экспрессивности и образно-метафоричным значением, чем дословные переводы, ср.: *тәймәләйзе дөйәләй итеу* букв. «что-либо размером с пуговицу представить размером с верблюда», *берзе биш итеу* букв. «из одного сделать пять», *колакка [киртен куйыу]* букв. «вложить в ухо», *ал да гөл итеп күреу* «видеть только прекрасным» и т. п. Калькирование оправдывает себя, когда в том или ином языке отсутствуют единицы с аналогичным значением и переведенный фразеологизм создает новое образное представление о том или ином явлении, такие фразеологические единицы «приживаются» и со временем входят в структуру данного языка.

В составе калькированных фразеологических единиц с русского языка в тюркские не наблюдается (за редким исключением) библеизмов, словосочетаний из античных источников и западноевропейских языков, кото-

рые в состав русской фразеологии вошли очень прочно [22; 5, с. 218—219]. Здесь, видимо, играет роль некоторая ослабленность идиоматичности калькированной фразеологической единицы в самом русском языке и затемненность ее семантики.

Среди калькированных фразеологизмов в тюркских языках вовсе не встречается устаревших по употребительности или единиц с явно устаревшими компонентами, с личными именами греческого, латинского, собственно русского происхождения (за исключением тех единиц, которые возникли на почве самих тюркских языков).

При калькировании, как правило, не происходит семантических сдвигов, фразеологизмы воспринимаются в тех значениях, в каких они функционируют в русском языке. Видовые значения глагольных компонентов не передаются в тюркских языках, т. е. глагол становится нейтральным к категории вида. Лексические варианты переводятся только одним, наиболее соответствующим по смыслу и нейтральным по стилистической окраске, экспрессивности, компонентом. Например: *бить (ударить, ударять) по карману* — башк. *кесгә һуғыу, брать (взять) себя в руки* — *үзәңде кулга алуу, бросать (кидать) слова на ветер* — *һүҙе елгә ташлау, найти (находить) общий язык* — *уртак тел табыу* и т. п.

Как видно из краткого обзора, характер взаимоотношений русского и тюркских языков в разные исторические эпохи неодинаков. В условиях массового национально-русского двуязычия, развития уровня грамотности населения воздействие русского языка на тюркские (да и на другие языки народов СССР) все более возрастает. Это проявляется и в области фразеологии.

В данной статье затронуты лишь отдельные аспекты взаимодействия русского и тюркских языков в области фразеологии, отмечены некоторые общие тенденции в процессах взаимодействия этих неродственных языков. Выявление более полных фактических данных по всем без исключения тюркским языкам и анализ объективных языковых процессов — одна из насущных задач лингвистов-тюркологов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Фразеологический словарь русского языка. Сост.: Войнова Л. В., Жуков В. П., Молотков А. И., Федоров А. И. Под ред. Молоткова А. И. М., 1967.
2. Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Филин Ф. П. Вып. 2, Л., 1967; Вып. 12, Л., 1977; Вып. 13, Л., 1977; Вып. 14., Л. 1978.
3. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 2, с. 23.
4. *Гущина В. П.* Тюркизмы в составе фразеологизмов русского языка. — В кн.: Башкирская литература и литературный язык на современном этапе. Уфа, 1979, с. 113—121.
5. *Молотков А. И.* Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.
6. Татар теленең аңлатмалы сүзлегә (Толковый словарь татарского языка). Т. I. Казан, 1977; Т. II. Казан, 1979.
7. Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. М.—Л., 1936, с. 108—111 и сл.
8. *Тагиев М. Т.* Русско-азербайджанский фразеологический словарь. Баку, 1974.
9. *Садыхова М.* Русско-узбекский фразеологический словарь. Ташкент, 1972.
10. *Ураксин Э. Ф., Надршина Ф. А., Исопов Х. Ф.* Башкортса-русса фразеологик һүҙлек. Өфө, 1973, с. 149.
11. *Хертек Я. Ш.* Тувинско-русский фразеологический словарь. Кызыл, 1975.
12. *Чернов М. Ф.* Краткий русско-чуваший фразеологический словарь. Чебоксары, 1975.
13. *Кенесбаев I.* Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алма-Аты, 1977.
14. Русско-татарский словарь. Казань, 1971, с. 426.
15. Русско-башкирский словарь. М., 1964.
16. *Шаниязова В. А.* К проблеме фразеологизмов русского и туркменского языков. — Изв. АН Туркменской ССР, серия обществ. наук, 1969, № 2, с. 84.
17. *Юсупов Р. В.* Лексико-фразеологические средства русского и татарского языков. Казань, 1979.
18. *Хертек Я. Ш.* Фразеология современного тувинского языка. Кызыл, 1978.
19. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү. Фрунзе, 1980, с. 114.
20. *Разматуллаев Ш.* Үзбек тилининг фразеологик лугати. Тошкент, 1978.
21. *Оручев Ә. Ә.* Азербайжанча-русча фразеолокција лугәти. Баку, 1976, с. 93.
22. *Шанский Н. М.* Фразеология современного русского языка. М., 1969, с. 140—147.

АБДУЛЛАЕВ З. Г.

## К ГЕНЕЗИСУ ФОРМАНТОВ ДАТИВА В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Даргинский и другие дагестанские языки характеризуются параллельным использованием в качестве падежных формантов большой совокупности различных морфем. Генезис этих формантных единиц имени остается актуальной проблемой сравнительно-исторического дагестановедения.

Целью сказать, что вопрос о происхождении падежных формантов в даргинском и других дагестанских языках не рассматривался исследователями. Имеется ряд специальных статей, посвященных происхождению того или иного падежного форманта. Этот вопрос затрагивается и в некоторых работах общего характера. Большей частью, однако, речь идет не столько об их генезисе, сколько об использовании в качестве падежных формантов тех или иных морфем, о диалектных различиях в использовании этих морфем, о фонетических изменениях в структуре морфем, об их хронологическом соотношении и т. д. К чему восходят эти морфемы, из какого материала они сложились — решение этого вопроса сводится в конечном счете к предположению о том, что согласные элементы рассматриваемых падежных формантов восходят к классным показателям. Ссылкой на классные показатели кончается рассмотрение генезиса падежных формантов (из чего, однако, произошли сами классные показатели — этот вопрос у исследователей не вызывает интереса). Тем самым возникновение грамматических форм имени фактически сводится к периоду образования классных показателей, т. е. грамматической категории класса. Неклассное образование категориальных элементов и грамматических форм имени по существу не предполагается.

Касаясь образования эргатива в некоторых самурских (южнодагестанских) языках, Б. Г.-К. Ханмагомедов довольно четко подытожил общий ход рассуждений по этому вопросу: «Согласные элементы в детерминантах эргатива *д*, *р*, *л*, *н* мы вслед за А. Дирром и другими исследователями считаем древнейшими классными показателями, которые в настоящее время уже не ощущаются в языке как таковые» [1].

В дагестанских языках, в их числе и в даргинском, возведению к классным показателям подвергаются формантные согласные не только эргатива, но и других падежей — датива, генитива, адитива и др. Когда падежные формантные согласные невозможно свести к существующим в языке классным показателям, допускаются самые невероятные фонетические изменения и основанные на них предположения. Между тем имеются основания думать, что классные показатели не могут играть роли универсальной отмычки. Можно, в частности, показать, что классные показатели и падежные форманты — здесь продукты грамматикализации лексических единиц, прежде всего местоименной лексики.

Прежде чем перейти к некоторым конкретным соображениям по этому вопросу, необходимо сделать несколько оговорок общего порядка. Во-первых, необходимо признать существование в языке лексемных функций двух видов: а) функции дейктической и б) функции анафорической. Дейктическая функция характеризуется указанием на внешние предметы, на референты экстралингвистической реальности. Анафорическая функция характеризуется отражением в грамматической форме слова той или иной субстанциальной категории референта другого слова. Дейктической функцией характеризуются обычно существительные и местоимения, ана-

форической функцией — прилагательные, числительные и глаголы. Дейктическая функция первична, а анафорическая функция вторична. Анафорическая функция не может существовать без предварительного существования дейктической функции.

Другая общего порядка оговорка заключается в том, что необходимо различать «лицо» и «не-лицо». «Лицо» — продукт акта речи, в котором говорящий и слушающий создают соответствующие формы «я» и «ты». Все, что характеризуется 3-м лицом, лицом «он (она, оно)», относится к «не-лицу». Все «человеческие имена», имена референтов говорящего и слушающегося лишь двумя формами акта речи: «я» и «ты»; все, что относится к «он (она, оно)», характеризует понятие не-лица.

Противопоставление лица и не-лица лежит в основе содержательного начала языка. Дейксис лица «я», говоря словами Э. Бенвениста, «как голова Медузы, всегда в центре языка». Дейксис лица первичен, анафора лица — вторична. Природный пол (sexus) является категорией дейксиса лица, грамматическая категория класса (genus) — категорией анафоры лица. Чтобы могла возникнуть грамматическая категория класса (анафора лица), должен был существовать дейксис пола лица. Поэтому существование природного пола лица отнюдь не означает, что и грамматический класс лица имеет такое же изначальное существование. Хронологически категория дейксиса лица и категория анафоры лица неизоморфны. Если природный пол является первичной дейктической категорией лица, то грамматический класс является вторичной анафорической категорией лица. Только с возникновением категории анафорического класса существует категория грамматического класса.

Система категориальных морфем — единиц анафорической структуры языка, призванная обеспечить передачу отношений лица и не-лица, обязана своим происхождением лексическому уровню языка, прежде всего прономинальной лексике. Это значит, что для того чтобы обеспечить выражение отношений дейктических единиц, язык из корней этих же первичных дейктических единиц создает структуру анафорических категорий.

Как известно, склонению имени, образованию падежных форм и их употреблению, описанию различных вариантов падежных формантов даргинского языка в научной литературе уделено значительное внимание. Однако среди трудов этого направления лишь одна работа ставит своей специальной задачей раскрытие происхождения падежных формантов, причем формантов лишь одного из падежей даргинского языка — датива. Имеется в виду статья Ш. Г. Гаприндашвили [2].

Об этой в своем роде единственной работе приходится говорить в силу того обстоятельства, что она может послужить примером того, как опасно делать выводы, если они не вытекают из конкретных языковых фактов, если имеющиеся языковые данные скорее используются для подтверждения уже заранее принятой версии. Генезиса формантов датива, в русле идеи возведения их к классным показателям, автор касается и в другой работе [3].

Как известно, в диалектах даргинского языка датив различается своими формантами. Например, д а т и в и м е н и характеризуется формантами -с (хюрк., акуш.), -з (цудах.), -ж (хайд.), -й (арб.), д а т и в м е с т о и м е н и я — формантами -м (хюрк., хайд., цуд., арб.), -д (хюрк., акуш.), -т (цуд., хайд), -б (акуш., цуд.), -в (хайд.), -й (хайд., арб.).

Здесь названы лишь форманты категориальной функции, флексии. Этим флексиям в структуре датива предшествует довольно большое количество формантов детерминативной функции. К таковым, в частности, относятся: -ли, -ни-, -ми-, -ви-, -т-, -ти-, -д-, -ди-, -и-, -е-, -у-.

Как видно из всего этого, датив даргинского языка чрезвычайно богат морфемными формантами. Нетрудно заметить также, что флексии местоименного датива и морфемы детерминативной функции сходятся своей ма-

териальной основой: используются в основном согласные *-л-, -н-, -м-, -й-, -б-, -в-, -д-, -т-* (с огласовкой или без нее).

Особый интерес вызывают четыре форманта именного датива: *-с, -з, -ж, -й*. Все эти четыре форманта Ш. Г. Гаприндашвили исторически возводятся к классному показателю *-д-*.

В современном даргинском языке показатель *-д-* репрезентирует или женский класс в ед. числе, или класс предметов и одушевленных существ во мн. числе. Ср. хюрк.: *рурси д-агиб* «девушка пришла», *буцли д-агиб* «волки пришли». Трудно понять, какая цель преследуется возведением формантов именного датива *-с, -з, -ж, -й* к показателю женского класса *-д-*. Доказать, что датив своими формантами исторически выражал категорию класса? Может быть, исследователь не ставил какой-либо цели, а сам языковой материал (в данном случае форманты датива *-с, -з, -ж, -й*) привел его к классному показателю *-д-*? Это маловероятно, так как ничто не говорит о том, что *-с* или *-з, -ж* или *-й* произошли от *-д-*, в фонетической системе даргинского языка таких звукопереходов нет.

Какими же звукопереходами объясняется происхождение этих формантных согласных от классного показателя *-д-*? На этот счет были предложены два объяснения звуковых трансформаций, хотя в обоих случаях в качестве источника или исходной точки автор берет одну и ту же единицу *\*-ди-*. Не звуковые трансформации дативных формантов привели автора к этому *\*-ди-*, а *\*-ди-* берется в качестве отправной точки. Таким образом, искомое заранее известно.

Направления многоступенчатых звуковых трансформаций дативных формантов по Ш. Г. Гаприндашвили таковы:

1)  $* = ди \rightarrow дзи \rightarrow зи \rightarrow з \rightarrow с$  [2, с. 227].

2)  $* = ди \rightarrow джи \rightarrow жи \rightarrow ж \rightarrow й$  [3, с. 352].

Большая сложность допускаемых при этом звуковых трансформаций видна во многих деталях. Во-первых, если учесть, что формант датива *-с* характерен для хюркилинского и акушинского диалектов, а формант *-з* — для цудахарского диалекта, то согласно этим схемам предусматривается первичность цудахарского *-з* по сравнению с хюркилинско-акушинским *-с*. Формант датива *-ж* характерен для хайдакского диалекта, а формант *-й* — для арбукского диалекта. Согласно этим схемам, арбукский формант датива *-й* получен из хайдакского *-ж*. Важно помнить, однако, что форманты датива — единицы морфологического уровня и поэтому не могли быть получены в результате только звуковых изменений некоторых первоначально иных морфем.

В первичной единице *\*-ди-* Ш. Г. Гаприндашвили кроме согласного *-д-* фиксирует еще гласный *-и-*, но в процедуре звукопереходов он незаметно исчезает. По мнению автора, собственно формантом датива является именно этот гласный: «Гласный *-и* в этих формах является подлинным признаком дательного падежа» [3, с. 352]. Более того, по мнению автора, формант датива *-й* может быть получен не только из *-ж*, но и в результате редукции этого подлинного форманта датива *-и*: «Что же касается спиранта *-й*, показателя дательного падежа в ряде диалектов даргинского языка, последний мы могли получить как в результате редукции гласного *-и*, подлинного форманта дательного падежа, так и в результате редукции спиранта *-ж*, форманта тоже данного падежа» [3, с. 352]. «Утеря в даргинском языке признака дательного падежа *-и* (чему способствовало нахождение его в абсолютном конце) вызвала затмение основной функции согласных *д, б//в<sup>д</sup>, м*, и облегчила осмысление последних как формантов дательного падежа в склонении личных местоимений первого и второго лиц» [2, с. 228]. «Затмившейся основной функцией» формантных согласных датива считается дифференциация имен на грамматические классы. Мысль о «затмении основной функции» формантных согласных датива и признание гласного *-и* «подлинным формантом датива» преследуют, по-

видимому, одну цель — отнести эти формантные согласные датива к историческим классным показателям.

Во-вторых, имеются и другие детали, которые не согласуются с предлагаемой историей звуковых трансформаций и происхождения на их почве формантов датива. Это звуки *-дз-* и *-дж-*, предполагающиеся в качестве промежуточных звеньев от *\*-ди-* к *-з*, *-с*, *-ж*, *-й*. Дело в том, что Ш. Г. Гаприндашвили вообще отрицает само существование фонем *дз* и *дж* в хайдакском, арбукском и цудахарском диалектах, признавая их наличие лишь в хюркилинском и акушинском диалектах. Несколько утверждений автора на этот счет: «Характерными признаками цудахарского диалекта даргинского языка являются следующие: ...отсутствие звонких аффрикат *дз* и *дж* как фонем...» [4, с. 5]; «Хайдакский диалект даргинского языка относится к диалектам и говорам типа цудахарского диалекта, имея ряд общих с ним характерных признаков: ...отсутствие звонких аффрикат как фонем» [4, с. 6]; «Характерными признаками кубачинского диалекта, в силу наличия которых он входит в группу диалектов и говоров цудахарского типа, являются следующие: ...отсутствие звонких аффрикат как фонем...» [4, с. 7]; «В диалектах цудахарского типа, как правило, отсутствует свистящая звонкая *дз*» [5, с. 133]; «В диалектах урахинского и акушинского типов *дз* и *дж* представляют собою самостоятельные фонемы» [5].

Таким образом, если согласиться с отсутствием в цудахарском, хайдакском и арбукском диалектах звонких аффрикат *дз* и *дж*, то возникает вопрос, каким же образом не существующие в данных диалектах аффрикаты могли служить промежуточным звеном в образовании падежных формантов датива в этих же диалектах? Ответа на него мы не находим.

По всей вероятности, форманты датива имени *-с*, *-з*, *-ж*, *-й*, представленные в разных диалектах даргинского языка, своим происхождением не имеют никакого отношения к классному показателю *-д-*, искусственно выводимому из заранее данного *\*-ди-*. Это становится особенно очевидным, когда выявляется другой, более надежный источник этих падежных формантов. Таким источником служит указательное местоимение.

Напомним еще раз, что формант датива имени *-с* характерен для хюркилинского и акушинского диалектов, формант датива *-з* — для цудахарского диалекта, формант датива *-ж* — для хайдакского, формант датива *-й* — для арбукского. Обратимся теперь к указательным местоимениям этих диалектов:

	Хюрк.	Акуш.	Цуд.	Хайд.	Арб.	
1.	гыиш	гыиш	ъга	гыеж	йей	«этот (у 1-го лица)»
2.	гыил	гыил	ъел	гыел	лел	«он, этот (у 2-го лица)»
3.	гыикI	гыикI	ъекI	гыекI	кIекI	«он, тот (наверху)»
4.	гыих	гыих	ъех	гыех	хех	«он, тот (внизу)»
5.	гыит	гыит	ъет	гыет	тет	«он, тот (где-то)».

Наблюдательный читатель сразу может заметить, что у указательного местоимения, помещенного в первой горизонтальной строчке, корневые элементы в разных диалектах различаются, в то время как во всех остальных местоимениях они совпадают. В хюркилинском (*гыиш*) и акушинском (*гыиш*) местоимениях представлен корневой согласный *-ш*, в цудахарском — корневой согласный *-з*, в хайдакском — корневой согласный *-ж*, в арбукском — корневой согласный *-й*.

Случайно ли столь разительное совпадение диалектных формантов датива имени и корневых морфем указательных местоимений? Едва ли. Во всяком случае у нас нет сомнений в том, что корневые морфемы указательных местоимений и послужили источником образования датива имени.

Лексемные предпосылки образования падежных формантов налицо. Исторически для передачи адресатного значения, выражаемого ныне дативом, использовалось, очевидно, словосочетание, вторым компонентом которого выступало указательное местоимение. Это указательное местоимение

мение в данном словосочетании утратило свое лексическое значение, превратилось во вспомогательный элемент, а со временем — в обыкновенный падежный формант.

Столь очевидный, на наш взгляд, процесс образования формантов датива в даргинском языке, к сожалению, до сих пор никем не был замечен. Между тем установление этого процесса важно не столько само по себе, сколько тем, что оно наталкивает на поиск аналогичных источников происхождения и других падежных формантов, служит своеобразным ключом к разгадке тайн происхождения падежных формантов на базе производной лексики. Как хорошо известно, аналогии этому процессу предвставлены в языках многих языковых семей. Налицо они и на Кавказе (ср. связь показателей эргатива и абсолютива с местоименным материалом в адыгских языках).

У нас нет сомнений в том, что местоименные корни лежат в основе образования падежных формантов даргинского имени, и задача соответствующего доказательства сводится к тому, что нужно только найти точные исторические соответствия. К тому же установление генетической общности падежных формантов и местоименных корней одного языка, в данном случае даргинского, может иметь определенное значение для разысканий соответствующих общностей других родственных языков. Например, в одном из диалектов даргинского языка в качестве форманта датива представлен *-й*, который своим происхождением восходит к соответствующему корневому указательного местоимения. Установление этого факта не может ничего не значить для объяснения происхождения, скажем, форманта датива родственного аварского языка *-йе*, хотя в самом аварском языке нет местоимения с соответствующим корневым *-й*.

Еще один пример в этом плане. Происхождение лакского наречия *шикку* «сюда» трудно объяснить на материале самого лакского языка, так как соответствующее указательное местоимение *вā* «этот» (у 1-го лица) не содержит здесь корневого *-ш-*. Однако местоименное происхождение этого наречия безупречно объясняется на почве соответствующего указательного местоимения даргинского языка *гъиш/ъиш* «этот» (у 1-го л.). В самом даргинском языке соответствующее лакскому наречие имеет формы: *гъишкIу* (хюрк.), *ъиша* (акуш.), *гъежин* (хайд.), *ъише* (пуд.), *йāне* и *син* (арб.). Особенно близки лакская и хюркилинская формы: *шикку* ~ *гъишкIу*. Нет никакого сомнения, что они своим происхождением обязаны указательному местоимению *гъиш*, точнее — местоименному корню *-ш-*. Н. Я. Марр без особых оснований считал, что аварское наречие места *аскIоб* «подле, около, возле» находит объяснение своего происхождения в сванском *лесг* «бок» [6]. По нашему мнению, это аварское наречие скорее обнаруживает генетическую общность с приведенными наречиями даргинского и лакского языков (переход корневого *-ш-* в *-с-* является закономерным).

Подобным же образом факты родственных дагестанских языков помогают объяснить происхождение и даргинских формантов. В этом отношении примером может служить следующий факт. Как известно, среди формантов датива личных местоимений даргинского языка встречается *-м*, но в этом языке нет местоименных лексем с соответствующим корнем. Из чего бы мог сложиться этот формант датива? Можно было бы предположить, что его источником послужило указательное местоимение *тил* «он, этот» (у 2-го л.), но соответствие формантного *-м* корневному *-л* не очень укладывается на материале самого даргинского языка. Здесь на помощь приходят другие родственные языки. В лакском языке, например, соответствующее указательное местоимение имеет форму *м̄у* «этот» (у 2-го л.), в табасаранском — форму *му*, в цахурском — *ман*, в рутульском — *ми*, в агульском — *ме*. Ср. также аваро-андо-дидойские *мун/мен/мин/ме/ми/мо/мэ* «ты». Выходит, что указательное местоимение с семантикой «он, этот» (у 2-го л. т. е. сферы дейксиса 2-го л.) в дагестанских языках имеет

генетическую общность с корневым *-л/м-*. Даргинский формант датива *-м*, по-видимому, восходит к этому местоименному корню.

Как известно, в даргинском языке ближайшим компонентом в процессе ассимиляции формантного *-м-* является согласный *-б-* (*-в-*). Выясняется, что это — не просто фонетическое явление. Дело в том, что в дагестанских языках сфера дейксиса 2-го л. обозначается не только корневыми *-м-*, *-л-*, но и корневым *-в-*. Ср.: табас. *ъуву/ъиву* «ты», агул., крыз., кюр. *вун* «ты», рут., хин. *вэву* «ты» и т. д. Таким образом, мест. корни *-м-*, *-л-*, *-в-* характеризуются определенной общностью, отражая собою дейксис 2-го л. К ним, вероятно, восходят форманты даргинского датива *-в*, *-б*. Что же касается форманта датива *-т*, то он представляется глухим вариантом форманта *-д*, а последний восходит к личному мест. 1-го л. *ду* «я».

Может возникнуть вопрос: чем объясняется участие столь большого количества мест. корней в образовании одного падежа? Как известно, передача пространственной ориентации является характерной особенностью местоимений. Очевидно, дат. п. форманты которого генетически восходят к мест. корням, первоначально выражал адресатное значение с пространственной ориентацией: разные форманты выражали разную пространственную ориентацию адресата по отношению к лицу «я». Эта пространственная ориентация существенно отличается от той «общенаправительности» датива дагестанских языков, о которой пишет Е. А. Бокарев [7].

Что же касается соответствия форманта датива *-с* корневному указ. мест. *-ш*, то оно в даргинском языке носит закономерный характер. Этот корневой *-ш-* является исходным не только для *-с-*, но и для *-з-*, *-ж-*, *-й-*, так как, по нашим предположениям, указ. мест. *гъиш//ъиш* является исходным для *ъез*, *гъез*, *йей*. Корневой *-ш-* указ. мест. *гъиш//ъиш* послужил источником образования не только названных формантов датива, но и целого ряда формантов адитивов: *-чи*, *-чу*, *-ши*, *-шшу*, *-са*, *-зи*, *-дэдзи* и т. д. Этот мест. корень обнаруживает себя в провербе *са-*, в инфинитивном суф. *-с* (*-з*, *-й*), в корне глагола *сай* «есть», в словообразовательных суффиксах *-деш* и *-чев*, а также в ряде других случаев.

В заключение хотелось бы высказать мысль, что местоименный корень дейксиса лица *-ш-*, очевидно, является достоянием не какого-либо одного дагестанского языка, он является общedaгестанским явлением, если не сказать большего. Блуждание в лабиринте абстрактных предположений и догадок привело к превратному представлению о многих явлениях в языке. В 1935 г. Э. Бенвенист писал: «То, чему до сих пор нас учили по вопросу о природе и разновидностях корня, в действительности представляет собой разнохарактерную смесь эмпирических понятий, предварительных допущений, архаических и поздних форм, а в целом — путаницу, в которой невозможно разобраться» [8]. Эти слова французского лингвиста остаются актуальными и по сей день.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ханмагомедов Б. Г.-К. К истории образования эргатива в языках восточно-лезгинской подгруппы. — Уч. зап. Ин-та истории, языка и литературы Даг. ФАН СССР, 1958, т. IV, с. 319.
2. Гаприндашвили Ш. Г. К генезису формантов дательного падежа в даргинском языке. — ИКЯ, 1948, т. II.
3. Гаприндашвили Ш. Г. Образование и функции основных падежей в диалектах даргинского языка — Тр. Сталинирского гос. пед. ин-та, 1956, т. III.
4. Гаприндашвили Ш. Г. Фонетика даргинского языка (по данным диалектов): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Тбилиси, 1956.
5. Гаприндашвили Ш. Г. Фонетика даргинского языка, Тбилиси, 1966, с. 133.
6. Марр Н. Я. Непочатый источник истории Кавказского мира. — ИАН, 1917, сер. VI, № 5, с. 315.
7. Бокарев Е. А. Выражение субъектно-объектных отношений в дагестанских языках. — ИАН ОЛЯ, 1948, т. VII, вып. I.
8. Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование, М., 1955, с. 178.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

*Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. — М.: Наука, 1979. 148 с.

Некоторые проблемы теории грамматических категорий в монголистике все еще остаются спорными и нерешенными.

Рецензируемая книга посвящена историко-сравнительному исследованию основных именных и глагольных категорий бурятского языка, анализу способов и средств их оформления. Наиболее подробно освещены в книге категории множественности, склонения и притяжания.

Как известно, грамматическая категория числа в языках флективного строя представлена в виде оппозиции форм ед. и мн. числа имени. В бурятском языке, агглютинативном по своему морфологическому типу, имена в своем большинстве индифферентны к понятию числа. По наблюдению Ц. Б. Цыдендамбаева, удельный вес имен, индифферентных к категории числа, составляет в бурятском языке внушительную часть: более половины нарицательных существительных, свыше девяти десятых имен прилагательных, определительных местоимений и числительных. К ним примыкают также существительные со значением совокупности предметов или опредмеченных действий.

Многие выдающиеся алтаисты (В. Шотт, О. Бётлингк, Г. Рамstedт, В. Котвич, Б. Владимиров, Г. Санжеев) пытались восстановить в монгольских личных местоимениях более архаичное соотношение форм ед. и мн. числа. Автор монографии поддерживает гипотезу о том, что местоимение *бидэ* «мы» могло сложиться из *би* «я» + *та* «вы». Свое предположение автор обосновывает тем, что значения местоимений *би* «я» и *та* «вы», взятые вместе, не противоречат, а гармонируют со значением местоимения *бидэ* < *бида* «мы». Диахронный анализ материала конкретных монгольских языков (дагурского, ордосского, ойратского, старописьменного монгольского, современного монгольского, калмыцкого и бурятского), свидетельствующего о местоименном происхождении показателя мн. числа *-дэ*, позволяет автору прийти к выводу о том, что «под влиянием ассимилирующего воздействия предшествующего переднерядного *и* (в слове *би*) гласный заднего ряда *а* (в слове *та*) перешел в переднерядный: *би + та > бида > бидэ*» (с. 19). Разработка данной проблемы, как и всего широкого круга вопросов, связанных с грамматическими категориями имени,

в целом отличается четкостью научных суждений и доказательностью выводов.

Исследования структуры и семантики суффиксов мн. числа имен существительных бурятского языка привели автора к заключению о том, что разнообразие суффиксов мн. числа «обусловлено не только семантикой и окончанием производящих основ, но и семантикой самих выразителей множественности» (с. 26). Новым в теории грамматических категорий монгольских языков явилось выделение категории множественности вместо традиционной категории числа. Скрупулезное исследование причин многообразия и семантической специфики различных форм мн. числа позволяет установить четыре типа множественности имен: сплошное, собирательное, ограниченное, неопределенное. Детально анализируются автором ограниченное и неопределенное множество, о наличии которых в бурятском языке ранее нигде не говорилось.

Тщательный морфологический и семантический анализ падежей в бурятском языке, сравнение их с соответствующими падежами монгольского, калмыцкого и старописьменного языков дает возможность отметить, что падежные форманты в них в основном имеют одни и те же прототипы: суффиксы родительного падежа восходят к *-н*, *-и*, дательного-местного — *-ду*, винительного — *и*, орудного — *-гар*, совместного — *-тай-теи*, исходного — *-акал-еце* и *-кал-це*. На основе лингвистического анализа устанавливается лексико-грамматический характер падежных форм: они по преимуществу являются словоизменительными, однако в ряде случаев лексикализуются, образуя адъективированные и адвербиализованные слова.

Категория притяжания рассматривается в работе как одна из основных грамматических категорий бурятского языка. На обширном материале автор устанавливает местоименное происхождение монгольских лично-притяжательных частей.

Вторая часть книги посвящена описанию глагольных категорий. Анализируются морфологические категории залога, вида, времени, наклонения. По мнению автора, из перечня глагольных категорий должны быть исключены категории переходности/непереходности, ак-

ивности/пассивности, так как они в сущности реализуются как лексико-семантические группировки глаголов. Категорию лица, по мнению ученого, следует квалифицировать как второстепенную, функционально-ограниченную, ибо она употребительна лишь в пределах глаголов повелительного наклонения.

На основе морфологических показателей и их значений в монографии выделены три залога: побудительный, страдательный, содействовательный. Особое внимание обращается на те сложности, с которыми связана характеристика побудительного залога в бурятском и других монгольских языках. В частности, в некоторых случаях значение побудительного залога таково же, как и страдательного залога. Двойственная природа побудительного залога, его различные значения улавливаются лишь благодаря лексическому окружению. На основе привлечения текстового материала Ц. Б. Цыдендамбаев уточняет многоплановость содержания побудительного залога и находит дополнительные критерии для разграничения отдельных типов его значений. Страдательное значение, как утверждает автор, имеет место тогда, когда действие направлено на субъект-подлежащее. И, напротив, в тех случаях, когда действие направлено не на субъект-подлежащее, а на объект-дополнение, соответствующие глагольные формы приобретают побудительное значение. Эти различия лишней раз подтверждают общетеоретическое положение о том, что для определения залогового значения глаголов существенную роль играет направленность действия на субъект или объект. Кроме того, важно отметить, что при более внимательном отношении к материалу можно обнаружить наряду с суффиксальными показателями и другие объективные признаки, отличающие страдательные глаголы от побудительных. Иначе говоря, в отдельных случаях при определении лингвистических значений недостаточно ориентация лишь на формальные (морфологические) показатели. Необходимо учитывать также и другие средства опознания грамматических значений, например, лексико-семантические и синтаксические.

Обобщая отдельные положения о страдательном залоге, декларированные в работах монголистов, Ц. Б. Цыдендамбаев подчеркивает, что самое главное, без чего не может обойтись страдательный оборот, — это направленность действия на объект, оформленный как субъект.

Что касается так называемого «содействовательного» залога, то Ц. Б. Цыдендамбаев высказывается о необходимости лишь терминологического уточнения: термин «содействовательный», по его мнению, наиболее полно и по существу отражает действительное содержание рассматриваемого залога.

Рассмотрение залоговых форм глаголов бурятского языка в сравнении с соответствующими формами залогов других

монгольских языков показало, что категория залога в указанных языках сложилась еще в общемонгольский период. Основанием для такого утверждения является идентичность средств образования залоговых форм, подвергшихся фонетическим изменениям в процессе их исторического развития в отдельных монгольских языках.

В главе о категории вида автором монографии высказана точка зрения, которая, как представляется, наиболее верно отражает характер объективно существующих в бурятском языке видовых значений. Для анализа фактов бурятского языка Ц. Б. Цыдендамбаев использует основной принцип современной аспектологии — необходимость различать собственно вид (морфологическое противопоставление, охватывающее всю совокупность глагольной лексики, подобно корреляции совершенный — несовершенный вид в русском языке) и так называемые способы действия (отдельные группировки глагольной лексики, выделяемые на основе частных характеристик глагольного действия по способу его совершения). Рассматриваемый в главе материал позволяет автору сделать вывод, что система видов астада складывалась после образования отдельных монгольских языков и что этот процесс все еще продолжается» (с. 126).

При описании грамматической категории времени Ц. Б. Цыдендамбаев опирается на известное в языкознании положение, в соответствии с которым принято выделять формы настоящего, прошедшего, будущего абсолютного времени, которое определяется через отношение одного времени к другому в последовательности устного или письменного изложения. В книге на оригинальных примерах из художественной литературы и диалектов разбираются все случаи функционирования различных форм времени. При этом автор прибегает к весьма важным и обоснованным замечаниям по поводу тех или иных спорных вопросов, касающихся данной категории. В частности, Ц. Б. Цыдендамбаев говорит о необходимости четкого разграничения аналитического способа выражения времени и синтаксической конструкции сложных глагольных сказуемых с временным значением. В первом случае конструкция функционально не расчленима, во втором она состоит из основной части, выраженной оюочательными формами бурятского глагола настоящего и прошедшего времени, и служебного компонента со значением времени, модальности.

Как любое серьезное научное исследование, рецензируемая работа наряду с несомненными достоинствами не лишена отдельных недочетов и спорных моментов. Некоторое сомнение вызывает утверждение автора о том, что грамматическая категория вида в бурятском языке «фиксирует отклонения от обычного, нормального действия в темпе,

краткости, размере» (с. 126). В этой формулировке остается неясным, какое действие можно считать «нормальным» и что является критерием отклонения от него. Указание на многократность, мгновенность, внезапность и т. д. как реально существующие в языке конкретные характеристики способа протекания действия во времени едва ли следует квалифицировать как «отклонения».

В первую очередь нас смущает то обстоятельство, что автор, исходя из своего постулата о том, что «грамматическая категория исследуемого языка бывает не только значимой, но и морфологизованной» (с. 3), отвергает все исходные формы, в частности, ед. число, именительный падеж, действительное наклонение и 2-е лицо побудительного наклонения. Нам представляется, что тезис Ц. Б. Цыдендамбаева об отсутствии в бурятском языке перечисленных форм находится в явном противоречии с общепринятым подходом к языку в целом и ко всем языковым явлениям. Мы не согласны с тем, что Ц. Б. Цыдендамбаев отвергает понятия о нулевой показателе и нулевой форме, обоснованные на материале многих языков и опирающиеся, как известно, на фактор парадигматичности форм. Думается, что автор чрезмерно прямолинейно проводит и свой тезис об обязательной морфологической оформленности грамматической категории. Исходя из этого, он отрицает в бур-

ятском языке наличие именительного падежа. В данном случае мы считаем более убедительной трактовку научной грамматики бурятского языка, согласно которой именительный падеж и основа представляют собой разные по содержанию, хотя и формально совпадающие категории. Согласиться с точкой зрения Ц. Б. Цыдендамбаева значит ввести дополнительные сложности в практику школьного преподавания. Так, в предложении *Утюгнай шатаа* «Перегорел утюг» слово *утюг* ученик должен считать не именительным падежом, а основой (поскольку от него образуется новое слово *утюгдаа* «утюжить»), а на уроке русского языка тот же ученик, разбирая предложение *Наш утюг перегорел*, слово *утюг* должен трактовать как именительный падеж, совпадающий с основой, и т. д.

В заключение следует отметить, что автор рецензируемой монографии изложил принципиально новое понимание целого ряда именных и глагольных категорий бурятского и родственных ему других монгольских языков. Теоретические положения книги хорошо иллюстрируются добротным языковым материалом. Монография Ц. Б. Цыдендамбаева вносит ценный вклад в развитие теории грамматических категорий в монгольском языкознании.

Дондуков У.-Ж. III., Матеев Б. В.

Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. — М.: Наука, 1979. 304 с.

Рецензируемая книга представляет собой посмертно опубликованный сборник работ одного из крупнейших советских лингвистов и востоковедов проф. Александра Алексеевича Холодовича (1906—1977). Сборник содержит монографию «Глагол в современном японском языке», публикуемую впервые, и девять статей, преимущественно общезыковедческого характера (1946—1970 гг.).

При отборе работ, помещенных в сборнике и образующих по объему лишь небольшую часть творческого наследия А. А. Холодовича (см. список его основных научных трудов на с. 299—303), составители стремились познакомить читателей с наиболее важными теоретическими исследованиями А. А. Холодовича, написанными в послевоенный период (с. 3), и по возможности полно и разносторонне представить систему его общелингвистических и методологических взглядов. Этот критерий оказался весьма удачным, позволив придать книге внутреннее единство и одновременно достаточно широко охватить в ней основные аспекты научного творчества А. А. Холодовича, несмотря на то, что боль-

шинство его конкретно-лингвистических исследований (в области японского и корейского, а также айского, бацбийского, грузинского, индонезийского, пивского, финского, чувашского, чукотского языков) по необходимости осталось за ее пределами.

Работы, включенные в сборник, настолько многосторонни и информативны, что проанализировать всю полноту их научного содержания в настоящей рецензии вряд ли возможно. Мы ограничимся здесь рассмотрением этих работ преимущественно с точки зрения тех методологических принципов, на которых они основаны. Дело в том, что, с одной стороны, исследования А. А. Холодовича (вообще ориентированные на очень широкого читателя) в методологическом отношении представляют интерес для языковедов всех без исключения направлений и специальностей и, с другой стороны, при очевидной целостности и последовательности общезыковедческих воззрений автора он сам не свел их воедино в какой-либо специальной работе.

В самом общем плане выделяется три

аспекта в изучении языка (и языков), внимание к которым проследивается в большинстве работ сборника и которые поэтому можно считать характерными для научного метода А. А. Холодовича: — диалектическая взаимосвязь универсального и специфического в языке; социальная природа языка как средства человеческого общения и познания; конкретно-методическая обоснованность лингвистического исследования.

Общезнаменитый принцип взаимосвязи универсального и специфического требует от исследователя-языковеда за внешне разнородными языковыми фактами искать глубинные закономерности более общего характера, анализируя материал любого языка как своеобразное проявление универсальных свойств естественного языка вообще и активно привлекая межъязыковые сопоставления.

Данный принцип можно считать определяющим для научных взглядов А. А. Холодовича, который высоко оценивает такой подход в работах других лингвистов [прежде всего Л. В. Щербы, методологические установки которого во многом являются для него образцом (см. статью «О второстепенных членах предложения (из истории и теории вопроса)», особенно с. 220—226)] и последовательно проводит его в своих исследованиях. Это проявляется и в широком использовании им данных самых различных языков при изучении конкретных особенностей какого-либо одного языка [см., например, венгерские (с. 95), английские (с. 155), корейские (с. 160), древнегреческие (с. 162), чукотские (с. 198—199) и другие параллели и противопоставления, учитываемые при анализе японского материала], и особенно в его глубоком интересе к лингвистической типологии как такому способу описания того или иного лингвистического явления, который позволяет «перечислить все логические возможности, существующие в этой области языка» (с. 255).

Фактически во всех своих работах, представленных в сборнике, А. А. Холодович стремится не просто дать исчерпывающее и максимально обобщенное описание рассматриваемых им языковых фактов, но построить некоторую логическую систему, позволяющую либо предсказывать все принципиально допустимые явления той же природы (хотя бы они отсутствовали в исходном материале), либо, по крайней мере, строго определять границы соответствующей сферы. Если же говорить о собственно типологических работах, то к ним в сборнике можно отнести три статьи: «К типологии порядка слов» (с. 255—268), «Залог I: Определение. Исчисление» (с. 277—293), «О типологии речи» (с. 269—276).

Статья о порядке слов примечательна прежде всего тем, что это первая общезнаменитая статья, где предлагается описывать порядок слов в любых языках с помощью правил универсального

вида, сформулированных в терминах грамматики зависимостей. Автор демонстрирует возможность построения на этой основе исчисления всех теоретически мыслимых вариантов линейной организации сочетаний слов в языке и, тем самым, исчерпывающей типологической классификации языков в данном аспекте. В статье также отмечается и обосновывается возможность использования языком позиционных средств для выражения определенных свойств смысловой структуры предложения, минуя структуру синтаксическую.

В статье о залого А. А. Холодович закладывает основы своей теории грамматического залога, базирующейся на вводимом им методологически важном и в настоящее время общепринятом понятии *д и а т е з ы* — схемы соответствия между партиципантами (семантическими участниками) ситуации, обозначенной некоторым словом, и синтаксическими ролями его актантов — слов, называющих этих участников в предложении. Залог в рамках этой теории — «это грамматическая маркированная в глаголе диатеза» (с. 284). Поскольку число как партиципантов, так и актантов каждого конкретного слова строго ограничено, все теоретически мыслимые варианты залоговых противопоставлений могут быть эффективно исчислены, а конкретные языки охарактеризованы по тому признаку, какие из этих противопоставлений получают в них формальное выражение.

Наконец, в статье «О типологии речи» А. А. Холодович развивает типологический подход применительно уже не к плану самого языка, а к плану так называемого языкового существования. Автор предлагает анкету из пяти признаков, в терминах значений которых можно описать любой речевой акт с точки зрения условий его осуществления, применяемых при этом средств, количества участников, возникающих между ними в этой связи отношений и т. д. Ученый убедительно показывает, что и эта сфера, при всей ее внешней индивидуализированности, открывает широкие возможности для обобщающих исследований.

Выбор предмета исследования в статье «О типологии речи» показывает, насколько существенным для А. А. Холодовича является и второй из выделенных нами выше трех аспектов его лингвистического метода — рассмотрение языка с точки зрения его социальной роли как инструмента человеческого общения и познания. О внимательном отношении ученого к общественной природе языка говорит и ряд других его работ. Такова, например, глава «Иерархичность» монографии «Глагол в современном японском языке» (с. 54—90), где автор, опираясь на построенную им типологию иерархических отношений между людьми в обществе, дает убедительную интерпретацию японских «форм вежливости» и подробно описывает условия их употреб-

ления. Таковы и гораздо более ранние статьи «Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке» (с. 173—195) и «Партиципный атрибут в японском языке» (с. 196—210). Первая из этих статей посвящена лингвистическому обоснованию и поиску социальных причин нерелевантности для японского имени противоположения единичности и множественности («поглощаемого» более существенным для этого языка отношением целого и части), а вторая — рассмотрению типов партиципальных отношений в японском словообразовании и синтаксисе в связи с проблемой устранения в языке (по мере изменения человеческих представлений о действительности) первобытного партаксиса целого и части.

Вероятно, не все положения двух последних работ, во многом непривычных для современного лингвиста, можно признать бесспорными. Однако уже тот факт, что, написанные в 40-х гг., они по-прежнему представляют значительный научный интерес, свидетельствует о плодотворности методологических позиций автора, на которые они опираются.

Нам осталось рассмотреть последний из трех отмеченных выше важных аспектов научного творчества А. А. Холодовича — его стремление при решении каждой лингвистической задачи использовать тщательно разработанную применительно к этой задаче и эксплицитно сформулированную конкретную методiku, сочетающую логическую стройность с глубоким содержательным обоснованием.

Эта методологическая требовательность ученого проявляется, в частности, в подчинении им своих конкретно-лингвистических исследований некоторой общей схеме, предусматривающей наличие в них трех основных компонентов (как легко видеть, выделение этих компонентов базируется на соскоровских тезисах о двусторонней природе языкового знака и о системном характере языка): 1) уяснение смыслового содержания изучаемого явления, формулировка его эксплицитного определения и исчисление всех логически возможных здесь противопоставлений; 2) выявление и классификация формальных средств, которые могут использоваться в рассматриваемой сфере языка для передачи указанного содержания; 3) установление ограничений, налагаемых данным языком на возможности выражения в нем рассмотренных смысловых противопоставлений и на используемые в этих целях средства, и описание условий употребления соответствующих языковых единиц в связи с их синтагматическими и парадигматическими характеристиками.

Данная принципиальная схема, в частности, положена А. А. Холодовичем в основу пяти центральных глав его монографии «Глагол в современном японском языке». Речь идет об уже упоми-

навшейся главе «Иерархичность», а также о главах «Каузатив» (с. 91—112), «Залог» (с. 112—138), «Перфект-результатив» (с. 138—160) и «Реципрок» (с. 161—172).

Каждая из перечисленных глав (за исключением главы «Залог», базирующейся на более ранней типологической работе автора на ту же тему) начинается с описания семантической стороны соответствующего круга языковых явлений. Так, для каузативности здесь рассматривается смысловая деривация на базе каузативного отношения; для перфекта и результатива — семантическое противопоставление предельных и непредельных процессов (интерпретируемое как различие в том, насколько однозначно эти процессы определяют состояния, наступающие по их естественным завершению в их субъектных, объектных или локативных участниках); для реципрока — конверсные (прежде всего, симметричные) семантические ситуации, отличающиеся наличием двух сопряженных (т. е. облигаторно предполагающих друг друга) активных партиципантов.

Затем обосновывается лингвистическая релевантность рассмотренных семантических фактов для японского языка и вводятся обуславливаемые ими грамматические категории — в ряде случаев нетрадиционные по своему определению. Так, А. А. Холодович расширятельно трактует здесь понятие залога, распространяя его, в частности, на случай нераспределения партиципантов ситуации, обозначенной сочетанием синтаксически связанных слов (обычно двух), между диктезами этих слов (см. с. 124 и далее, особенно п. 6.8.1). Новым является предлагаемое им разграничение субъектного, объектного и иллативного результатов (с. 141). Не выделялась ранее в японистике и граммема реципрока, постулируемая А. А. Холодовичем в связи с фактом регулярного морфологического выражения в японском глаголе симметричных предикатов.

После введения всех необходимых категорий автор переходит к выявлению допустимых в японском языке типов и средств их формального выражения, установлению синтаксических свойств этих средств и построению классификаций содержащих их языковых единиц с учетом валентных характеристик и других особенностей сочетаемости этих единиц.

Рассмотренная общая схема, которой, как мы показали, А. А. Холодович весьма строго придерживается в своих конкретно-лингвистических исследованиях, не исчерпывает, однако, его требований к их методике. Не меньшее значение он придает продуманности и эффективности используемых при этом понятийных инструментов. Подчеркивая, что всякий новый момент, обнаруженный при исследовании языкового материала, «должен, во-первых, получить свое обоснование, а во-вторых, быть терминологически зафиксирован» (с. 19), ученый удачно ис-

пользует в этих целях как современный арсенал средств лингвистического обобщения и формализации (включая грамматику зависимостей, противопоставление модуса и диктума, понятия лексической функции, глубинно-синтаксического и семантического представлений предложения и др.), так и ряд понятий и терминов из области математики и формальной логики.

Вместе с тем А. А. Холодович считает недопустимым в процессе обобщения отождествлять разноплановые понятия, затемняя этим их лингвистический смысл. Резкую критику вызывает у него, например, отождествление синтаксических и морфологических категорий в концепции частей речи Потегбни — Шахматова — Пешковского (с. 218—220) или смешение плана языка и плана речи в «Грамматике русского языка» 1952—1954 гг. [статья «К вопросу о группировках слов в предложении» (с. 244—254)]. Чтобы избежать в лингвистическом исследовании подобных бессодержательных обобщений, по мысли А. А. Холодовича, необходимо прежде всего бережно относиться как к самим языковым фактам, так и к их гипотетивной интерпретации в сознании говорящих, проявляющейся, в частности, в традиционных лингвистических трактовках. Лингвист должен стремиться подвести разумный фундамент под традицию (с. 19), не просто констатировать, но «вывести необходимость» всех замеченных противоречий между языковой формой и содержанием (с. 173). Иными словами, он должен добиваться от своих описаний максимальной естественности и объяснительной силы, что и явится лучшим обоснованием используемых им понятий.

Наконец, важнейшее значение для А. А. Холодовича имеет корректность применения понятийного аппарата лингвистики к последующему материалу. Ученый не признает ни малейших отступлений от требований аргументированности и строгости проводимых в лингвистическом исследовании логических построений. Концепция, в пользу которой не приводятся лингвистически значимые доводы, вообще не должна рассматриваться в рамках языкознания [ср. замечание в связи с теорией двухвершинности предложения, являющейся, по мнению А. А. Холодовича, последним формальной логики (с. 298)]. Аргументы, которые на материале хотя бы некоторых языков либо неприменимы, либо дают результаты неоднозначные или противоречащие интуиции, не могут считаться вполне убедительными [критика концепции доминирующего положения подлежащего в предложении (с. 295—297)]. Подмена исследователем своих исходных понятий и определений другими, не сформулированными им в явном виде, является безусловным недостатком, даже если она происходит бессознательно или дает, в конечном итоге, приемлемые результаты.

С той же требовательностью относится А. А. Холодович и к своим работам, при-

давая исключительно важное значение эксплицитной формулировке применяемых им понятий и осуществляемых при их участии логических операций. Автор уделяет большое внимание использованию символических обозначений и формальных способов представления анализируемого материала, исключающих возможность случайных пропусков или неявных сдвигов в интерпретации фактов языка, строгим операционным процедурам и критериям разграничения и (или) классификации тех или иных языковых явлений. Блестящим образцом разработки А. А. Холодовичем таких процедур и критериев может служить, например, включенная в рецензируемую книгу статья «Опыт теории подклассов слов» (с. 228—243), в которой автор рассматривает условия и правила применения двух критериев — семантико-морфологического и (семантико-)синтаксического — для классификации слов в пределах одной части речи (в разбираемом им случае — японских глаголов). В этой статье, в частности, дается почти математически точное описание методики определения синтаксической модели управления глагола по примерам его употребления в контексте, а также сравнения получаемых моделей между собой по таким признакам, как количество образующих их валентностей (мест), морфолого-синтаксические и семантические характеристики слов, способных в тексте заполнять эти места, соответствующие тем или иным моделям референционные структуры, допустимые для разных моделей типы конверсных и иных трансформаций и т. д.

Мы рассмотрели в общих чертах основные методологические установки А. А. Холодовича. Можно много говорить о ценности конкретных научных результатов, достигнутых им на основе последовательного проведения этих установок в своих трудах, о плодотворности и перспективности введенных или переосмысленных им принципов и понятий (например, понятий диатезы, суперлексем, конфигурации и др.), о многочисленных тонких и глубоких замечаниях, разбросанных по страницам его работ [таких, как замечание о генетическом родстве японского страдательного залога и каузатива (с. 137) или мысль о возможности учета при исследовании коммуникативных актов их естественно-языковых описаний, а также имеющих для этого в языке средств, прежде всего лексикис (с. 273, 274—275)]. В данной рецензии это сделать невозможно: отметим лишь еще одну общую особенность рассматриваемой книги.

Особенность эта, тесно связанная с другими отмеченными выше сторонами научного метода А. А. Холодовича, состоит в том, что его книга не просто сообщает читателю определенную позитивную информацию (хотя в этом отношении она, безусловно, чрезвычайно насыщена), но и побуждает его к самостоятельным научным размышлениям, ставя

перед ним множество новых задач и вопросов. Одни из этих вопросов автор формулирует в явном виде как проблемы, которые по тем или иным причинам не рассматриваются в соответствующей его работе и еще ждут своего решения (см. хотя бы с. 112, 233, 235, 242—243, 268, 292 и др.). К другим вопросам читателя имплицитно подводит ход логических рассуждений автора, а также используемые в них постулаты и гипотезы. Так, в связи с рассмотрением на с. 69 понятия групповой флексии возникает вопрос о месте этого понятия с точки зрения противопоставления морфологии и синтаксиса. Описание категорий иерархичности заставляет задуматься над тем, имеют ли эти категории словоизменяющую, словообразовательную или иную природу. Ряд интересных проблем ставит мысль А. А. Холодовича о зависимости порядка порождения сложных словосочетаний от их речевого контекста (см. с. 250—252, особенно примеч. на с. 251) и т. д. Такая «открытость», свойственная трудам А. А. Холодовича, обращенность их в будущее, ориентация при рассмотрении каждого вопроса на более широкую перспективу придает его книге особую ценность и актуальность.

Мы ничего не говорили до сих пор о недостатках рецензируемой книги — не говорили потому, что недостатков как таковых в составляющих ее работах очень немного. Разумеется, в них есть отдельные опечатки; есть и смысловые неточности (например, на с. 271 в строках 10—13, 26—28 явно переставлены местами слова *первый* и *второй*, что может навести читателя на ложные ассоциации). Однако подобные неточности, повторы, немногочисленны и практически не мешают восприятию мысли автора, поскольку могут быть легко обнаружены и скорректированы по контексту.

В отношении же содержательной стороны представленных в сборнике работ

следует говорить скорее не о недостатках, а о дискуссионности некоторых из предлагаемых в них решений тех или иных лингвистических проблем (тем более, что автор обращается, как правило, к наиболее сложным и наименее изученным из таких проблем) или о возможности альтернативных трактовок отдельных языковых фактов. Более серьезные претензии можно предъявить, пожалуй, только к главе «Суперлексемы» (с. 28—54) монографии «Глагол в современном японском языке», где дано около 250 пар японских глаголов, связанных между собой, по утверждению автора, регулярным смысловым отношением каузативности (с. 28): для целого ряда из перечисленных пар и регулярность, и каузативность смысловых отношений между их членами вызывает большие сомнения. Представляется, однако, что здесь, как и в случае некоторых других погрешностей в содержании и логике изложения указанной монографии, основную роль сыграло то, что автор не успел сам завершить эту работу и провести ее окончательную редакцию. Будь у него такая возможность, большинство из имеющихся неточностей были бы скорее всего устранены, а список суперлексем уточнен.

Завершая свою рецензию, мы должны еще раз подчеркнуть, что она отнюдь не претендует на сколько-нибудь глубокий анализ сборника: такой анализ требовал бы гораздо более тщательного и всестороннего изучения содержащихся в нем работ с учетом всего научного наследия автора. Думается, однако, что в рамках настоящего обзора это и не является необходимым. Полное представление о рассмотренных нами работах читатель может получить, обратившись непосредственно к книге А. А. Холодовича, — книге, которая, безусловно, войдет в золотой фонд советского языковедения.

Шалыпина З. М.

**Рассадин В. И.** Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. — М.: Наука, 1978. 288 с.

Настоящая монография является продолжением работы автора над систематическим и исчерпывающим описанием языка одного из самых малочисленных тюркоязычных народов — тофаларов (тофов), проживающих на Саянах. Книга непосредственно связана с изданным ранее содержательным трудом «Фонетика и лексика тофаларского языка» (Улан-Удэ, 1971) [см. 1]. Следует сразу отметить, что в монографии представлен исключительно ценный для общей тюркологии и алтаистики языковой материал, который получает интерпретацию на основе тради-

ционных грамматических представлений отечественной тюркологии. Однако нужно признать, что ряд грамматических явлений трактуется автором с новых, оригинальных позиций. Например, интересно подана категория числа у имени существительного, по-новому описаны формы вида и индикатива у глаголов, степени сравнения имен прилагательных, разряды местоимений и др. Такая интерпретация фактов воспринимается органично. С другой стороны, новое толкование обращает внимание на не решенные до сих пор спорные вопросы тради-

дионной тюркской грамматики, а свежий языковой материал обостряет восприятие этих проблем.

В отличие от предшествующей книги, автор применяет здесь транскрипцию на базе русской графики с использованием нескольких дополнительных знаков. В. И. Рассадин фактически разработал основы тофаларской письменности, поскольку этот язык бесписьменный. Здесь отдано предпочтение фонетическому принципу с элементами морфологического. В трудном вопросе орфографирования сильных и слабых согласных в разных позициях (особенно в аплауте) автор пошел по фонетическому принципу: обозначать их так, как они произносятся. Различие между сильным и слабым глухим на письме проявляется в том, что сильные всегда сопровождаются фарингализованными гласными, которые последовательно обозначаются постановкой *ъ* (*аът* «лошадь», *кыънар* «будет гореть», *чытпаън* «не достиг», *таък* «быстро»). Способ изображения тофаларских звуков, предложенный В. И. Рассадиним, четок, прост (этому посвящен специальный раздел Введения). Здесь только можно пожалеть, что соответствие — «звук — буква» не представлено в обобщающей таблице.

В упомянутом Введении имеется также краткое, но насыщенное изложение истории исследования тофаларского языка, его морфологии. Верен вывод автора о том, что несмотря на сделанное в тюркологии, отсутствует широкое описание всей морфологии и системы словообразования. Восполнением этого пробела и служит настоящая монография. Вопрос о составе и группировке частей речи в тофаларском языке решается в традиционном плане. Автор выделяет знаменательные части речи (слова-пазвания: имя существительное, прилагательное, числительное, глагол, наречие, категория состояния, изобразительные слова и указательные слова — местоимения), служебные части речи (послелоги, союзы, частицы), модальные слова, междометия. Дальнейшее рассмотрение морфологических категорий и процессов словообразования проводится в работе в данной последовательности. В каждой из глав о частях речи имеется описание словообразования данной части речи. Оно представляет очень полно как синтетические, так и аналитические способы словопроизводства. Специально выделены непродуктивные средства, что необычайно важно для исторической грамматики. Успешной разработкой этих разделов способствует, несомненно, то обстоятельство, что исследователь в свое время детально изучил и описал лексику тофаларского языка, выявил состав непроизводных слов, проработал много текстовых материалов.

Хочется также отметить разделы, где имеется сопоставление отдельных явлений тофаларской грамматики с другими тюркскими языками. Автор показывает

здесь своеобразие языка, его общетюркские и региональные связи. На этой основе предлагаются в некоторых случаях новые этимологии форм тофаларского языка, которые в большинстве случаев представляются убедительными, верно вскрывают пути формирования показателей, их семантические филиации.

У имени существительного автор выделяет грамматическую категорию числа, принадлежности, сказуемости, склонения, определенности — неопределенности. Отметив, что имя в тофаларском языке «без показателя числа не содержится в себе указаний на число» (с. 17), В. И. Рассадин далее указывает, какими средствами выражается в языке количественная характеристика в случаях реализации разных смысловых типов множественности и единичности (их названо шесть: индифферентная, собирательная, неопределенная, определенная, соотносительная и единичность). Здесь участвуют лексические и разные грамматические средства (основосложение, аффиксация, служебные слова, некоторые словосочетания). Такая трактовка числа позволяет автору описать целую систему средств количественной актуализации имени и не замкнуться на характеристике лишь одной морфемы *-лар*, которой и ограничиваются обычно в тюркских грамматиках. Подробно рассмотрена представленная восьмью падежами категория склонения, которая «являет собой общетюркский тип, характерный для северных тюркских языков» (с. 51), но с наличием ряда архаичных черт. К последним автор относит сохранение в «пережиточном состоянии» древних падежей: директива (*-каары*), инструменталиса (*-ын*), локатива (*-ра*), экватива (*-ша*). Относительно последних, видимо, точнее говорить не о «пережиточном состоянии», а о том, что в тофаларском языке, по сравнению с другими, представлено большее количество непродуктивных образований (обычно наречий) с этими показателями. В парадигму включены помимо шести общетюркских редкий в языках партиципный (частный) падеж на *-да/-та* и производный падеж (просекутив) на *-ша/-ше* (*орукша* «по дороге», *изинше* «по его следу»), представленный также в хакасском, алтайском, шорском и чулымском языках. Доводы в пользу включения<sup>1</sup> их в парадигму и объяснение их семантического развития представляются нам убедительными. Среди других тофаларский язык выделяет широкое использование так называемого основного падежа в функции прямого дополнения, в этой форме выступает даже имя с аффиксом принадлежности 1 и 2 лица обоих чисел (*сен атың багладың* «ты привязал своего коня»). В силу этого оказывается весьма ограниченной сфера употребления винительного падежа, он оформляет только определенный объект (с. 36—37).<sup>1</sup>

В данном разделе вызывает возражение толкование падежа как формы имени, определяемой исключительно синтаксис-

ческими отношениями слов в предложении. Для тюркских языков с их высокой содержательностью аффиксов вообще, в том числе и падежных, такое определенное представляется очень узким. И не случайно, что автор противоречит себе же, когда описывает значения отдельных падежей, ср.: «исходный падеж выражает точку, от которой начинается действие...» (с. 39); местно-временной падеж указывает «местонахождение предмета» и «время совершения действия» (с. 39) и т. п. Синтаксические функции тюркских падежей, видимо, следует считать вторичными по отношению к их первичным, содержательным функциям обозначения разных участников ситуации. Даже в таком традиционно считаемом грамматическом падеже, как родительный, его содержательная функция обозначения конкретного обладателя совершенно однозначно проявляется в случаях предикативного использования, представленный в тофаларском языке: *бо аът ол кишиниң* «этот конь того человека» [ср. 2]. Таким же узким кажется и утверждение, что падеж — это чистая «привилегия» имени существительного. В тюркских языках и в том же тофаларском, по данным автора, склоняются и другие части речи — местоимения, числительные, в глаголе — причастия, могут принимать падежные показатели и деепричастия. Вряд ли есть доказательство того, что они каждый раз конверсируют в имена существительные.

В тюркологии ставится вопрос, может ли слово *бир* «некий, некто» < «один» быть специальным показателем категории неопределенности. Тофаларский язык иллюстрирует такую возможность, ибо в нем *бир* выступает как раз выразителем неопределенности (*бир киши келген* «кто-то пришел»), а «один» передается словом *бирээ* < \**birägü*, ставшим единственной формой количественного числительного: *он бирээ* «одинадцать», *аң бирээ шураан* «зверь прыгнул один раз» (см. с. 51—52, 111, 113, 118, 128).

В разделе о словообразовании имен существительных следует подчеркнуть внимание автора к развитости лексикализации отдельных морфологических форм и словосочетаний в тофаларском языке. Этот язык, располагая в целом общетюркской системой средств словообразования, выделяется различной их продуктивностью и сочетательной способностью, и автор последовательно фиксирует эти особенности (см. афф.: *-лышкы*, *-лык*, *-ашкы*, *-гыш*, *-кы*, *-ң*, *-би*, *-пышааңга*). Раздел о словообразовании также интересно подан и в главе об имени прилагательном. Автор указывает, что тофаларский язык занимает особое место в своем регионе, характеризуясь «более полным и чистым сохранением» архаичных аффиксов типа *-liŷ*, *-aŷiŷ*, *-sŷ*. В. И. Рассадин отмечает одну особенность этого языка — отсутствие «четко выраженного синкретизма прилагательных и наречий, как это принято в других тюркских язы-

ках» (с. 84), — здесь слово «в обстоятельной функции обязательно получит грамматический показатель, выражающий адвербиальность», ср.: *эки оол экиди өөренип туру* «хороший мальчик хорошо учится» (с. 84). В этой главе привлекает также описание грамматической категории прилагательных — степени сравнения (с. 86—97).

Тофаларский язык сохранил, как и сарыг-югурский, архаичную систему образования названий десятков (*дөртөн* «сорок», *чедон* «семьдесят» и т. п.). Формирование других разрядов числительных происходило в тюркских языках по-разному, и тофаларский язык отразил, как показал автор, эти разные тенденции, сближаясь то с другими языками саяно-алтайского ареала, то с якутским, то являя общетюркский тип. Представляется, что В. И. Рассадин правильно раскрывает структуру аффиксов порядковых числительных *-(ы)шкы* ~ *-(ы)шкыи*, когда первую часть — *-ш* возводит к *-nš* (> *-nš* > *-š* > *-s*, как в якутском) + афф. относительного прилагат. *-ki*, поэтому этимологию *-шкы* из переразложения *паш-кы* > *пашкы* «первый» нужно, видимо, отверсти [ср. 3].

Глава о глаголе является в книге самой обширной (с. 131—243). Все глаголы автор распределяет фактически на две большие группы: глаголы действия-состояния (переходные и непереходные), к ним примыкают глаголы речи, другая группа — изобразительные глаголы — включает образные и звукоподражательные глаголы. Каждая из них характеризуется своеобразием морфологических форм (особенно «видовых»). Залог трактуется автором как категория, выражающая формами глагола разные типы отношений между членами предложения и реальными «участниками» описываемой ситуации (с. 132). Включив в это определение положение о соотношении между единицами двух планов — содержательного, семантического уровня и грамматического (члены предложения), автор, однако, при описании конкретных залогов (например, возвратного, совместного) не всегда учитывает эту принятую им двойственную трактовку залога и тем самым возвращается на традиционные тюркологические позиции, с которых содержательные и формально-синтаксические отношения рассматриваются на одном уровне.

Тофаларский язык принадлежит к тем редким тюркским языкам, где присутствует как живое образование понудительный залог (каузатив) с пермиссивным значением: *оң машинга чжуурткан* «он задалвал машиной». В. И. Рассадин пишет, что такие конструкции в языке очень распространены (с. 38, 138). В грамматике, к сожалению, описана лишь синтаксическая структура этих предложений, но не дан семантический анализ имен, выступающих в функции агенса, и глаголов, способных образовывать такие структуры (всегда ли они обозначаю

нежелательные, негативные действия?)

В главе подробно описаны формы, выражающие характер протекания действия (с. 144—164). Автор опирается в трактовке этих форм на предложенное Б. А. Серебрянниковым разграничение видов и видовых классов по уровню их грамматикализованности — объему и универсальности охвата глагольной лексики. Основываясь на этом, В. И. Рассадин констатирует наличие в тофаларском языке «двух формально сложившихся и универсальных видов — завершенного и незавершенного, представляющих собой чисто формообразовательную категорию. Наряду с этими видами существуют разнообразные синтетические и аналитические видовые формы, ...выражающие характер протекания действия» (с. 148). Виды присущи только глаголам действия — состояния. Таким образом, в описываемом языке важно прежде всего различие завершенных и незавершенных действий. Эта схема совпадает в общих чертах со схемой, предложенной для тувинского языка [см. 4]. Уровень грамматикализованности форманта (его «универсальность», «максимальная тотальность распространения» — с. 147), т. е., видимо, безотносительность к семантике глагола, надо думать, величина весьма условная и, как нам кажется, в данном случае во многом субъективная (статистической обработки материала не было). Следует учесть хотя бы, что «виды» характерны лишь для глаголов действия-состояния, т. е. уже ограниченной группы слов, они осложняются иными значениями (-ыьт — «интенсивная законченность», -а бер- — «исчерпанность начального этапа действия» и др.) и этим мало отличаются от других «видовых форм». Универсальность, тотальность и частотность — различные понятия, последняя может оказаться очень высокой, но она не говорит об универсальности форманта. «Виды» и «видовые формы» для тофаларского языка, как и для других тюркских языков, не являются обязательной грамматической категорией глагола, их употребление определяется коммуникативной необходимостью, поэтому критерий тотальности спорен вообще.

Тофаларский язык обладает развитой системой величых форм глагола. В нем необычайно широко употребляется деепричастие на -а для оформления одновременного действия, сохраняются также формы на -ы и -у, исчезнувшие в других языках.

В. И. Рассадин не выделяет изъывительного склонения как специального обозначения реальности действия, а признает только категорию времени, которая обозначает реальное, с точки зрения говорящего лица, действие, относящееся к настоящему, прошедшему или будущему» (с. 200), но не поднимает вопрос о нулевом показателе склонения [ср. 5]. При таком рассмотрении указанные формы занимают соответствующее место в ряду других аналогичных явлений тюркской

грамматики — так называемых основном падеже, основном залоге, нейтральном виде, нейтральной степени сравнения и т. п., что, на наш взгляд, вполне закономерно. Автор описывает в тофаларском языке шесть наклонений: повелительное, желательное, опасительное, условное, уступительное и сослагательное.

В. И. Рассадин выделяет категорию состояния, относя к ней слова, выступающие в роли сказуемых безличных предложений. Здесь часто используется форма со специальным афф. -(ны)чжыг или -чжыг: *оолга ыгаксаньчжыг* «мальчику охота плакать», *уйдуньчжуг* «скучно».

Местоимения классифицируются по схеме, предлагавшейся для монгольских языков В. М. Наделяевым, т. е. делятся на субстантивные, адъективные, нумеральные, адвербиальные, вербальные. Особенностью языка является широкое использование вербальных местоимений *каньчжэ* — «как поступить», *чоон* — «что делать», *ыньчжэ* — «так поступать» и др.

Сравнительный анализ морфологии позволяет подтвердить сделанный автором вывод о самостоятельном положении тофаларского языка среди языков сибирского региона: при наличии «множества» объединяющих их все вместе черт этот язык проявляет свои особенности, сближаясь то с одним из сибирских языков, то с несколькими, иногда даже проявляя общность с якутским языком. Вместе с тем все эти языки отличает известная архаичность черт, отдельные из которых сопоставимы с древнетюркскими — особенностями языка орхон-енисейских и древнеуйгурских памятников. Весь этот комплекс свидетельствует, видимо, о древних и устойчивых связях языков данного региона и их продолжительных контактах с древними тюркскими языками. Нельзя забывать также, что все эти языки много контактировали — о чем говорят многочисленные следы — и с монгольскими языками. Поэтому раскрытие путей формирования языков сибирско-алтайского ареала — одна из сложных проблем современной тюркологии.

В. И. Рассадин последовательно осуществляет свой замысел полного описания языка тофов. Тюркологи ждут обещанной словаря на 15 тыс. слов и на следующем этапе — описание синтаксиса этого интересного и ценного для сравнительно-исторической тюркологии языка.

Летягина Н. И., Насилов Д. М.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Летягина Н. И., Насилов Д. М. — ВЯ, 1973, № 3. — Рец. на кн.: Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971.
2. Гусев В. Г. Староосманский язык. М., 1979, с. 42.
3. Шербак А. М. Очерки сравнительной морфологии тюркских языков. Имя. Л., 1977, с. 151.

4. Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология, М., 1961, с. 407—416.  
5. Володин А. П., Храковский В. С.

Об основах выделения грамматических категорий.— В кн.: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977, с. 42—54.

**Гаҗипов Т. М.** Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт синхронической и диахронической характеристики. — М.: Наука, 1979. 304 с.

Создание сравнительно-исторической грамматики тюркских языков — одной из важнейших задач современной тюркологии — подготавливается усилиями многих тюркологов, работающих в области сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного изучения указанных языков. Эти исследования развертываются в разных направлениях: сравнительно-историческое изучение крупных подсистем языка, охватывающее все тюркские языки; глобальное сопоставление всех подсистем в рамках отдельных ареалов; монографическое описание отдельного языка на фоне общетюркских сопоставлений; изучение отдельных явлений языка в сравнительно-историческом освещении (наиболее распространенный тип работ) и, наконец, тотальное сопоставление двух близкородственных языков, образующих своего рода микроареал или одну из конечных подгрупп в генетической классификации тюркских языков. Исследований последнего типа в тюркологии практически нет. Первым опытом такой работы выступает рецензируемая книга Т. М. Гаҗипова.

Несмотря на достаточную изученность татарского и башкирского языков каждого в отдельности, в сравнительно-исторической тюркологии еще не дан ответ на вопрос о причинах их обособления из той подобности, которую принято называть кыпчакской, а также еще не раскрыта степень их структурной близости, обусловленной либо генетическими факторами, либо конвергенцией несходного материала. Рассмотрение указанных проблем и составляет основную задачу данной работы.

Рецензируемая книга состоит из Введения (с. 8—60), в котором рассматриваются проблемы, возникающие при попытке воссоздать историю кыпчакских языков — их значительные расхождения в отдельных подсистемах, недостаточность письменных источников и подчас неоднозначность их кыпчакской атрибуции. Во Введении раскрываются также цель и методика исследования, определяется объект исследования (письменные памятники и фольклорные и диалектологические данные), обосновывается способ подачи языкового материала (сама система трансграфики предшествует Введению — с. 5—7). Введение содержит социолингвистическую характеристику современных кыпчакских языков,

а также краткий очерк этнической истории кыпчаков (с. 49—60). Часть I работы («Фонемика» — с. 61—254), которая ставит своей основной задачей освещение исторического развития консонантизма и вокализма башкирского и татарского языков, включает анализ всех основных звукотипов при учете их многочисленных аллофонов. Часть II («Элементы сравнительной морфемики» — с. 255—257) кратко излагает результаты сопоставления морфологических структур исследуемых языков, которые дают возможность говорить в основном лишь о морфо-фонетических различиях. Заключение (с. 258—272) содержит диахронические выводы, выстроенные в виде относительно-хронологической периодизации языкового состояния урало-поволжского ареала.

Историческое кыпчаковедение, которое до сих пор строилось в основном на данных письменных памятников, не могло решить вопрос о связи этих источников с современными кыпчакскими языками. В этих условиях принципиально важной кажется опора на диалектный материал, и вполне можно согласиться с автором данной работы в том, что «для изучения прошлого новокупчакских языков наиболее надежными продолжают оставаться их собственные источники — в первую очередь — диалектологические» (с. 17). Таким образом, синхронический анализ башкирского и татарского языков, охватывающий огромный диалектологический материал, выступает в работе и как первый этап реконструкции предшествующего состояния — периода распада урало-поволжской кыпчакской подобности. Вместе с тем он дает возможность установить и более далекую ретроспективу этапов расчленения пратюркской языковой общности. Акцент в работе сделан на первой из указанных проблем, хотя несомненно представляют интерес идеи автора о членении пратюркского состояния на этапы на основе их фонологических характеристик и выделении собственно тюркской эпохи с древне-, средне- и новотюркскими периодами. Проявляя научную осторожность, автор более определенно характеризует среднепратюркскую эпоху, отмечая для нее сосуществование глухих и звонких аллофонов в аплауте, становление ламбдаизма-сигматизма и ротацизма-зетапизма как дифференцирующих признаков для отдельных частей праязыковой общности,

начало расхождения по призыву  $\ddot{a}$  —  $e$ . К позднетюркскому автор возводит распад на отмечаемые ныне классификационные зоны, отнеся к нему широкую аллофонию по всем фонемам, унаследованным современными тюркскими языками. По мысли автора, с собственно тюркской эпохи с ее подразделениями на древне-, средне- и новотюркское время становится возможным рассмотреть этапы языкового состояния кыпчакской урало-поволжской языковой общности. На основании обширного диалектологического материала, используя приемы сравнительно-исторического, ареального и типологического исследования, автор приходит к выводу о том, что различные исследуемые языки являются отражением тех диалектальных различий, которые существовали еще в эпоху тюркского праязыка. В дальнейшем эта дивергенция была усилена воздействием факторов ареального характера. В работе предложена периодизация кыпчакской урало-поволжской общности, учитывающая результаты контактирования местных языков Урало-Поволжья с начавшимися с I тыс. н. э. тюркскими наслоениями. Так, Булгарский племенной союз (II—IX вв. н. э.) оставил первый мощный тюркский пласт, унаследованный чувашским, частично заимствованный венгерским и выявляемый в татарском и башкирском языках (ср. лексический материал на с. 264). Это позволяет автору считать более конструктивной идею о разномасштабном, но параллельном наличии булгарского пласта в становлении всех трех тюркских языков этого региона — чувашского, татарского и башкирского. Имевшее место некогда огузо-кыпчакское контактирование, языковые последствия которого еще не получили четкой концепции в современной науке, по мысли автора, не было существенным для языков Урало-Поволжья. Более значимым по своим последствиям (ср. положение с и  $\dot{h}$  в башкирском) было влияние сибирских языков (с. 271). Решающим этапом в развитии языков Урало-Поволжья стала кыпчакская этноязыковая экспансия, начавшаяся в VIII в. На период XIII—XIV вв., по мнению автора, приходится кардинальная перестройка местных тюркских наречий, исключая чувашское, на кыпчакской основе, приведенная в XV—XVI вв. к становлению общенародных башкирского и татарского языков (с. 267). Именно период XIII—XIV вв. в работе рассматривается как период качественных преобразований в структуре, прежде всего фонологической, данной языковой подобности, когда сложились, видимо, под стимулирующим воздействием иноязычного субстрата сужение гласных, а также некоторые консонантные различия, специфичные ныне для татарского и башкирского языков на фоне других кыпчакских языков. Вместе с тем этот и последующие периоды отмечены и тесным контактированием исследуемых языков, что при-

водит к образованию переходной зоны между двумя языками. Основываясь на принципиальном разграничении истории языка вообще и истории литературного языка, автор приходит к дифференцированной периодизации кыпчакских языков Урало-Поволжья с точки зрения исторического сосуществования их устных и письменных форм, а также с точки зрения ведущих письменных традиций на протяжении их истории.

Исследование, предпринятое в данной работе, построено прежде всего на анализе фонетических систем башкирского и татарского языков. Хотя краткость раздела морфемики и является явным недостатком рецензируемой книги, следует заметить, что сопоставление близкородственных языков, опирающееся на диалекты, закономерно должно акцентировать фонемный аспект, поскольку именно здесь могут быть получены результаты, наиболее интересные для выявления межязыковых совпадений и расхождений. Приходится согласиться с мнением автора об отсутствии ощутимой разницы между морфологическими структурами татарского и башкирского языков, хотя, думается, эти различия могут быть и скрыты от глаз исследователя, так как выявляются подчас не столько в разном инвентаре, сколько в функциональной организации отдельных морфологических подсистем.

Внимание в работе сосредоточено на выявлении звукотипов и их многочисленных репрезентаций практически по всем диалектам и говорам сопоставляемых языков. Такое обобщение в кыпчакведческой литературе делается впервые. Уяснение весьма нестрой картины аллофонии организовано через разграничение базовой и постфиксальной фонемки, а также через более дифференцированное представление о позиции слога в слове и соответственно звука в каждом слоге. Следует отметить четко проводимое в работе разграничение совпадений, чередований (в одной и той же языковой подобщности) и соответствий (в разных). Для многих звукотипов установлена высокая степень взаимозамещений. Установление формул чередований и соответствий каждого звукотипа с учетом частотности аллофонии и ее позиционного проявления является базой для диахронических заключений о характере и направленности изменений. Так, ареальный диапазон и количественное проявление варьирувания аналутного  $n$ - $\dot{b}$ - в урало-поволжской зоне позволяет автору постулировать исконность существования  $n$ - $\dot{b}$ - для общекыпчакского состояния как репрезентации единой «бифонемы». Вместе с тем отсутствие живого чередования  $\dot{b}$ - $n$ - при наличии аналогичных соответствий позволяет говорить и о завершающемся разграничении частных фонологических систем исследуемой зоны (с. 86). Широчайший ряд чередований и соответствий, например, фонемы  $z$  в разных позициях с соглас-

ными почти всех основных разрядов дает новый аргумент в пользу неисконности этого звука в урало-поволжских языках (с. 123). Хотя, впрочем, сам этот аргумент не столь бесспорен, так как многочисленные соответствия могут быть отмечены и для «старых» фонем типа татар. *c* (с. 118). Спорная проблема о начальном *й-ж-* дополняется новыми диалектными материалами. Дается, например, полная сводка совпадений татар. и башк. анлаутного *й*, которые не имеют параллелей с *ж*, что говорит о самостоятельном происхождении *й-* в рассматриваемом регионе (с. 159). Новые мысли содержит работа относительно фонематичности гортанной смывки и отнесении ее к более раннему периоду (не позже X в. — с. 173). Следует отметить вывод автора о хронологически более глубокой границе сужения гласных, чем это было принято до сих пор (по традиции, идущей от В. В. Радлова, позже XIV в.).

Исходя из современных фонологических представлений, широкий диапазон чередований и соответствий автор интерпретирует через понятие аллофонии преимущественно в его функциональном значении, что несколько расходится с вводным понятием аллофона на с. 62, которое основывается скорее на материально-звуковом сходстве. Если на синхронном срезе более существенным представляется функциональное тождество материально несходных аллофонов (устанавливаемых в пределах одной морфемы), выстраиваемых в последовательный ряд по убывающей частоте чередующихся аллофонов, то в диахронии формула чередующихся аллофонов это лишь указание на возможность развития звука. Такая формула, как нам кажется, не разграничивает того, что подобная аллофония могла сложиться и как результат нерелевантности признака некоей исходной фонемы («полифонемы»), и как результат последовательности материально-звуковых переходов. Так, например, формула изменений для *b — n, m, ʋ, w, ʧ, ʃ, h, ʒ?* — с. 86 ничего не говорит о том, могло ли *b > ʋ* возникнуть без промежуточных звеньев. Признак убывающей частотности в формуле в имплицитной форме содержит направление расхождения исторических аллофонов фонемы по характеру тех оппозиций, в которые она входила. Если мы правильно поняли автора, сведение практически всей аллофонии на синхронном срезе в формулы изменений означает, что всякий аллофон может быть интерпретирован как тип изменения, хотя, вероятно, это не всегда так. В соответствиях могут отражаться разные аффиксы, на что указывает и автор (ср. татар. лит. *тырна* «царапина»: башк. диал. *тырт* «щетина» — с. 81). Поэтому формула может не отражать разные источники такого соответствия. Думается, что идея количественного исчисления аллофонии несколько затемнила ее интерпретацию, так как формула не всегда дает возможность понять соот-

ношение универсального и окказионального. Однако в целом следует отметить повизну подобного приема в тюркологических исследованиях, ибо формулы, в которые сведено огромное количество фактического материала, дают возможность увидеть направление качественных изменений и обосновать таким образом историческую вероятность эволюции фонемы как фонологической единицы.

Интерпретация постфиксального вокализма четко разграничивает фонологическую и материально-звуковую сущность репрезентантов фонемы, в отношении консонантизма позиция автора не столь убедительна. Если для выделения «бифонем» *k — ʔ* и *p — ɣ* устанавливается критерий их автоматической альтернации (т. е. учитываются условия их реализации), то в отношении, например, дентальных такие позиционные условия во внимание не принимаются. Так, например, в *корташ* «соратник» и *йулдаш* «спутник» (с. 181) мы должны видеть в одном случае одну фонему (*ɣ — a*), в другом — две (*m* и *ð*). Внимание к фонемике заслонило, на наш взгляд, традиционное освещение постфиксального вокализма и консонантизма в терминах фонетических закономерностей (ассимиляции, диссимиляции и др.), что не раскрыло динамики в развитии ряда явлений, например, губного сингармонизма. С другой стороны, осталось неясным, была ли связана аллофония постфикса с его категориальным характером. Скажем, указание на делабиализацию аллофона *o* в татарском и его говорах (типа *тотор* «поймает» в противоположность башк. *тотор* — с. 247), возможно, не учитывает сохранение nelaбиализованной формы аффикса в татарском и сохранение лабиализованной формы в башкирском как отзвук былой семантической противопоставленности аффиксов (в принципе это гипотеза, но сама постановка такого вопроса, как кажется, правомерна).

В рецензируемой работе проблема фонетического статуса старых и новых взаимодействий отражена в выделении особых фонологических единиц, что значительно увеличило общий фонемный состав обоих языков. Хотя такая постановка вопроса, очевидно, дискуссионна, она интересна в плане лингвистического прогнозирования и социолингвистических аспектов развития фонетических систем сопоставляемых языков.

Нельзя не призвать, что данные исследования Т. М. Гарниова имеют значение для классификации тюркских языков в части рубрикации языков кыпчакской группы. По признакам фонетической структуры, по мнению автора, можно было бы разграничивать собственно кыпчакский (восточно-кыпчакский) и западно-кыпчакский, сближающийся с огузскими языками по типу вокализма. Вызывает сочувствие идея автора о выделении так называемой «трансграфики» для старописьменных текстов, предусматривающей обозначение однопорядковых знаков

графическими соответствиями (скажем, для арабских букв «сив» и «сад» соответственно с и С), а также введение диакритик и небуквенных обозначений. Это позволит однозначно представить буквенный состав арабографического текста, что для целей последующей транскрипции и лингвистического анализа имеет важное значение. С другой стороны, это предотвратит осовременивание текста, что нередко наблюдается в изданиях памятников.

Некоторые детали работы вызывают сомнения. Так, для возникновения  $\zeta$ , очевидно, следует допустить разные возможности. Если исторически он, по-видимому, возник из сочетания  $n + \varepsilon // n + \varepsilon$ , то возможен и вторичный процесс:  $n < \zeta$ . Примеры, приводимые автором на с. 190 для доказательства  $\zeta < n$  (генитив местоимений в диалектах типа *анын* «его»), думается, иллюстрируют вторичный процесс (ср. то же в огузских памятниках). Вызывает сомнение булгарская атрибуция конструкции *-асы килэ* «хочется ч.-л. сделать». Общетюркская синтаксическая модель в части глагольного имени имеет здесь огузо-кыпчакскую форму.

Передача деэричашного -л в среднетюркских текстах через арабское «ба» получается неясное толкование «исторического чередования» (с. 177).

В целом работу Т. М. Гаршиова следует оценить как определенный этап в развитии кыпчакovedения и шире — в историко-сопоставительной области тюркологических исследований. Ее несомненными достоинствами являются четкие критерии отбора фактической базы исследования, диалектный материал как главная опора диакронических выводов, плодотворное приложение идей и методов современного языковедения, комплексное использование принципов сравнительно-исторического, структурного и ареального исследования, разумная осторожность в отношении к реконструкциям предшествующих состояний изучаемых языков.

Работа Т. М. Гаршиова несомненно является полезным вкладом в развитие сравнительно-исторических и сравнительно-сопоставительных исследований в тюркологии.

Грунина Э. А.

Андронов М. С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. — М.: Наука, 1978. 466 с.

Рецензируемая книга по сути подводит итог многолетним усилиям автора в области сравнительного изучения дравидийских языков (ДЯ). Монография состоит из Введения и двух основных частей — «Фонетики» и «Морфологии», подразделяющихся на 19 глав; она снабжена обширной библиографией. В первой части подробно характеризуются звуки, их эволюция, показываются закономерные соответствия и приводятся реконструкции на уровне промежуточных праязыков и общедравидийского состояния. Во второй части рассматриваются формы словозменения: приводится полный инвентарь форм, встречающихся в привлеченных для исследования ДЯ, исследуются их история и этимология. На протодравидийском уровне реконструируются формы числа, падежные суффиксы, числительные, местоимения, показатели лица, времени, наклонения, деэричашных, причастий, инфинитива и проч. В книге отражены новейшие дравидологические исследования, включая рукописи диссертаций, защищенных в университетах Индии, препринты неопубликованных работ. В качестве фактического материала в разной степени привлекаются факты всех 25 ДЯ, известных дравидологической науке в настоящее время<sup>1</sup>. По охвату ДЯ и глубине трактовки языковых фактов, а также ос-

новательности выводов настоящая монография, несомненно, превосходит предшествующие аналогичные исследования по сравнительной дравидологии.

Во Введении этимологизируется само наименование «дравидийские языки» [см. также 1] и приводится краткая социолингвистическая характеристика каждого языка этой семьи, в особенности литературных — тамильского, малайяльского, каннада и телугу, на которых в общей сложности говорит около 120 млн. человек преимущественно в Южной Индии. Взаимодействие и взаимоотношения отдельных ДЯ в процессе эволюции дравидийской языковой общности представлены в виде генеалогического древа; ход исторического расселения дравидов и распространения ДЯ по территории Индийского субконтинента иллюстрируется оригинальной картой-схемой. Здесь же в окончательном виде представлена и выработанная М. С. Андроновым гететическая классификация ДЯ.

Во Введении автор отдает должное основоположнику сравнительного изучения ДЯ Р. Кольдуэллу, опубликовавшему свою «Сравнительную грамматику» еще в 1856 г., после чего она неоднократно переиздавалась [2]. С этого времени сравнительное изучение ДЯ насчитывает уже 125 лет. Но при всем уважении к этому классическому труду, оказавшему

<sup>1</sup> В монографии используются факты следующих ДЯ: тамильского (далее — там.), малайяльского (Мал.), каннада (канн.), телугу (тел.), курру, тода, ката,

кодагу, куруба, корага, беллари, тулу, колами, найки, парджи, гадаба, гонди, конда, пенго, манда, куи, куви, курух, малто и брауи.

огромное влияние на развитие дравидологии, необходимо призвать, что он уже давно устарел и в настоящую время представляет лишь исторический интерес. За годы, прошедшие с момента выхода в свет 3-го издания книги Колдуэлла (1913 г.) — последнего, подвергавшегося дополнению и исправлению, — в дравидологии накопился значительный новый материал, в изучении которого достигнуты большие успехи. Достаточно сказать, что если Колдуэлл в основном оперировал данными лишь четырех литературных ДЯ, изредка привлекая сведения из еще пяти бесписьменных, то ныне дравидологам известны 25 языков этой семьи с их многочисленными территориальными и социальными диалектами.

В рецензируемой книге отмечаются дравидологические труды С. Конова, Я. Блока, Л. В. Рамасама Айяра, Т. Эрроу, М. Б. Эмено и др. Большой по объему и разнообразию по характеру новый материал только последних 15—20 лет уже не мог быть осмыслен в рамках сформулированных Колдуэллом представлений и должен был быть исследован на уровне современных требований и достижений науки о языке. Среди наиболее значительных успехов дравидологии — «Дравидийский этимологический словарь» (1961—1968) Эрроу и Эмено [3], «Очерк сравнительной фонологии дравидийских языков» Эмено [4], сравнительные работы по морфологии С. В. Шанмугама [5], П. С. Субрахманьяма [6], Б. Кришнамурти [7] и некот. др.

Автор отмечает, что проблематика данной книги ограничена вопросами сравнительной фонетики и сравнительной морфологии (словоизменения) в их современном состоянии и что он опирается на компаративистскую, а не на структуралистскую трактовку основного философского вопроса языкознания, т. е. признает первичными реализации конструкций, а не сами конструкты, которые он полагает вторичными, либо же вообще нерелевантными для целей его исследования. «Реконструкции, не опирающиеся на компаративистскую трактовку языковых единиц, нередко приводят к далеким от истины результатам и какого-либо интереса для сравнительной грамматики дравидийских языков представлять не могут» (с. 13). М. С. Андронов тщательно отграничивает опровергнутые и заведомо неточные данные, фантастические реконструкции и надуманные проблемы от представляющих ему верными и реальными. Собранный им материал «представлен лишь вполне надежными и проверенными фактами, наиболее убедительными и вероятными реконструкциями, актуальными для современного состояния науки проблемами и взглядами» (с. 14).

Раздел «Фонетика» (с. 15—165) открывается описанием «гласных фонем», подразделяющихся автором на «чистые» (закрытые, средние и открытые) и «на-

зализованные», и гласных фонем ДЯ. «Согласные фонем» (с. 50—82) делятся на «шумные» и «сонанты». «Фонемные поля» (под ними автор понимает совокупность фонем, входящих в данную фонему) гласных и согласных представлены в заглазированной форме (с. 43—49, 73—81). «Сравнительное рассмотрение всех засвидетельствованных фонем хотя и может представляться желательным, на данном этапе... — отмечается в книге, — вряд ли осуществимо практически» (с. 82).

Ставя задачей рецензии отметить все новое, оригинальное в «Сравнительной грамматике» М. С. Андропова, обратим здесь внимание на подробнейший анализ артикуляции и позиционного распределения фонем всех ДЯ, что позволило разработать основу для сравнения фонем и фонем отдельных ДЯ между собой. В главе, отведенной историческому развитию звуков (с. 83—110), впервые в наиболее полном виде дана эволюция звуков отдельных литературных ДЯ. При описании звуковых соответствий (с. 111—154) они даются на уровне фонем, за основу сравнения которых принята теоретико-множественная сумма фонем ДЯ. Такой подход позволяет автору дать представление о реально существующих звуковых соответствиях, тогда как при практикованном ранее рассмотрении на уровне фонем (а нередко и графем!) действительные соответствия часто не регистрировались, и, напротив, отмечались мнимые. Сформулировано важное положение о совпадении (хронологическом) ассимилятивного расширения корневых  $*i/*u > *e/*o$  под влиянием последующего  $*-a-$  (в тел., канн., разг. там. и разг. мал.) с обратным чередованием  $*e/*o > *i/*u$  в том же положении (вследствие гиперкоррекции) в лит. там. и лит. мал. (с. 114—117). При этом отмечено, что исследование звуковых соответствий в сравнительной фонетике ДЯ еще только начинается, и пока можно с уверенностью судить лишь об «основных типах» таких соответствий. Со звуковыми соответствиями тесно связаны и морфофонематические процессы, которые значительно уточнены и систематизированы в этой монографии (с. 154—165).

Раздел «Морфология» (с. 166—447) разбит на главы, соответствующие выделяемым автором классам слов ДЯ. В основу этой классификации положен набор формальных грамматических категорий, а также их изменчивость. Во всех ДЯ представлены существительные, числительные, местоимения, глаголы, частицы и междометия. У существительных рассмотрены изменяемые грамматические категории падежа и числа и неизменяемая лексико-грамматическая категория рода, свойственная всем изменяемым частям речи. Однако, если у глаголов она имеет явно выраженный грамматический характер, то у имен «значение рода абстрагировано от их лексического значения... абстрактное значение рода грамматиче-

ски выражается лишь согласованием родовых форм имени и глагола...» (с. 169). Большинство падежных суффиксов, как показано здесь, развилось из реконструируемых местоименных указательных слов \**al/\*an/\*am* «то место», \**il/\*in/\*im* «это место», выполявших функцию послелогов с адвербиальным значением. Здесь же разработана этимология падежных показателей (с. 191—229). Большой интерес представляет разработка этимологии дравидийских числительных: \**on/\*or*-«один» (< \**ol*- «становится единым»), \**nāl*- «четыре» (первоначально «несколько»), \**caṅ-/\*cey*- «пять» (< \**kay* «рука»), \**caṅ*- «шесть» (< \**cāl*- «быть больше, превосходить»), \**en*- «восемь» (< «число», «считать»), \**paṅ-/\*paṅ-/\*paṅ*- «десять» (< \**paṅ/\*paṅ*- «многий», «много»), \**tol*-, \**oṅ*- *paṅ*- «девять» (< «неполное количество», «неполное много») (с. 238—249). Подробно описаны личные местоимения ДЯ в современной и реконструированной формах; особо рассмотрены некоторые особенности склонения местоимений в сравнении с прочими именами. Заслугой автора следует признать реконструкцию основ указательных местоимений (с. 268—269). Убедительно показана также несостоятельность теории Б. Кришнамурти о происхождении инклюзивного местоимения «мы» (с. 255). М. С. Авдронов выделил и тщательно описал типично дравидийский класс «личных имен», весьма разнообразных по форме и функциям, и рассмотрел их историческую эволюцию в ДЯ (с. 283—285).

Дравидийский глагол (с. 289—434) различает категории позитивности/негативности, а также наклонения, времени, лица, числа, рода и падежа. В отдельной главе излагается эволюция многочисленных глагольных форм и история их изучения. В глагоде ярче всего проявляются черты специфически дравидийской агглютинации.

В рецензируемой книге выделены и проанализированы в сравнительном аспекте глагольные основы ДЯ (с. 290—295), реконструирована первоначальная система времен (прошедшее и непрощедшее), показано, как в основном в результате стяжения глагольных перифраз развились все прочие времена (с. 301—345) и наклонения (364—379). Впервые здесь продемонстрировано развитие негативных форм дравидийского глагола, сложившихся на базе отрицательной формы на *-ā* (с. 400—434). К величывым положительным формам ДЯ относятся причастия, деепричастия, условные деепричастия, инфинитивы, супины, причастные и глагольные имена. Последние «представляют собой величывые формы глагола со значением имени действия» (с. 397). Они являются равноправными формами глагола, в отличие от отглагольных существительных, употребляющихся как имена. В составе отрицательных глагольных форм ДЯ подробно проанализированы формы изъявительного,

а также повелительного, желательного и некоего др. косвенных наклонений<sup>2</sup>.

В спорном вопросе о прилагательных ДЯ автор убедительно показывает ошибочность утверждений как Ж. Блока (отрицавшего наличие прилагательных в ДЯ), так и Т. Бэрроу и А. Мастера (считающих их исконными). Он доказывает, что они исторически развились из слов других классов.

Вместе с тем в работе не представлены в систематическом виде различные способы дравидийского словообразования, характерные для разных классов слов, и его соотношение со словоизменением в ДЯ. Для целей данного исследования полезно было бы показать структурно-семантическое взаимоотношение корня и основы, основы и слова в ДЯ, основные словообразовательные модели.

В целом структура работы удобна и экономна при такой обильной информативности; она будет полезна для сравнительно-сопоставительных студий и исследований по общему языковедению. Отмечая отдельные открытия и находки, которыми так богата эта книга, следует со всей определенностью заявить, что она является выдающимся событием в индологии. В ней подытожены и критически осмыслены все успехи индологического языковедения в данной области, описываемые формы точно идентифицированы. Здесь, пожалуй, впервые достигнуто однозначное соответствие принятых наименований значению форм и категорий и тем самым получена единая основа для сравнения последних между собой. В монографии проводится четкое различие между установленными фактами и реконструкциями и построениями, носящими предварительный, гипотетический характер. Эта ее черта позволяет читателю уверенно судить о том, что уже сделано в современной дравидологии, что успешно изучается, а что остается пока неясным. Многие факты, использованные здесь, собраны автором во время полевых обследований в Южной Индии. В частности, именно личные наблюдения над функционированием живых ДЯ в местах их наибольшего распространения в индийских штатах Тамилнад, Керала, Карнатака и Андхра Прадеш позволили автору выявить многие особенности народно-разговорного языка современных дравидов. Результатом этого явились несколько десятков важных работ Авдропова — монографий, грамматик, словарей различных ДЯ, многие из которых переведены на английский и некое ДЯ, издаваемые в Индии и давно используются в учебном процессе в Советском Союзе и Республике Индия.

С рецензируемой обобщающей работой тесно связана его книга «Дравидий-

<sup>2</sup> Некоторые вопросы морфологии имени и глагола ДЯ, обобщенные в «Сравнительной грамматике», были детально рассмотрены в серии статей М. С. Авдропова, опубликованных в 70-е годы.

ские языки» (1965), первый на русском языке краткий очерк ДЯ. На современном уровне систематизированное описание ДЯ, выполненное им, содержится также в книге «Языки Азии и Африки. Индоевропейские языки. Дравидийские языки», представляющей второй том известного справочника «Языки Азии и Африки» (1978), где в лапидарной форме приводится типологическая характеристика этих языков по всем грамматическим аспектам в их историческом развитии и современном состоянии. При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на специальный, справочный характер последнего издания, это описание ДЯ отнюдь не компилятивно, а в значительной степени по-новому осмысляет собранный богатый материал. Оно подготовлено на основе опубликованных им прежде очерков различных ДЯ в серии «Языки народов Азии и Африки».

В рецензируемой книге органически сочетаются достижения предшествующих авторов (всегда отмеченные во вступительных примечаниях) с разработками автора настоящей монографии. Среди последних важно отметить очерк истории развития отрицательных форм глагола, очерки истории дравидийской надежной системы, этимологические разыскания в области числительных и местоимений, реконструкцию исторического развития многих глагольных форм ДЯ. (В этой связи интересно указать на типологическое сходство реконструируемой в этой работе протодравидийской системы именного словоизменения с аналогичными системами хинди и некоторых дру-

гих современных индоарийских языков, что может послужить еще одним аргументом в пользу теории о влиянии ДЯ на направление развития индоарийских языков современного Индийского Союза.) «Сравнительная грамматика» М. С. Андронова, несомненно, будет способствовать дальнейшему углублению и расширению разносторонних исследований в области дравидийского языкознания и индологии в целом как в нашей стране, так и за рубежом.

Макаренко В. А.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Андронов М. С. К этимологии слова *tamiz* «тамильский язык». — В кн.: Индийское языкознание. М., 1978.
2. Caldwell R. A. *Comparative grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages*. London, 1856; 2-nd ed., London, 1875; 3-rd ed., London, 1913.
3. Burrow T. and Emeneau M. B. *A Dravidian etymological dictionary*. Oxford, 1961; Suppl., Oxford, 1968.
4. Emeneau M. B. *A sketch of Dravidian comparative phonology*. Annamalainagar, 1965; 2-nd ed., 1970.
5. Shanmugam S. V. *Dravidian nouns (a comparative study)*. Annamalainagar, 1971.
6. Subrahmanyam P. S. *Dravidian verb morphology*. Annamalainagar, 1971.
7. Krishnamurti Bh. *Telugu verbal bases. A descriptive and comparative study*. Berkeley and Los Angeles, 1961.

*Ergativity. Towards a theory of grammatical relations*. Ed. by Plank F. — London — New York — Toronto — Sydney — San Francisco: Academic Press, 1979. 569 p.

Рецензируемый сборник является красноречивым свидетельством возросшего интереса к проблемам эргативности как в отечественном, так и в зарубежном языкознании. Важность исследования этих вопросов не подлежит сомнению. До сих пор существуют противоречия между двумя основными направлениями в разработке проблемы: функциональным подходом (особенно характерным для советских исследователей) с внимательным анализом содержательного аспекта эргативности, с одной стороны, и подходом, допускающим существенные уступки лингвистическому формализму. Исследования по данной проблематике в настоящее время поднялись на качественно новый уровень, чему способствовало, на наш взгляд, несколько обстоятельств. Прежде всего, значительно расширился круг языков, вовлекаемых в орбиту типологических штудий и, соответственно, увеличилась возможность для выявления существующих в рамках эргативной

структуры закономерностей. Кстати, именно описание механизма эргативности в конкретных языках составляет основной предмет большинства статей сборника<sup>1</sup>. Таковы, например, статьи А. Е. Кибрика «Каноническая эргативность и дагестанские языки», в которой дается краткий очерк средств выражения субъектно-объектных отношений в арчинском языке, близком, как указывается в статье, кatalogу эргативности; Г. Штайнера «Непереходно-пассивная концепция глагола в языках древнего Ближнего Востока», где предлагается типологическая классификация хаттского, хурритского, урартского, шумерского и элам-

<sup>1</sup> Сборник включает следующие разделы: 1. Введение, 2. Функция и форма субъектно-объектных отношений, 3. Эргативность и залог, 4. Степени эргативности, 5. Типологические корреляты эргативности, 6. Эргативность в изменении языка.

ского языков; Б. Дж. Блейка «Степени эргативности в Австралии»; Т. В. Ларсена и В. М. Нормана «Корреляты эргативности в грамматике майя»; Г. Бреттшнайндера «Типологическая характеристика баскского языка» и др.

Рассматриваемый в этих работах языковой материал значительно расширяет наши представления о том, «что бывает» в эргативных языках. Довольно уникальны, в частности, ограничения, накладываемые на эргативную конструкцию в языках майя: в эргативе не может стоять вопросительное, относительное или логически выделенное слово. Подчас некоторые черты эргативных языков составляют специальную проблему лингвистического анализа: нельзя, например, в связи с этим не обратить внимания на аргументы против мнения о производности ангинассива от эргативной конструкции, выдвигаемые в статье А. Кальмара «Ангинассив и грамматические отношения в эскимосском языке».

В целом той же схематике придерживаются и авторы статей, составивших четвертый раздел книги. Выделение в качестве специальной темы для обсуждения вопроса о «степени эргативности», или «парциальной эргативности» (*split ergativity*), на наш взгляд, не случайно. К нему приводит последовательное применение рабочего определения, согласно которому любое отождествление субъекта непереходного глагола (*S*) и агенса (*A*) в противоположность объекту (*O*) признается номинативной чертой и аналогичное отождествление *S* и *O* в противоположность *A* — эргативной. По-видимому, еще большую роль в типологических исследованиях должно сыграть определение эталона эргативности, обладающего важной дополнительной чертой: в него может быть включено отождествление *A* и *O'* (косвенный объект) и др.

О том, что подобное определение может служить эффективным инструментом лингвистического анализа, говорят хотя бы некоторые наиболее интересные закономерности в сфере выражения грамматических отношений, установленные на основе его использования. Согласно одной из них, синтаксические свойства эргативных языков во многих случаях укладываются в рамки номинативности (этот тезис еще раз подтверждается на материале

каж», а также в целом ряде статей из других разделов сборника). Немаловажное значение имеет также выявление иерархических отношений в именной и глагольной парадигмах с точки зрения нарастания или убывания черт эргативности. В сборнике исследование такого рода представляет статья В. П. Недякова «Степени эргативности в чукотском», в которой устанавливается нарастание эргативности по следующим направлениям: имперфект → аорист → перфект, индикатив → императив, 1-е лицо → 2-е лицо → 3-е лицо, ед. число → мн. число, субъектное согласование — объектное согласование. В этом перечне несколько необычно выглядит меньшая эргативность индикатива по сравнению с императивом. Последняя категория по своему содержанию представляет обращение ко 2-му лицу — производителю действия (т. е. *S* или *A*), что уже является предпосылкой к большей номинативности. Формальное подтверждение этому мы находим, например, в некоторых дагестанских языках, где императив имеет субъектное согласование в числе, отсутствующее в других наклонениях.

Вместе с тем «парциальным» подходом к эргативности не следует, на наш взгляд, подменять системную характеристику данного явления. Помимо того, что только при системном подходе можно уловить существенные характеристики эргативности, «парциальность», как представляется, может привести к неточным формулировкам частного характера. Например, при «поэлементном» рассмотрении системы личного согласования в тангутском языке в статье К. Б. Кеннинг «Элементы эргативности и номинативности в тангутском» эта система получает квалификацию смешанной эргативно-номинативной. Подобным же образом интерпретирует Дж. Дж. Бауман в статье «Историческая перспектива эргативности в тибето-бирманских языках» реконструируемую им аналогичную пратибето-бирманскую систему личного согласования. Вместе с тем, как только мы представим личное согласование в тангутском языке в виде целостной системы, окажется, что оно строится по законам эргативности — с противопоставлением двух рядов личных показателей — эргативного и абсолютного, ср.:

	1 ед.	2 ед.	1 мн.	2 мн.	3 ед. мн.
эргативный ряд	$nga^2/\emptyset$	$na^2/\emptyset$	$ni^2/\emptyset$	$ni^2/\emptyset$	$\emptyset$
абсолютный ряд	$nga^2$	$na^2$	$ni^2$	$ni^2$	

ле чукотского языка в статье Б. Комри «Степени эргативности: некоторые данные чукотского языка», на материале энга в статье К. Н. Ли и Р. Лэнга «Синтаксическая иррелевантность эргативного падежа в энга и других папуасских язы-

Ненулевой алломорф эргативного ряда выбирается при нулевой аффиксе абсолютного ряда, нулевой в остальных случаях. При этом частичное совпадение обоих рядов означает не переход к номинативности согласования, а лишь нейт-

реализацию эргативности. Заметим, что аналогичную схему личного согласования имеет, например, один из относящихся к числу эргативных дагестанских языков — даргинский [1].

В связи с этим следует упомянуть вывод, к которому приходит Н. Б. Вахтин в статье «Именная и глагольная эргативность в языке азиатских эскимосов»: именная и глагольная эргативность находятся в дополнительной дистрибуции, т. е. отсутствие эргативных характеристик в одной сфере морфологии компенсируется их наличием в другой. Прямым следствием этого является другой важный вывод: морфология эскимосского языка последовательно эргативна несмотря на наличие «парциальной номинативности».

Исходя из этих же соображений, следует более осторожно подходить к синтаксическим построениям номинативных языков, некоторыми своими чертами напоминающим эргативные: к противопоставлению экзистенциальных (с субъектом в партитиве) и неэкзистенциальных (с объектом в партитиве/аккузативе) предложений, описанному в статье Т. Итконена «Маркировка субъекта и объекта в финском: обратная эргативная система и идеальная эргативная подсистема»; к конструкции со служебной морфемой *bá*, предположительно рассматриваемой в качестве эргативной И. К. Ли и М. Иип в статье «*Bá*-конструкция и эргативность в китайском»; к так называемой «беззалоговой» конструкции, получающей аналогичную интерпретацию в статье А. Картье «Беззалоговые предложения с переходным глаголом в официальном индонезийском языке», а также к предложению с неодушевленным агентом в одном из диалектов английского языка, описанные Дж. Фостером в статье «Агент, принадлежности и обладатели».

Хотя сопоставление с эргативной конструкцией подобных структур представляется довольно полезным, их отождествление скорее всего даст те же результаты, что и приравнивание эргативной конструкции к пассивной в номинативных языках. Во всяком случае можно утверждать, что эргативные черты (с точки зрения приведенного выше определения) номинативных языков не могут быть действительно полноценными эргативными чертами и поиски этих черт не дадут желаемых результатов. Например, отсутствие пассива в языке вашо, судя по материалам статьи В. Якобсена мл. «Почему в вашо отсутствует пассив?», отнюдь не означает нарушения в этом языке норм номинативности, хотя данное явление характерно больше для эргативных языков. Более того, предложенное обоснование такого положения оказывается по существу неверным: соотношения *émluyi* «он ест» — *k'í'wi* «он ест это» и *pélew* *ʔémluyi* «заяц ест» — *pélew* *ʔi'wi* «он ест зайца» свидетельствуют о наличии эргативности не в большей степени, чем о номинативности. Во всех

случаях<sup>2</sup> — является показателем субъекта, в то время как *k'* — сигнализирует об отсутствии выраженного объекта (при этом  $? + k' \rightarrow k'$ ).

Наконец, естественным выводом из концепции парциальной эргативности, на наш взгляд, является признание того факта, что эргативность и номинативность — явления поверхностно-морфологического уровня, равновозможные варианты, призванные различить субъект и объект переходного предложения. В явном виде такое понимание эргативности излагается в статье А. Маргине «Переход к эргативу или аккумулятиву».

В свете сказанного нельзя не признать перспективность исследований, в рамках которых эргативность понимается как целостная система: таковы, например, статьи «Эргативность, синтаксическая типология и универсальная грамматика: некоторые прошлые и современные точки зрения» Ф. Планка, стремящегося определить семантические и прагматические категории, обуславливающие эргативный тип языковой структуры; «Эргативность и строение грамматических отношений» И. Бехерта, отказывающегося от понятия «субъект» и «объект» при характеристике эргативности, и Г. А. Климова «О позиции эргативного строя в типологической классификации», в которой активный и номинативный строй предлагается рассматривать как факультативно опосредованные эргативным строем.

Промежуточное положение эргативного строя в иерархии языковых типов позволяет объяснить многие вопросы исторического развития эргативности. Как известно, документированной письменными памятниками является лишь история возникновения эргативной конструкции в индийских и иранских языках, некоторые аспекты которой обсуждаются в статье Л. А. Пирейко «О генезисе эргативной конструкции в индоиранских языках». И хотя этот тип эргативной конструкции сформировался в результате включения в глагольную парадигму пассивных причастий, абсолютизировать этот процесс, как это предлагает, например, Р. Л. Трэк в статье «Об истоках эргативности», представляется неоправданным. Во всяком случае все более многочисленными становятся свидетельства иной направленности исторического изменения: от эргативности к номинативности.

Именно на такое развитие указывают Дж. Дж. Бауман, отмечающий, что одним из проявлений тенденции к утрате эргативности в тибето-бирманских языках является постепенная дифференциация аффиксов субъектного и объектного согласования, а также К. Чехова в статье «От эргатива к аккумулятиву в тонга: пример синхронной динамики», где в качестве свидетельства номинативизации эргативной структуры рассматривается приобретение показателем перфекта при одной группе глаголов значения пассивного залога.

Еще одно различие между парциальным и системным подходами к эргативности заключается в трактовке активного строя. Если в первом случае мы имеем дело с определенной «расщепленностью» уже в сфере выражения субъекта переходного предложения, то во втором перед нами самостоятельный тип языковой структуры, резко отличающейся набором равноуровневых импликаций от эргативного или номинативного типов. Последнее обстоятельство достаточно хорошо иллюстрируется в статье К.-Х. Шмидта «Реконструкция активной и эргативной стадий в праиндоевропейском»: такие черты общиндоевропейского языка, как оппозиция одушевленных и неодушевленных имен, глаголов действия и состояния, отчетливо показывают активное, а не эргативное состояние реконструируемого языка-основы. В связи с этим заслуживает внимания также детальное исследование истории картвельских языков в статье В. Бёдера «Эргативный синтаксис и морфология в языковом изме-

нении: южнокавказские языки», в которой особо рассматриваются «аномалии эргативности», интерпретируемые в литературе как вероятные реликты активного строя.

Совмещение в сборнике различных направлений исследования эргативности, несомненно, внесет свой вклад в решение ее многочисленных проблем, а также грамматических отношений в целом. В заключение нельзя не отметить огромную работу редактора сборника Ф. Плана, сумевшего систематизировать разнообразные по тематике статьи, а также четко сформулировать дальнейшие перспективы изучения проблематики.

*Алексеев М. Е.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Климов Г. А., Алексеев М. Е. Типология кавказских языков. М., 1980, с. 238—239.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

24 апреля 1981 г. в ЛО Института языкознания АН СССР состоялось традиционное чтение, посвященное памяти академика В. М. Жирмунского. Во вступительном слове А. И. Домашнев отметил многосторонность научной деятельности ученого, его огромный вклад в развитие отечественной и мировой германистики.

В докладе «Путь В. М. Жирмунского в языкознании» чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкая показала, что основные направления лингвистических интересов замечательного ученого нашли блестящее воплощение в монографиях «Национальный язык и социальные диалекты», «Немецкая диалектология» и «Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков», а также в специальном томе избранных трудов — «Общее и германское языкознание». Особое место в докладе было уделено исторической концепции В. М. Жирмунского: любое состояние языка должно рассматриваться как система, находящаяся в движении как в целом, так и в отдельных своих частях. В. М. Жирмунский формулирует требование процессуального подхода, который предполагает особое внимание к случаям переходным, отражающим в современном состоянии языка динамику его развития. Для грамматической концепции В. М. Жирмунского характерна принципиальная установка на изучение грамматических явлений с учетом моментов перехода и становления, свойственных языку как системе, находящейся в движении. В этой установке получил выражение историзм научного подхода, характерный для лингвистических (и не только лингвистических) трудов В. М. Жирмунского и представляющий определенное достижение в деле применения марксистского диалектического метода при изучении языковедческих проблем.

В докладе «К проблеме аналитических конструкций в немецком языке» В. М. Павлов осветил значение работы В. М. Жирмунского «Об аналитических конструкциях» для постановки и решения ряда вопросов «аналитического формообразования» в их связях с дискуссионными проблемами общей теории, грамматики. Главный пафос работы

В. М. Жирмунского докладчик видит в отстаивании принципа развития в подходе к анализу грамматических явлений в признании основывающихся на развитии языковой системы закономерных диалектических противоречий в ней, концентрирующихся в так называемых «промежуточных» явлениях, которые принципиально не допускают жестких классификационных разграничений. Отсюда, в частности, проистекает и двойственность «аналитических конструкций», их общее состояние неустойчивого равновесия между статусом явлений синтаксических (словосочетание) и морфологических (форма слова). В докладе особое внимание было обращено в связи с этим на «остаточные» признаки относительной самостоятельности компонентов конструкций, обычно определяемых как аналитические формы слова. Докладчик выдвинул положение о том, что если категориальный статус «аналитических форм слова» определяется их сопринадлежностью к парадигматическим рядам, включающим однословные морфологические формы, то в отношении аналитических конструкций, стоящих вне таких парадигм, аналогичную роль (на более сложном уровне организации связей) играют объединения в рамках языковых функционально-семантических полей. В докладе был также рассмотрен вопрос о разном рода соотношениях между аналитическими конструкциями, в том числе глагольно-именными, и общераспространенной моделью членов предложения.

*Смирницкая С. В. (Ленинград)*

1 июля 1981 г. в Киеве состоялось пленарное заседание Советского оргкомитета IX Международного съезда славистов. Заседание открыл председатель оргкомитета, председатель Международного комитета славистов, выдающийся советский литературовед [акад. М. П. Алексеев], который подчеркнул важное научное и политическое значение предстоящего съезда. На заседании рассмотрен ряд конкретных вопросов, касающихся подготовки и проведения съезда.

Первый заместитель председателя Советского оргкомитета съезда, вице-президент Международного комитета славистов акад. АН УССР П. Т. Тронько доложил, о том, что принято решение провести IX Международный съезд славистов в г. Киеве. Докладчик отметил, что это является очередным проявлением заботы ленинской партии и Советского правительства о развитии общественных наук, и в частности славистики. Съезд будет проходить с 6 по 15 сентября 1983 г. Для подготовки к проведению съезда создана республиканская комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров Украинской ССР М. А. Орлик. Торжественное открытие и закрытие съезда будут проведены во Дворце культуры «Украина», рабочие заседания — в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко.

Председатель программной комиссии оргкомитета акад. И. К. Белодед доложил, что комиссия подготовила для обсуждения календаризованный проект программы съезда. В проекте представлено 730 докладов, которые распределяются по секциям следующим образом: языковедение — 262, литературоведение — 215, литературно-лингвистическая проблематика — 95. Каждая секция разделена на пять подсекций. Кроме того, отдельно состоится обсуждение докладов по междисциплинарной теме «Юрий Крижанич в контексте своего времени». Доклады по другой междисциплинарной теме, «Этногенез славян», будут заслушаны в рамках секции по исторической проблематике. В секции «Языковедение» выделены следующие подсекции: «Праславянский язык в кругу других языков», «Языковая ситуация в Киевской Руси и взаимоотношения древнерусского письменного языка с другими языками», «Генетическое, типологическое и ареальное изучение славянских языков», «Конфронтационное изучение фонологии, грамматики и лексики современных славянских языков между собой и с языками неславянскими», «Развитие современных восточнославянских литературных языков». Секция литературно-лингвистической проблематики делится на подсекции «Вопросы семантической и формальной структуры словесного искусства у славян», «Теория художественного перевода. Межславянский перевод. Переводы с неславянских языков на славянские и со славянских на неславянские», «Текстологические проблемы славянских языковых и литературных памятников», «Новые исследовательские приемы в изучении славянских литератур (семиотика, теория коммуникации, анализ текста, системный, квазитивный, алгебраический анализ и др.)», «Социолингвистический подход к оценке литературных произведений». Все доклады будут заслушаны в течение первых четырех с половиной рабочих дней, начиная со второй половины дня 7 сентября 1983 г. по 12 сентя-

бря (исключая воскресенье 11 сентября). Рабочие заседания подсекций будут проводиться с 9 ч. до 10 ч. 30 м., с 11 ч. до 13 ч. и с 16 ч. до 19 ч.

Подготовленный комиссией проект программы съезда был представлен для обсуждения на заседании президиума Международного комитета славистов.

Ученый секретарь оргкомитета В. Т. Коломиец доложила о намеченных оргкомитетом на 1981 г. основных мероприятиях по подготовке к проведению съезда. В частности, предусмотрено напечатать утвержденный президиумом МКС проект программы съезда в виде брошюры и разослать его членам МКС и национальным комитетам славистов.

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя оргкомитета чл.-корр. АН СССР Г. В. Степанов, заместители председателя чл.-корр. АН УССР В. М. Русановский, чл.-корр. АН УССР Г. Д. Вервес, д.ф.н. А. Н. Робинсон, члены оргкомитета чл.-корр. АН УССР Ю. Ю. Кондуфор, д.и.н. В. А. Куманев и др.

На заседании принято решение разработать конкретный план проведения IX Международного съезда славистов.

*Коломиец В. Т. (Киев)*

25—27 мая 1981 г. в Звенигороде состоялась Всесоюзная конференция «Слово в грамматике и словаре», организованная Отделением литературы и языка АН СССР, Научным советом по теории советского языковедения, Научным советом по лексикологии и лексикографии, Институтом языковедения АН СССР. В пленарных и секционных заседаниях приняли участие представители научных учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Минска, Кишинева, Таллина и других городов страны.

С основным теоретическим докладом «Слово в словаре и в грамматике» выступила Н. Ю. Шведова. В докладе развивался тезис о том, что слово, центральная единица языковой системы в целом, является разнонаправленно работающей единицей, реализующей два приходящих ей активных потенциала: «центростремительный» и «центробежный». Сочлененность этих потенциалов в слове делает его единичной уникальной по семантической нагруженности и конструктивной силе. Центростремительные свойства слова, составляющие его характеристику как единицы, принадлежащей лексической системе языка, формируются в слове в результате своеобразной генерации:

притягивания к слову (с последующим стягиванием, конденсацией и, следовательно, приобретением собственных свойств слова) языковых характеристик тех контекстов, в среде которых оно существует: контекстов класса, контекстов линейных и контекстов речевых. Значения и свойства, вырабатывающиеся в слове средствами такой генерации, являются конечной объективацией его центростремительного потенциала и в сжатой и четкой форме отражаются в словарях. На основе действий центробежного потенциала, реализующегося во всех избираемых действиях слова, складываются характеристики слова как единицы грамматики. В морфологии и грамматике от внутренних качеств слова исходят: правила выбора вариантов форм, правила выбора зависимых форм и словоформ, правила заполнения абстрактных синтаксических образцов предложения. Научная грамматика не может освободить себя от отражения — в той или иной форме — всех конструктивно значимых возможностей слова, подчеркнула Н. Ю. Шведова. Только на уровне строения текста центробежный потенциал слова ослабевает, и, напротив, активизируются как своеобразное средство скрепления текста называющие свойства слова, его центростремительный потенциал.

В. М. Солнцева (Москва) в докладе «Грамматические правила и лексическая среда» подчеркнул, что для грамматики, правила которой являются проявлением объективных грамматических свойств слов (классов и подклассов), релевантна только грамматическая информация, содержащаяся в слове. Подборки и соотношения лексических значений могут лишь разрешать грамматическую неопределенность, когда между словами возникает больше, чем одна грамматическая связь.

Проблеме отражения в лингвистической теории специфики языковой системности, которая не может быть сведена только к опозитивным отношениям, был посвящен доклад А. В. Бондарко (Ленинград) «О системно-структурной организации грамматических категорий слова». По мнению автора доклада, семантическая оппозиция — лишь один из способов объединения компонентов грамматической категории. Существенную роль в категориальной структуре может играть другой способ — отношение различия, связанное с принципом естественной классификации, определяемой автором, как объективно существующее в данном языке членение, характеризующееся: 1) отсутствием единого основания как всеобщего и обязательного классификационного принципа, 2) вытекающей отсюда возможной неоднородностью признаков, присущих компонентам целого, 3) связанной с этим возможностью пересечения классов. Такие грамматические категории, как падеж имени существительного, наклонение, лицо, залог глагола, строятся на отношении различия

между значениями, не подчиненными единому классификационному принципу. В заключение А. В. Бондарко подчеркнул, что грамматический строй языка (тракуемый автором как естественная система, характеризующаяся многообразными отношениями ее компонентов) охватывает грамматические единицы, классы и категории в их связях и взаимодействиях с лексикой, включая как системные, так и асистемные явления.

В. И. Кодохов (Ленинград) в докладе «Лексико-семантические группировки слов и грамматика», касаясь общей проблемы взаимодействия лексико-семантической системы языка и его грамматического строя, которое порождает грамматическую организованность лексики и лексическую ограниченность грамматики, особо остановился на лексико-семантических группировках слов и их влиянии на словоупотребление, связях с морфологией и синтаксисом. Докладчик указал, что связь лексики и грамматики осуществляется не на уровне отдельных изолированных слов, а в результате взаимодействия лексико-семантических группировок и грамматических категорий как внутри одной и той же части речи, так и в результате взаимодействия разных частей речи.

В докладе П. Н. Денисова (Москва) «К вопросу о соотношении между лексикологией и теорией лексикографии (проблема полисемии)» было показано, что слова с повышенной полисемией составляют узкий класс слов, но, обладая широким семантическим потенциалом, образуют ядро лексико-семантической системы современного русского языка. Они же определяют его стилистическую «полифонию» (большинство из них стилистически маркированы), а также обеспечивают устойчивость системного ядра лексики во времени (самые многозначные слова современного русского языка — исконно русские). Слова с повышенной полисемией, в противоположность моносемичным словам и словам с малой полисемией, тяготеют к созданию разветвленных словообразовательных гнезд, лексико-семантических групп, к широким синонимическим связям и антонимическим противопоставлениям.

Ряд докладов был посвящен словообразовательным проблемам в их отношении к словари и грамматике. Е. С. Кубрякова (Москва) в докладе «Производное слово в грамматике и словаре» остановилась на вопросах соотношения по своему статусу и положению в системе языка — грамматике и лексиконе — слов производных, с одной стороны, и непроизводных, с другой. Вопрос о создании и включении в словари развивающихся языков (на примере языка хинди) «Грамматики продуктивного словообразования», которая в совокупности со списком продуктивных морфем могла бы содействовать анализу и адекватному истолкованию малоупотребительных новообразований, отсутствующих в корпусе словаря, был

поднят в выступлении Г. А. Зограф (Ленинград) на тему «Грамматика словообразования в словаре развивающегося языка». В совместном докладе В. В. Лопатина и И. С. Улуканова (Москва) «Мотивированное слово в описательной грамматике и в словаре служебных морфем» шла речь о двух типах описания словообразовательной системы языка, различие между которыми определяется прежде всего тем, что в разных аспектах словообразовательного анализа различна обобщенность словообразовательного значения, определяемого авторами как общий компонент значения ряда мотивированных слов, формально выраженный в структуре слова и отличающий все мотивированные слова данной структуры от их мотивирующих. В описательной грамматике репрезентация словообразовательной семантики ограничивается уровнем словообразовательных типов. В словаре служебных (аффиксальных) морфем объектом описания является значение словообразовательных аффиксов, представляющее собой инвариант словообразовательных значений, характерных для разных типов и способов словообразования, а также тех компонентов словообразовательных значений, которые несет данный аффикс в смешанных способах словообразования. В докладе был охарактеризован также круг проблем, которые должны быть решены при создании словаря служебных морфем. П. А. Соболева (Москва) в докладе «Способы глагольного действия и словообразовательные разряды глаголов» охарактеризовала два подхода, сложившиеся в настоящее время в лингвистике, к трактовке способов глагольного действия. В рамках первого подхода (согласно которому способы глагольного действия могут быть как формально выраженными, так и формально не выраженными) способы глагольного действия и словообразовательные разряды глагола находятся в отношении пересечения. В рамках второго подхода, признающего только «морфемно-характеризованные» способы глагольного действия, последние оказываются включенными в словообразование. Отмечая, что при любом из двух подходов построение грамматики глагола в славянских языках влечет за собой дублирование в разделах «Словообразование» и «Морфология», П. А. Соболева подчеркнула необходимость дальнейших усилий аспектологов и дериватологов, направленных на успешное разграничение акционсарных и словообразовательных категорий глагола.

Проблемам отражения грамматических сведений в лексикографических изданиях и описательных грамматиках посвящены выступления А. М. Бабкина (Ленинград), В. Г. Гака (Москва), Н. З. Котеловой (Ленинград). В докладе А. М. Бабкина «Идиоматика и грамматика в словаре» была подчеркнута необходимость включения в словари последовательно и в полном объеме граммати-

ческих характеристик фразеологических единиц, структурная обусловленность употребления которых в языке самоочевидна. Невнимание к грамматической стороне идиомы отрицательно сказывается не только на истолковании ее в словаре, но и на самом выявлении типов и разрядов фразеологических единиц. В. Г. Гак в докладе «Грамматика и тип словаря» охарактеризовал три аспекта сформулированной в названии доклада проблемы: а) семантико-лексикологический аспект, касающийся грамматических факторов выявления и изменения семантики слова, основанный на взаимодействии лексики и грамматики на семантическом уровне; б) общелексикографический, касающийся объема грамматических сведений, включаемых в словарь; в) технический, касающийся способов отражения в словаре грамматической информации. Особо докладчик остановился на проблеме подачи грамматических сведений в иноязычных словарях, где ярче всего проявляется сложность, связанная с расхождением между языком и речью, обусловленным тем, что при включении в словосочетания и предложения слова могут подвергаться семантической трансформации. В докладе Н. З. Котеловой «Синтаксическая сочетаемость слова в словаре и грамматике» отмечалось, что оптимальным способом описания синтаксической сочетаемости слова — явления, относящегося к области межуровневых взаимодействий слова и словосочетания, — является специальный словарь. В общих толковых словарях и в описательных грамматиках информация о синтаксической сочетаемости слова должна занимать место, соответствующее ее статусу в структуре языка: в словарях — соответствующее степени ее отнесенности к лексике, в грамматиках — привлекаться для повышения корректности синтаксического описания, не выступая непосредственным объектом такого описания.

В докладе В. М. Алпатова (Москва) «О двух подходах к выделению единиц грамматики» содержалась характеристика двух основных путей решения проблемы выделения языковых единиц (и связанного с ней вопроса о последовательности их описания) применительно к грамматике. Более традиционный словоцентрический подход основан на том, что главной единицей языка считается слово и анализ начинается с выделения слов, от которых затем может происходить переход к выделению как более коротких единиц (морфем), так и более длинных (словосочетаний и предложений); слово рассматривается как неопределяемая единица с заранее заданными границами. При ином — несловоцентрическом — подходе анализ осуществляется не от слова, а от минимальной или максимальной единицы языка, и далее последовательно выделяются все более протяженные или, наоборот, все более краткие единицы; слово же, если оно

выделяется вообще, является лишь одной из многих единиц. Оба подхода не отрицают, а дополняют друг друга: для целей типологии необходим несловоцентрический подход, а словоцентрический подход позволяет приблизиться к построению психологически адекватных моделей для флективных языков.

А. А. Уфимцева (Москва) посвятила свое выступление актуальному, но мало теоретически разработанному вопросу — можно ли считать широкое использование словарных дефиниций при описании разных аспектов языка законченным лингвистическим методом, называемым многими «дефиниционным»? Читая преждевременным давать положительный ответ на этот вопрос, в силу неразработанности метасистемы понятий и инструментария, свойственных каждому лингвистическому методу, А. А. Уфимцева остановилась на рассмотрении ряда важных методологических вопросов.

В докладе Г. А. Золотовой (Москва) «К проблеме „слово и предложение“» был развит тезис о том, что в ряду ступеней абстракции, выделяемых в смысловой структуре слова, синтаксически релевантной является ступень категориально-семантического значения подклассов частей речи. Взаимодействие семантики и морфологии создает языковую единицу с определенными синтаксическими потенциями, обуславливающими ее возможные отношения с другими звеньями синтаксической цепи. Как виртуальная единица синтаксической системы синтаксема реализует свои потенции с индивидуально-лексическим «наполнением» в построении конкретного предложения. «Свобода наполнения» без изменения структурно-смыслового существа модели сохраняется в границах категориально-семантического подкласса.

В докладе С. Г. Бережана (Кипшев) «Обусловленность словарного значения глагола его грамматическими особенностями (глагол в грамматике и в толковом словаре)» шла речь о том, что теснейшая зависимость, существующая между глагольной семантикой и грамматическими свойствами глагола, должна постоянно учитываться в лексикографической практике, т. к. без учета этой взаимообусловленности предлагаемые в словарях толкования оказываются, как правило, неадекватными.

Н. И. Толстой (Москва) в докладе «Слово в обрядовом тексте (семио-

тический, лексикологический и лексикографический аспект)» указал на необходимость в связи с решением общей проблемы — определения роли, функции и значения слова в тексте — создания лингво-мифологических словарей или словарей духовной культуры, где лексикографическая подача слова обрядового текста производится наряду с подачей символов, ритуальных предметов, действий и т. д., что обусловлено трехсторонней манифестацией почти всех обрядов и ритуалов — вербальной (словесной), реальной (предметной) и акциональной (действенной). Такой словарь, призванный отразить обрядовые тексты (в широком смысле слова «текст»), окажется скорее семиотическим, чем лингвистическим, а большинство лингвистических проблем войдет в круг семиотических что, по мнению Н. И. Толстого, является закономерным, т. к. еще Соссюр в «Курсе общей лингвистики» утверждал, что основные проблемы лингвистики решаются в рамках семиотики.

Многие доклады, прочитанные на пленарных заседаниях, вызвали оживленные и содержательные прения.

Около 70 ученых из 16 городов Советского Союза приняли участие в работе шести секций (круглых столов), объединенных следующими общими проблемами: круглый стол № 1 (руководитель А. Е. Супрун) — «Описание слова как единицы разных уровней языка»; круглый стол № 2 (руководитель И. С. Улуханов) — «Построение производных слов и их репрезентация в словаре»; круглый стол № 3 (руководитель Г. В. Колшанский) — «Грамматика и тип словаря»; круглый стол № 4 (руководитель Н. И. Толстой) — «Исторические словари»; круглый стол № 5 (руководитель С. С. Ким) — «Лексико-ориентированные и грамматико-ориентированные языки»; круглый стол № 6 (руководитель А. М. Бабкин) — «Грамматика и идиоматика».

В принятой на заключительном пленарном заседании резолюции констатировалась актуальность, теоретическая и практическая ценность обсужденных на конференции проблем, подчеркивалась необходимость их дальнейшего углубленного изучения, что будет способствовать, в частности, созданию адекватных словарей и научных грамматик.

*Белоусов В. И.* (Москва)

## CONTENTS

**Articles:** Domašnev A. I. (Leningrad). Bernstein's theory of codes; **Discussions:** Karpova O. M. (Ivanovo), Stupin L. P. (Leningrad). Authors' lexicona in the USSR; Aleksandrova O. V., Šiskina T. N. (Moscow). Phrasing as a syntactic-stylistic problem; Krjučkova T. B. (Moscow). On the polysemy of ideological vocabulary; Edel'man D. I. (Moscow). Prospects of reconstructing Common Iranian; **Materials] and notes:** [Steblin-Kamenskij M. I.] (Leningrad). The Scandinavian consonant shift; Degtjarev V. I. (Rostov-on-Don). Origin of pluralia tantum in the Slavonic languages; Rogožnikova R. P. (Leningrad). Rare words in XIX century literature; Canturishvili D. S. (Tbilisi). Case system, dominance of case systems and distribution of the accusative in Russian; Cakalidi T. G. (Leningrad). Observations on negative constructions in the earliest Slavonic linguistic monument of traditional type; Uraksin Z. G. (Ufa). Interaction of Russian and Turkic languages in the field of phraseology; Abdullaev Z. G. (Makhachkala). On the genesis of dative formants in the Darghinian language; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** Domašnev A. I. (Léningrad). Théorie des codes de Bernstein. Buts et résultats; **Discussions:** Karpova O. V. (Ivanovo), Stupin L. P. (Léningrad). Dictionnaires d'auteurs en URSS; Aleksandrova O. V., Šiskina T. N. (Moscou). Division en phrases en tant que problème syntactico-stylistique; Krjučkova T. B. (Moscou). Sur la polysémie du vocabulaire idéologique; Edel'man D. I. (Moscou). Sur les perspectives de reconstruction de l'iranien commun; **Matériaux et notices:** [Steblin-Kamenskij M. I.] (Léningrad). Mutations consonantiques scandinaves; Degtjarev V. I. (Rostov-sur-Don). Origines des pluralia tantum dans les langues slaves; Rogožnikova R. P. (Léningrad). Mots rares dans les oeuvres des auteurs du XIX<sup>e</sup> siècle; Canturishvili D. S. (Tbilissi). Le système des cas, domination des systèmes casuels et distribution de l'accusatif en russe; Cakalidi T. G. (Léningrad). Observations sur les constructions négatives dans le plus ancien monument linguistique slave à contenu trivial; Uraksin Z. G. (Oufa). Interaction du russe et des langues turques dans le domaine de phraséologie; Abdullaev Z. G. (Makhachkala). Sur la genèse des désinences du datif en darghinien; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Радина*

---

Слано в набор 29.10.81. Подписано к печати 08.01.82 Т-03206 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт. 77,0 тыс. Уч.-изд. л. 14,9 Бум. л. 4,5  
Тираж 6028 экз. Заказ 1002

---

Издательство «Наука». 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10